

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)
Б94

Автор выражает благодарность Государственному архиву
Томской области, а также красноярскому краеведу
Руслану Кравченко за предоставленные документы
и фотоматериалы.

Бушуева, М.С.

Б94 Томский телеграфист : роман, повести, рассказы / Мария
Бушуева. — М. : Вече, 2025. — 352 с. — (Сибириада).

ISBN 978-5-4484-5424-0

Знак информационной продукции **12+**

В романе «Томский телеграфист» переплетаются история и современность. В основе сюжета — воспоминания членов Обской группы Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) и архивные документы судебного дознания 1903—1905 годов. Кем были новониколаевские и томские подпольщики — героями, преступниками или жертвами? Роман не претендует на буквальное историческое соответствие: каждый художественный образ — собирательный. Тема родовой памяти, затронутая в романе, становится главной идеей повести «Обдорский след»: неизжитые негативные чувства предков способны передаваться из поколения в поколение, представляя в будущем опасность не только для потомков, но и для общества. В повести «Юлия и Щетинкин» скромный православный священнослужитель, потомок священника-миссионера, во времена красного террора не оставляет своего прихода, доказывая, что и в «маленьком человеке» может таиться необоримая сила духа и способность совершить настоящий поступок. Завершают книгу избранные рассказы.

**УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)**

ISBN 978-5-4484-5424-0

© Бушуева М.С., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Дни мрачных бурь, дни горьких искушений.

А.С. Пушкин

Глава первая ИЗВОЗЧИК КУЛИКОВ

Секретно

*Начальникъ Томскаго Губернскаго жандармскаго управленія
Октября 16 дня 1903 года*

Прокурору Томскаго окружного суда

Приставъ IX участка гор. Томска при отношеніи от 17 Октября за № 289 уже перепроводилъ мне 2 протокола от 14 и 15 октября, из коих видно, что легковымъ извозчикомъ г. Томска Ишимскаго уезда Боровской волости Трофимомъ Леонтьевымъ Куликовымъ за неуплату и за нерозыскомъ адреса о мѣсте квартированія Титулярнаго Совѣтника Алексѣя Александрова Діева, возимаго имъ в пьяном видѣ, Діев доставленъ в близлежащий полицейскій участокъ, при обыскѣ Діева в упомянутом участке в стюртукѣ бокового кармана между прочими бумагами найдены одна не цензурная брошюра и две печатныя прокламации возмутительнаго (зачеркнуто) противоправительственнаго содержания.

Сообщая о семъ Вашему Высокородію имѣю честь пресовкупить, что мною сего числа приступлено по сему делу къ формальному дознанию в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. по обвиненію Діева в преступленіи, предусмотренномъ 252 ст. Ул. При этомъ прошу уведомления Вашего, кто изъ чиновъ прокурорскаго

МАРИЯ БУШУЕВА

*надзора будетъ назначень для наблюденія над производствомъ
этого дознания.*

Верно: Начальник Управленія

*Полковникъ Ромашовъ **

* * *

Срочное

Секретно

Начальник Томского Губернского жандармского управления.

Октября 16 дня 1903 года.

Томскому полицмейстеру

*Прошу распоряжения Вашего Высокоблагородия о прибытии
во вверенное мне Управление к 11 часам утра 19 октября помощ-
ника пристава IV участка г. Томска Бокатова и извозчика Тро-
фима Леонтьева Куликова.*

Полковник Ромашов.

* * *

Алексей Александрович Диев был до муки, до отчаяния потрясён. Протрезвевший, еле волоча ноги из полицейского участка — его отпустили за подписку о невыезде — брёл, шурша палой листвой и вспоминая слова тётки Стефаниды, думал горько, что его, сорокалетнего одиночку-холостяка, бес попутал жениться на красивой восемнадцатилетней Шурочке. Или поздняя любовь — демоново наваждение. Шурочка родила Диеву играючи троих детей подряд и заставила его бросить скучную, не сильно денежную должность мелкого чиновника — уйти в железнодорожные служащие, где платили много больше. Железная дорога кормила город, и работавших на станции ценили. А Диев, возможно, и повыше бы поднялся по служебной лестнице Табеля о рангах — вскарабкался бы за счёт своего трудолюбия и кроткого характера. Правда, был

* Далее — современная орфография.

тревожен и робок, оттого порой выпивал, зато начальству не перечил и отличался постоянной исполнительностью — таких, если не сильно ценят, зато, иногда о них вспомнив, продвигают на ступеньку выше в противовес опасным карьеристам-конкурентам. Он и внешне характеру своему соответствовал: небольшого роста, худенький, слегка подпрыгивающий при ходьбе — это, если сильно торопился, тогда и серенькие прядки редковатых волос тоже подпрыгивали на его голове. Остроязычная Шурочка называла его шутом отцом-воробыишкой. Надо сказать, она любила почитывать нелегальщину. Всё запрещённое почему-то ещё с детства будоражило её кровь. В церкви её всегда так и подмывало сделать что-нибудь неправильное, к примеру, вместо исповеди батюшке признаться ему в любви или картинно снять у иконы крестик, напугав стоящих рядом молящихся. О своих шаловливых мыслишках она, смеясь, рассказывала мужу. Он слушал, не одобрял, конечно, но и не возражал. Шурочке возразить — день терпеть от неё обиды и насмешки.

Собственно говоря, никакого отношения к нелегальной брошюре и прокламациям, найденным полицией в его сюртуке, сам Диев, отставной титулярный советник, человек законопослушного, тихого нрава, не имел. Это младший брат его Шурочки, шалопутный Мишка, выгнанный из пятого класса реального училища и снискавший у гимназисток славу местного героя-хулигана, притащил и спрятал компромат в комнате сестры, такой же заводной и огнистой, что и брат, а после попросил Диева отвести пакет какому-то неизвестному господину Лебедеву. Для смелости Алексей Александрович выпил, тут-то его и словил на площади извозчик Трофим. Извозом его Диев пользовался часто да вот задолжал, а бородач оказался мстительным крохобором — из-за долга, пустячного, в общем-то, не к неизвестному Лебедеву повёз Диева, а прямёхонько в полицейский участок. В пути, как назло, выпала из кармана Алексея Александровича одна из запрещённых прокламаций, о чем зловердный извозчик торжествующе доложил в участке. Слава богу, от страха и выпитого язык у Диева заплелся.

МАРИЯ БУШУЕВА

тался — и адреса Лебедева он бородатому доносчику сообщить не успел. И на вопрос, заданный в участке, куда направлялся, ответил «прокатиться для души хотел», губы прыгали, оттого звуки насакивали друг на дружку — вряд ли слова ответа можно было разобрать. Но, хоть и пьяноват был и от страха трясся, Мишку-хулигана не выдал. Сестру его, свою любимую Шурочку, и детей пожалел: трое малых за её юбку держатся — от пяти до года. Да и Мишка-недоросль еще взрослого ума не набрался, для него все опасности пока — игра, не в тюрьму же его адресовать...

«Ох, беда, беда, — узнав о помолвке Диева, сокрушалась Стефанида Акинфиевна, жена его родного дяди Антония, известного в Томске протоиерея. — Это ж не девка — чёрт в юбке, едва ходить научилась, помню, уже скатерть со стола в гостиной сорвала озорница, да не просто сорвала, а ножонками своими ещё потоптала, прям по моей вышивке, сама-то она и сейчас ни шить, ни вышивать, только дай ей гитару — день напролёт будет, как цыганка, петь да развлекаться».

Родню, и свою, и по супруге, вытащил из Пензенской губернии в Томск отец Антоний. И, на удивление, прижились. Сибирь всех вобрала и, несмотря на морозные зимы, пригрела. Зимой деревянная резьба томских домов обрастала снежным покровом, а, когда звонили колокола, снежные хлопья слетали с козырьков соседних крыш. Все эта белоснежная узорная и летучая красота трогала тайные струны души Диева: титулярный советник был равнодушен к поэзии, сам в юности вписал пару романтических стишков в альбом одной пензенской девице, голубоглазой блондинке. Та первая любовь, будто слившись с томскими зимами, давно утратила цвет юности, затонула в сибирской белоснежной дымке, на фоне которой Шурочка, яркая брюнетка, казалась экзотичным цветком.

Мать Шурочки была двоюродной сестрой Стефаниды Акинфиевны. В доме у своего дяди Диев с будущей супругой и познакомился, в кровном родстве они не состояли, оттого препятствий к женитьбе не было. Поговаривали в их разночинных кругах, что Наследник мог страдать гемофилией как раз из-за того, что в царском роду были браки братьев и сестёр...

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

* * *

Секретно

*Начальник Томского Губернского жандармского управления
Октября 16 дня 1903 года*

В Службу Движения Сибирской железной дороги.

По встретившейся надобности имею честь просить распоряжения о высылке во вверенное мне Управление всех личных документов служащего в конторе заведующего Кондукторскими бригадами Алексея Александрова Диева.

Верно: Начальник Управления

Полковник Ромашов.

* * *

Вечером примчался Мишка. Черноволосый, как сестра, тоже острый на язык и говорливый, лицом он походил на неё мало: ярко-зелёные глаза Шурочки у младшего брата сохранили округлую форму, но, потеряв зелень, приобрели столь блёклый голубой цвет, что порой казались белыми. В центре белизны, точно дыра дула револьвера, чернел зрачок. Тревожному Диеву иногда мерещилось, что через Мишкины зрачки веет потусторонним холодом. Приятная округлость Шурочки сменилась у брата юной худобой, немного тяжелили гибкий торс только ноги. Ни певческими, ни музыкальными дарованиями Мишка не обладал, а вот плясать был горазд — подрабатывал второй год в кордебалете театра, построенного по заказу купца первой гильдии Евграфа Королёва, — оттого, наверное, мышцы Мишкиных икр окрепли. Правда, в театре, который так и звали — королёвским, музыкальных спектаклей было не так много, платили массовке гроши, а содержать шалопутного Мишку было некому: мать ушла в мир иной вслед за отцом одиннадцать лет назад, — подкармливала и помогала растить Мишку младшая сестра Стефаниды, живущая в своём доме на Садовой улице, некрасивая и очень добрая Олимпиада Акинфиевна, которую

МАРИЯ БУШУЕВА

Мишка прозвал тёткой Лебёдкой. Она и упросила дядю Антония пристроить способного паренька работать на телеграф, поскольку читал и писал он бойко, разбирался в технике и покори́л протоиерея тем, что легко исправил его телефонный аппарат. В Томске уже действовала телефонная линия — и протоиерею Антонию, правда, не как духовному, а как частному лицу телефон провели. Стояли аппараты в городской управе, в университете, в библиотеках. Сеть обслуживала почти 500 абонентов, в том числе Алексея Ивановича Макушина, бывшего городской головой. Делал Макушин много полезного: заработал городской водопровод, стали активно мостить улицы, появились новые больницы и начальные школы... А городская интеллигенция уважала его старшего брата, в 1873 году открывшего на любимой горожанами набережной реки Ушайки первый в Сибири книжный магазин. За два десятилетия продав, как в городах Сибири, так и в сельских книжных лавках, несколько миллионов книг, затем учредил он в Томской губернии Общество содействия устройству бесплатных библиотек. Как раз у него в типографии и книжном магазине появились первые телефонные аппараты.

А вот епископа Макария, от личного телефона отказавшегося, демократически настроенная интеллигенция не жаловала, несмотря на его огромную заботу о народном образовании. Даже то, что епископ создал в Томске детские ясли, куда тут же определила старшего мальчика Шурочка, не прибавило ему лестных отзывов со стороны «прогрессивных сил». Сильно раздражал основанный епископом Дом трудолюбия при Иоанно-Предтеченском женском монастыре со своей типографией. Духовная литература всё чаще подвергалась даже в местной либеральной печати атеистической критике. Диев с детства верил в Бога и считал старого епископа почти святым, однако, опасавшийся насмешек Шурочки, высказывал такие консервативные, с её точки зрения, мысли только в доме дяди-протоиерея. Тот кивал и сетовал на утрату в обществе веры...

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Мишка прибавил себе год — и уже третий месяц работал на телеграфе, следил за технической исправностью линии, причем использовал место службы и для помощи местной РСДРП — распространения прокламаций и запрещённой литературы, — совсем не беспокоясь о том, как бы отразилась его активность, попадись он полиции, на репутации уважаемого в городе протоиерея. До нелепого случая с извозчиком всё у Мишки получалось ловко. Он обладал одной чертой, удивлявшей Диева: стоило им вместе выйти из дома, Мишка мгновенно растворялся на улице, точно Мишки рядом с Диевым и не было. «Ну, чисто, как наш кот, — говорил Диев Шурочке, — оглянулся, а твоего брата и след простыл». Слова мужа Шурочка передала брату, и тот без лишних раздумий придумал себе псевдоним — Котов.

Поражали Диева и другие особенности Мишки: его обострённое чутьё и буквально телеграфная способность быстро выуживать любую информацию. Вот и сейчас, примчавшись в семейный дом сестры, он осуждающе сказал не оправившемуся от потрясения Диеву: «Напились и всё завалили».

— Уже слухи идут по городу? — испугался Диев. — Извозчик болтает?

— Извозчик — дурак и мерзавец, но узнал я от Лебедева: у него внедрён к жандармам свой человек. Хоть меня не сдали, и на том спасибо.

— А что меня ждёт?

— Что-то, — сказал Мишка сердито. — Ничего хорошего.

Видно было, что он осуждает за провал Диева и совершенно не винит себя.

Глава вторая РОКОВАЯ ТОРГОВКА

Июнь 1905 года. Ново-Николаевск

Давно замечено, проверено и доказано: лучшие связные, самые незаметные и непотопляемые — обычно женщины или

МАРИЯ БУШУЕВА

старушки, торгующие на улицах кто пирожками, кто вязаными детским шапочками и носочками.

Один прохожий остановится, приценится и что-то купит: всё вроде подешевле, чем в лавке, другой купит из жалости — стоят бедные на ветру и на холоде, не зная отдыха, пока весь товар не распродадут. А равнодушный пешеход — пробежит, на них не оглянется. Порой пройдет мимо стражник порядка, женщина ему улыбнется, и он, невольно подумав о ждущей его дома супруге и тарелке наваристого борща, потеплеет душой. А на старушку глянет — мать свою вспомнит, в глубине его безыскусных мыслей тень детства мелькнет: кружка молока, вкусные булочки с изюмом... Как напомнимшую о сокровенном и родном заподозрить в чём-то предосудительном?

Так никто и не догадывался, что черноволосая женщина приятной наружности, полноватая, уютная и улыбчивая, торгующая на привокзальном перроне станции Обь собственными пирожками и жареной курятиной, — связанная сибирского кружка РСДРП, передающая нелегальную литературу. Для этого на площади около вокзальной церкви поставили палатку, в которой один из подпольщиков, имевший прозвище Купец, продавал хлеб и квас: под ящиком с хлебом прятался от полиции вкопанный в землю ящик с прокламациями и запрещёнными брошюрами. Секретный ящик заполнял сам Купец: литературу и прокламации брал у немолодого, усталого вида фельдшера станции Обь. Откуда поступала литература фельдшеру, продавец кваса не знал. И даже предположения у него не возникало, что кроме невидимых им поставщиков незаметно передает нелегальщину медику ещё и улыбчивая торговка пирожками, сама иногда в жару покупающая квас. В Новониколаевском кружке РСДРП, назвавшемся Обской группой, состояло больше ста человек, разбитых на «восьмёрки — десятки», пересекающиеся только благодаря связным. Двое связных были знакомы, а третьего могли уже и не знать. Такая конспирация предохраняла при арестах, которые случались.

В Новониколаевск привокзальная торговка переехала из Томска два месяца назад. На имевшиеся небольшие средства то ли сняла, то ли выкупила квартиру в старом двухэтажном доме купеческого типа: низ каменный — верх деревянный. Больше денег ей ждать было неоткуда, а кушать просили две девочки и мальчик, муж у торговки отсутствовал — вот и пришлось крутиться, придумывая, как прокормиться самой и прокормить малышей.

Была в её полноватой фигуре и какой-то неожиданной улыбке необъяснимая женская притягательность, заставляющая суровых молодых мужчин, зайдя по рекомендации проверенного партийца в дом на Переселенческой улице, желать остаться в нём хотя бы в качестве жильцов. Затягивала, конечно, не темноватая квартира, полная скрипучей мебели, а загадочный взгляд молодой хозяйки, манила и высокая грудь. В некоторых «десятках» никто хозяйку, сдающую углы, ни разу не видел, но слух о её женской силе прошёл и там, за глаза её сразу прозвали «роковой торговкой». Поговаривали, что из-за страсти к ней погиб то ли офицер, то ли чиновник.

День был жаркий, душный, потому охлажденный в бочке со льдом квас раскупили быстро, а вот пирожки в кастрюльке, обернутой белым полотенцем для сохранения тепла, оставались: горячего в жару не сильно хочется. Молодой мужчина в тёмных брюках и косоворотке под несколько помятым пиджаком, покупая пирожки, шепнул:

— Есть подозрение, что один из наших — провокатор. Кто — непонятно. Присмотрись к своим.

— Всего один пирожок у меня остался, — громко заговорила женщина, — да уж купили бы все, не пожалеете, вкусные да сочные!

— Хорошо, давайте!

Расплатившись, покупатель быстрым шагом удалился.

В доме на Переселенческой улице вторую неделю квартировали трое: Саша, Тимофей и Лев. Настоящих фамилий жиль-

МАРИЯ БУШУЕВА

цов хозяйка не знала, не была она уверена и в том, что имена их подлинные. Каждый из троих мог оказаться не тем, кем представлялся, даже по роду занятий. Ради конспирации у всех членов группы были прозвища или псевдонимы. Высокий кудрявый брюнет Саша звался Тигрояном, в его скрытном характере и горбоносом лице с приспущенными тёмными веками над желтизной глаз и правда было что-то тигриное. Но хозяйка сообразила: партийная кличка обусловлена не сходством, а его родным местом — Саша проговорился: родом он с Дальнего Востока. И как-то угадывалось, что тюремная жизнь Тигрояну неплохо знакома. В тройке главенствовал Тимофей, коренастый, мускулистый, решительный, по профессии помощник машиниста, он имел псевдоним — Гранитов. Тимофей был равнодушен к хозяйке, но старался всеми силами это скрыть. Наоборот, Лев Бартов, числившийся студентом Томского политехнического института, самый общительный из троих, сразу начал ухаживать за ней явно, порой столкнувшись с ней на лестнице, ведущей на второй этаж в жилые комнаты, легкомысленно распуская руки — и тут же получал несердитый, но твёрдый отпор. Он был моложе Саши и Тимофея, однако, ещё в конце девяностых стал членом томского марксистского кружка, а с 1901 года примкнул к «сортировщикам» — так шифровали социал-демократов в разговорах и письмах. Успел он с полгода поработать в газете, выпускал в нелегальной томской типографии листовки, потому, отправленный как организатор в Новониколаевск, был, по приказу Томского руководства РСДРП, устроен как имеющий печатный опыт наборщиком в типографию Литвинова, откуда раз за разом приносил металлические буквы. Цель была — как можно скорее собрать весь шрифт и организовать типографию Обской группы. Прозвище Льва хозяйка не знала, потому считала имя фальшивым.

Кто же из троих мог оказаться провокатором?

Тигроян входил в десятку «дружинников», обязанных охранять массовки, то есть собрания членов группы, от полицейских

и тайных шпииков. Недавно Обская группа провела первую десятидневную забастовку строительных рабочих, приняли участие в ней и рабочие самой большой в Новониколаевске мельницы Луканина, а также некоторые печатники, хорошо обработанные Львом. Бастующие требовали повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. Саша и Тимофей радовались, что кое-чего рабочим удалось добиться, а Лев подчеркивал важность забастовки для серьёзного отношения пролетариата к будущей революции и к их партийной организации.

Когда приезжал дня на два из Томска еще один подпольщик, имевший партийный псевдоним Котов, быстро всеми сокращённый до Кота, в доме почему-то становилось веселее. Все четверо, отдыхая воскресным вечером, читали вслух стихи. Любили декламировать Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Чуть прихрамывающий Кот, расхаживая по комнате, цитировал наизусть роман Войнич — и хозяйке казалось, что хромота его притворная: похоже, он сам для себя играет романтическую роль Овода.

Если дети не спали, они крутились рядом со взрослыми, и старший мальчик Серёжа, красивый, с точёными чертами умного личика — просил прочитать ему сказку Пушкина «Руслан и Людмила». Когда горбун Черномор через леса, через моря уносил богатыря, Серёжа восторженно заливался смехом, а девочки, трёхлетняя и четырёхлетняя, подбегали к брату и начинали молотить его маленькими кулачками. То ли им жалко было богатыря, то ли почему-то не нравилось, что братик смеётся.

Уложив детей, хозяйка старого дома ложилась сама и, едва стихало позвякивание пружин кровати, начинала, прикрыв усталые глаза, мысленно повторять не строки стихов, а слова очередной листовки. Повторяла с затаённой надеждой на то, что призыв станет утренней явью: *«Только полная ликвидация настоящего государственного порядка путём созыва всенародного Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права создадут благоприятную почву*

МАРИЯ БУШУЕВА

для развития всех прогрессивных сил страны и классовой борьбы пролетариата за свои социалистические идеалы!» Острая память хранила все прочитанные воззвания.

Но предположить такую крамолу в её мыслях не мог бы даже привокзальный жандарм, выдавший худых бледнолицых дам-революционерок, на коих привлекательная пышнотелая торговка совсем не походила. По отцовской линии вела она родословную от прадеда-ссыльного, попавшего в Сибирь в качестве политкаторжанина; после жил он в Каинске на поселении, там и умер. Прадед был родом из Тифлиса, бедняк, утверждавший, что происходит из когда-то знатного рода, и аристократическая печать его избранности, вполне возможно, придуманная им самим, создала образ красивой жертвы, возложенной на алтарь свободы. Потому правнучка считала царизм своим кровным врагом, охотно помогая расшатывать монархические основы.

...Торговка спешила домой к ждущим обед малым детям, бежала не улицей, а по немощёному переулку, сокращая путь, и тревожно размышляла, есть ли среди её жильцов предатель?

Собственно, самой ей опасаться не стоило. О том, что передаёт она запрещённую литературу и прокламации, три жильца не знали, считая её одинокой женщиной, сдающей комнаты ради дохода. Они платили за стол — готовила она щедро и вкусно — и за крышу над головой. В курсе её помощи группе были только двое: сегодняшний покупатель Лебедев, недавно побывавший в томской тюрьме, и черноволосый быстрый семнадцатилетний Кот, казавший старше за счёт солидного костюма-тройки и начитанности: он проштудировал все доступные марксистские источники. Кот, курсируя между Томском и Новониколаевском, поставлял Обской группе прокламации и литературу.

Подходя к дому, она вспомнила: как раз сегодня он должен приехать. Цели его приезда, конечно, ей не раскрыли: готовилась рискованная экспроприация склада полицейского управления.

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Глава третья ВОЗБУЖДЕНИЕ ДОЗНАНИЯ

Секретно

*Начальник Томского Губернского жандармского управления
Октября 16 дня 1903 года
Приставу IV участка*

Препровождаю при сем копию с постановления моего от сего числа об отдаче под особый надзор полиции содержащегося во вверенном вам участке Алексея Александрова Диева, прошу Ваше Высокоблагородие подписать прилагаемое постановление, которое возвратить мне обратно.

*Верно: Начальник Управления
Полковник Ромашов.*

* * *

Уроженец Алтая, сын горного инженера Лебедев Пётр Исаевич был всего на два года старше Мишки — и закончил то же Томское ремесленное училище, откуда на пятом году обучения вылетел его приятель. На вопрос, что подтолкнуло благополучного молодого человека к вступлению в группу РСДРП: жажда романтического подвига во имя народа или запавшая в память занозой обида за деда — унтер-офицера, за какую-то ерундовую провинность отданного под суд Алтайским начальством, — Мишка не знал. Решил просто: активная натура Лебедева мается от скуки. Действия жаждет. Мишка ведь и сам такой. Вот с Остриковым, приехавшим в Томск, чтобы поступить в Технологический институт, всё было понятно: сирота, выросший в приюте, обиженный судьбой с рождения и перенёсший обиду с отца, бросившего его младенцем, на Отечество. То, что учили сироту и кормили бесплатно за счет того же Отечества, в расчёт не шло: человеческое сознание — порой, как тёмный омут: доброе и благодарное тонет в нём бесследно. Став членом томской подполь-

ной группы, Остриков резко сменил направление судьбы: вместо технологического института решил выбиваться в партийные лидеры. Мишка ему нравился — задание передать Лебедеву запрещённую брошюру и прокламации как раз и шло от Острикова. Мишку он даже не пожурил, обронил лишь пару слов: «всё бывает». А напившийся Диев вызвал у него негодование.

— Прогнившее чиновничье! Жалкий гнус, Акакий Акакиевич, гнуций спину перед начальством!

— И что теперь? — спросил Мишка, несколько обиженный за мужа сестры: ведь Диев не выдал его, а Остриков даже это достоинством не посчитал.

— Мы с Лебедевым временно уйдём под воду: уедем из Томска. Для связи запомни: я отныне всегда и везде Гай или Гаев.

— Это в честь римского императора Гая Юлия Цезаря?

Остриков улыбнулся.

— Наверное.

— А чего сразу не Цезарь?

— Слишком бьет на слух. Шпики быстро могут вычислить.

— А Лебедев?

— Он пока не решил, раздумывает, вроде хотел назваться Правдиным, характер у него, сам видишь, какой: за дело — жизнь отдаст.

Мишка кивнул. Но мыслишка у него мелькнула совсем не героическая: жизнь, пожалуй, дороже. Уехали Гаев с Лебедевым в ту же ночь.

В дом сестры Мишка забежал на минутку: опасно было там крутиться. Увидел Диева, спящего на диване в гостиной, спросил Шурочку:

— Опять не трезв?

— Запёшь тут, — ответила она без улыбки и прибавила, насунив брови: — Ты бы к нам пока не ходил. Не дай-то бог тебя вычислят, тогда всех...

— Пережду у тётки Лебёдки.

— Алексаша, святая душа, себя винит, а ведь всё из-за тебя, разбойника.

Мишка убежал, растворился в томских сумерках. А Шурочка, поругав приходящую кухарку за медленное приготовление ужина, взяла гитару и, перебирая струны, перебирала и свои грустные мысли. Если уволят мужа, от кухарки придётся отказаться, нечем станет платить и за четырёхкомнатную съёмную квартиру, владелица по своей скупости навстречу семье Диевых не пойдёт, в долг жить не разрешит, а ведь как славно обжились, уже пятый год пошёл, как въехали, дети здесь родились...

Диев проснулся и не сразу понял, где он: в своём семейном доме или в отцовом, давнем, потому что снился ему дом его детства, да так отчётлив был сон, точно и правда душа Диева отделилась от тела и навестила родные места. Он часто и в яви вспоминал светлые комнаты, мебель с цветочной обивкой, кое-где потемневшую от времени, отчего лёгкий салатный цвет казался покрытым пятнами темно-зелёной плесени, помнил небольшой старый сад, с особенной жалостью сердца — одну старую яблоню, мальчиком он про себя звал её Яблосшкой, яблоки с этого дерева были сладкими, а с остальных — кисловатыми, помнил милую няню, вечно охающую старушку, заменившую ему рано умершую мать. Няня умерла, а яблоня засохла, когда Диев уехал в Томск, он до сих пор верил, что старушка и яблоня ушли в мир иной от тоски: няня любила его, а яблоня всегда откликалась нежным шёпотом листвы, когда он гладил её ствол... Сон закончился резко: покойный отец, сидящий в кресле, обнял Диева и произнёс голосом полковника Ромашова:

— Дознание возбуждено.

* * *

Секретно. Лит А

Уведомление о возбуждении дознания

1. Наименование дознания. По обвинению отставного Титулярного Советника Алексея Александрова Диева в преступлении, предусмотренном 252 ст. Ул. о нак.

МАРИЯ БУШУЕВА

2. Время возбуждения дознания. 16 октября 1903 года.

3. Место возбуждения и производства. Гор. Томск.

4. Кто производит дознание и кто наблюдающее за производством дознания лицо Прокурорского надзора. Отдельного корпуса жандармов полковник Ромашов и Товарищ Прокурора Томского Окружного суда Чебанов.

5. Основания возбуждения дознания. Переписка, возбуждённая Приставом IV участка гор. Тоска и найденная при обыске у Диева брошюра под названием «Неужели это так надо?» Л.Н. Толстого и две печатные прокламации возмутительного (зачёркнуто) противоправительственного содержания.

Верно: Начальник Томского губернского

Жандармского Управления

Полковник Ромашов.

№ 4162

21 октября 1903 года.

В Департамент Полиции.

* * *

Диев от ужина отказался. Тревога, возникшая после пробуждения, точно воронка, затягивала его. На поверхности сознания пульсировали какие-то алые точки, то расширяясь и превращаясь в красные кольца, то снова становясь крошечными алыми зрачками. «Пойду, поброжу», — пробормотал он и, поспешно накинув пальто, вышел в город. С утра подморозило, опавшая листва сразу утратила весёлую разноцветность и уныло чернела под ногами, угнетая душу ещё сильнее. Диев дошёл до галантерейного магазина Гадалова, хотел зайти, но вспомнил, что оставил дома портмоне, да и зачем, Шурочка сама себе всё покупает, не доверяя мужнину вкусу, а Диеву, в сущности, ничего не надо. Он грустно глянул на трехэтажное здание служб пути и тяги Сибирской железной дороги, и ему показалось, что внезапно прозвучавший гудок паровоза — прощальный.

— Поста-а-а-ранись! — услышал он знакомый голос и вздрогнул: мимо пронеслась рыжеватая лошадь извозчика Трофима, вёзшего Мишку. Промчав мимо Диева, кобыла резко встала, извозчик высадил Шурочкиного брата — и тот через минуту добежал до Диева.

— Вы должны сказать при дознании, что пакет нашли в экипаже, мол, кто-то выронил, извозчик Трофим Леонтьевич не заметил, а вы по рассеянности положили в карман сюртука. Дознание ведёт лично полковник Ромашов. — Мишка усмехнулся. — Большая честь для вас, однако.

— Однако, — повторил Диев.

— Трофим на вас зол до сих пор. Вы ему не отдали долг.

— Отдам.

— Тётка Лебедка уже попросили помочь Стефаниду Акинфиевну. Вашего дядюшки-протоиерея старший сын теперь кандидат богословия, редактирует статьи епископа Макария. Вхож к нему, и тот ему покровительствует. А Макария уважает сам губернатор.

Мишка говорил и крутил головой: не следят ли.

— С вами теперь и стоять-то опасно.

— Так и не стой.

Диев почему-то глядел не на Мишку, а на его тень. Тень точно стремилась исчезнуть, уменьшаясь прямо на глазах, казалось, она норовит отделиться от Мишки и сбежать первой. Но такого ведь быть не может, подумал Диев, это противоречит законам природы. И тут же настигло его чувство нереальности происходящего: разве могли его, честного железнодорожного служащего, обер-офицерского сына, внука священнослужителя и пусть бедной, но потомственной дворянки, подвергать обыску, как... как покрытого лишаями бродягу или уличное отребье?

— Пойду-ка поскорее домой, — произнёс он, отрываясь от созерцания мостовой. Тени уже не было. Не было рядом и Мишки. Как всегда, он ловко растворился в городском пейзаже.

МАРИЯ БУШУЕВА

Шурочка встретила Диева громкими рыданиями.

— Что, что случилось? — стягивая чёрное пальто, пробормотал он. От волнения похолодевшая ладонь застряла в рукаве, и пальто вело борьбу, словно желая остаться на Диеве навечно. — Дети не заболели?

— Дети спят, а вот я в ужасе.

Пальто наконец проиграло битву — и, водворённое на вешалку, приняло униженную обвислую форму, посерело, почему-то напомнив Диеву старую отцовскую шинель. Приглядевшись к жене, он увидел: Шурочка пьяна.

— Что будет, если тебя уволят?! Мы по миру пойдём! Какой начальник пожелает держать неблагонадёжного?

— Ты права, — сказал Диев, покорно склонив голову. — Никакой.

* * *

Управление Сибирской железной дороги

Служба движения

23 октября 1903 года

г. Томск

Господину Начальнику Томского

Губернского Жандармского Управления

Препровождаю при этом вследствие отношения от 19 сего октября за № 1185 письменный вид Отставного титулярного советника Алексея Александрова Диева, прикомандированного для занятий в столе заведующего кондукторскими бригадами, — имею честь доложить, что других документов о личности своей Диев не предъявлял в Службу движения.

О получении письменного вида покорнейше прошу почтить уведомлением.

Начальник Сл. движения Левшин.

Глава четвёртая
СКЛАД

Июнь 1905 года. Ново-Николаевск

Лебедев был категорически против эксов, так сокращённо называли в группе РСДРП экспроприации. Совестьливый от рождения, он с брезгливостью относился к любым методам, оскорбляющим чистое дело подготовки к великой революции. Неприятно ему было и то, что в консервативной «Сибирской правде» подпольщиков прямо именовали криминальным элементом, упоминая почти что в поощрительном тоне, как недавно на Белом озере кузнецы стали избивать агитаторов, призывающих к всеобщей забастовке, а некоторые томские торговцы в ответ на угрозы разбить магазины и отнять товары, если не будет закрыта на день торговля, сами вызвали жандармов. Одного студента кузнецы, не желающие терять заработка ради стачки, избили так сильно, что он с трудом пришёл в себя, а на члена РСДРП присяжного поверенного Преловского, пытавшегося склонить к забастовке приказчиков, по их доносу завели в Жандармском Управлении дело о «преступной агитации». Лебедев ощущал оскорблённым газетными писателями лично себя. А ставший недавно комитетчиком Гаев считал такую «работу в массах» всё равно нужной и охотно отредактировал очередную листовку: «Все как один бросайте работу, смело высыпайте на улицу. Вооружайтесь! Царская полиция должна побежать перед вами». В Томске на Болоте — Болотом звали издавна несколько соседних городских околотков — активно работала подпольная типография. Правда, к экспроприациям Гаев тоже относился с осторожностью, считая, что они возможны только при крайней необходимости. Такая необходимость назрела в июне 1905 года.

— Дружинникам Обской группы нужно вооружиться, — сказал он Лебедеву, — они уже вернулись в Томск.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Представляю, какой шум поднимется, если всё пройдёт успешно. Городишко маленький: одна кустарщина... После Барнаула, куда приезжают на службу горные чиновники из Санкт-Петербурга, да и после университетского Томска, Новониколаевск мне кажется невзрачным. Почему именно здесь прошла железная дорога, откровенно говоря, не понимаю.

— Говорят, кто-то из правительства назвал Новониколаевск будущим российского могущества.

— По Ломоносову, наверное... Он нечто подобное изрекал. — Лебедев хмуро глянул куда-то вдаль. — А величественный мост через Обь проектировал инженер-писатель — похоже, в его фантазию тоже поверили.

— Настоящие писатели — провидцы. Лермонтов предсказывал, что царская корона упадёт.

— Всё идёт к тому.

— Но шум-то в городишке вряд ли будет. Затонут слухи.

— Участники намечены?

— Группа активистов. Руководит Гранитов.

— А кто разработал план?

— Всем комитетом решали.

— Обской группе нужны хорошие агитаторы.

— Планируем в ближайшее время внедрить в самую гущу пролетариата станции Обь Михаила Кота для агитации среди железнодорожных рабочих. Хороший парень, толковый, быстрый. В технике понимает. И удачливый. Он зажигательно говорит и пожертвует своей томской должностью телеграфиста ради общего дела. Партии нужно, чтобы агитация шла изнутри. Рабочие с подозрением относятся к призывам со стороны. Михаил, возможно, будет участвовать в операции со складом, намеченной на следующий воскресный день.

— Он-то, возможно, и хороший, да вот группу активистов-анархистов я бы разогнал — позорят наше дело. Понимаю, что не было денег на покупку литературы, но ведь всегда есть возможность заработать трудом, а не нападать на монополюку.

- И что — удачно?
- Триста рублей и несколько бутылок вина. На литературу и на веселье хватило. Только дурно это.
- Шпики не пронюхали?
- Вроде нет. Хотя томский Ромашов, конечно, прекрасно понимает, чьих это рук дело.
- Со складом-то посерьёзнее...

Полковник Ромашов, высокий мужчина с живописной сединой на висках, женатый на сестре чиновника Силина, конечно, всё понимал. У Силина в роду насчитывалось несколько поколений духовных, но сам он, к нескрываемому неудовольствию Ромашова, был активным либералом и областником, во всём помогая старику Потанину, выступающему в течение многих лет против колониальных ограничений Сибири. Понимать-то понимал, однако никак не ожидал такой наглости от подпольщиков — напасть на склад полиции Новониколаевска.

— Вот до чего доводит ваша либеральщина, — сказал он Силину за ужином: шурин нередко гостевал в семейном доме сестры Елизаветы. — Пока всё болтовней обходилось, но поскольку теперь бунтовщики оружие воруют, чувствует моё сердце ждать нужно самого худшего. Вызывающе нахальное преступление — украли прямо со склада полиции.

— Какой ужас, — промолвила Елизавета Павловна. Она, как говорится, была под стать супругу: тоже высокая и видная, правда, на десяток лет его моложе, без искр седины в волосах. У них росла девочка Соня, гимназистка 3-го класса, сейчас корпевшая в своей детской за уроками.

— А что охрана? — Силин сморщил тонкий нос, ему не понравился запах красной рыбы, поданной горничной. Зелёные листки салата, короткие стрелки лука и кружево укропа заманчиво обрамляли красные язычки, в середине которых желтел ровным ободком кружок лимона. Однако неприятный запах от привлекательности блюда отпугивал.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Охрана или проспала...

— Рыба, Андрей Петрович, с душком.

— Или продалась, — сердито сказал Ромашов, — как не услыхать, что ломают стену?

— Разбойники! — воскликнула Елизавета Павловна и покраснела. В ранней юности ей нравился один студент, позднее оправленный на каторгу за неудачное покушение на важное лицо одного из российских городов, о чем громко кричали тогда все газеты.

— М-да, мёртвый очнётся.

— Вот именно! — Полковник подцепил на вилку кусок рыбы и, понюхав, положил на тарелку. — И охрана тоже! С душком!

Произошло всё ночью. План был до элементарности прост: взломать стену, выходящую на Барнаульскую улицу, и вынести оружие. Здание еще ранее осторожно обследовали Гранитов вместе с Тигрояном, хорошо разбиравшимся в строительных сооружениях по роду своей прежней деятельности. Стена оказалась старой, потому проломать её проблемы не было, главное, всё сделать максимально тихо.

Хозяйка слышала, как трое её жильцов, крадучись, по одному, выскользнули из дома. Гранитов чертыхнулся, спускаясь по лестнице, запнувшись о сломанную ступеньку, Тигроян оставил после себя запах крепких папирос, Кот уходил последним — по-кошачьи неслышно.

Лев Бартов остался в доме, и вскоре его вороватые шаги стали приближаться к её комнате. Дети спали на двух кроватях у стены, младшая обняла старшую, потому в темноте при неверном свете глядевшей в окно луны, то выкатывающейся из-за облаков, то вновь прячущейся в них, казалось, что на кровати не две маленькие девочки, а одна коротконогая толстуха. Серёжа, спавший отдельно, громче всех посапывал. Дверь приоткрылась, и Лев, сдерживая горячее дыхание, шагнул к постели хозяйки.

— Красавица, не гони, — прошептал он, — всё для тебя сделаю. Я многое могу.

Чуткий даже во сне Серёжа перестал посапывать и сел на кровати.

— Мама, — позвал он.

— Ребёнок проснулся, — сказала женщина, мягко отталкивая тянущиеся к её полуобнажённой груди мужские руки. — В другой раз.

— А не обманешь?

— Мама! — крикнул Серёжа, разглядев в полумраке мужской силуэт.

— Иди, Лёва. — Хозяйка встала и подошла к сыну. Мальчик тут же успокоенно лёг, положив ладошку под щёку.

Жилец пошёл не к двери, а к постели девочек.

— Здесь-то кто? — спросил, приостановившись и всматриваясь в темноту.

— Не буди, там дочери мои малые спят.

Луна вышла из-за облаков, осветила комнату.

— Тьфу ты, точно девчухи, — тихо засмеялся Лев, — да так сладко в обнимку спят. А я ненароком решил: ты гонишь, так она пригреет.

Хозяйка тоже рассмеялась негромко. Прислушалась.

— Внизу вроде дверь открывают.

Действительно, вернулись жильцы. Кот первым взбежал наверх, ловко перепрыгнув через сломанную ступеньку, сказал вышедшему из комнаты хозяйки Льву:

— Скорее иди, помоги разгрузить подводу. Ночью передадим всё Столяру.

Столяром звали опытного партийца Шамшина, вся семья которого активно работала в подполье группы.

— А пока надо спрятать на чердаке.

— А хозяйка? Она же...

— Она моя сестра.

— А не врёшь? — подозрительно спросил Лев. — Может, не сестра, а любовница? — В его голосе звякнули злые нотки ревности.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Давай вниз. Надо вернуть затемно подводу.

Разгрузка заняла немного времени. В дом внесли обёрнутые тряпьем десять берданок, несколько трёхлинейных винтовок и двенадцать револьверов системы Смита-Вессона. Втащили всё на чердак, подняли доски: под ними открылось узкое пространство, пахнущее мышами, сложили туда оружие, закрыли проём и снова аккуратно уложили доски. Спустились. Тигроян и Гранитов закурили. Кот суетился с самоваром: хотелось чая — скоро нужно было ехать возвращать верному человеку подводу.

— Охрану убрали? — спросил Лев, тоже закуривая. — Или только оглушили?

— Не угадал, — устало ответил Гранитов.

— Я не угадываю, а уточняю.

— Охраны не было вообще! — Тигроян захохотал. — Полиция полагала, что склад в полной безопасности на пяти замках. Кот хорошо в технических вопросах разбирается, не раз восстанавливал телеграфную связь Томска, он все замки еще раньше изучил: все пять серьёзные, один — немецкий, с секретным кодом, открыть практически было невозможно. Вот в полиции и решили, что на охрану денег тратить не стоит.

— Болваны, — усмехнулся Лев.

— И шум ломаемой стены околоточный проспал. Хотя мы работали максимально тихо. — Тигроян встал. — Пора.

— Жаль, меня не взяли.

— Ты же сам вызвался ждать связного.

— Да, помню. — Лев кисло улыбнулся. — Он должен был приехать ночным поездом. Не приехал.

Хозяйка, слышавшая разговор, подумала: «А ведь врёт. Струхнул и решил остаться, вот и всё. Да ещё показалось, наверное, заманчивым, что соперник Гранитов будет отсутствовать». Она о затаённой страсти Тимофея давно догадалась. Он ей нравился больше Льва: крепкий, с горячей душой мужик, на такого можно опереться и греться возле него, точно у печки, когда рядом с ним

стоишь, даже пол под ногами кажется тёплым. Тяжело всё-таки одиночке с детьми, ох, тяжело. Но открыто Гранитов чувств не проявлял, и это её немного удивляло. Ведь она ему любя, так чего ж? Неужто женат? Или невеста где-то его ждёт? Да как-то не похоже. По виду, да и по характеру однолюб он. А если вдовец? И хранит верность памяти покойной жены? Такой, если слово себе самому дал в горячке, в век не нарушит. Оттого и Гранитов. Лев-то Бартов по характеру иной, как лунный свет, изменчивый, добьётся, ежели своего от бабы, глядишь — вскоре отвернётся.

Хозяйка пошла к себе, легла. Луна, опять недолго поиграв на лицах спящих детей, порисовав бледно-голубоватые квадраты на деревянных досках пола, скрылась в туче. Стало совсем темно — но сон чего-то медлил, и, ворочаясь в постели, женщина подумала: тоже осторожничает.

Тигроян и Кот спустились по лестнице, внизу остановились.

«Пожалуй, двоим сейчас ехать не стоит, — решил Тигроян, — один верну подводу, ложись-ка спать, тебе же завтра снова в Томск».

Глава пятая ПРАДЕД

Июнь 2024 года. Москва

Мишка Гаврилов, позиционирующий себя в соцсетях как фрилансер, что, в общем, соответствовало действительности, поскольку Мишка то занимался перепечаткой текстов для сайтов, то придумывал сценарий компьютерной игры и продавал его, то, опять же для очередного сайта, какое-то время писал короткие статьи как копирайтер, то пробовал вести блог. Как-то он даже помог разгрузить ящики с продуктами возле районного кафе, получив за это непрестижное действие мятые наличные и, что было более для него в тот безденежный период нужно, — бесплатный обед от здоровенного угрюмого кавказца.

Бифштекс, правда, бил в нос чесноком, явно намекая на несвежесть, — и практикующий третий месяц вегетарианство Мишка умял только картофель с солёным огурчиком, компенсируя нехватку серьезных калорий четырьмя ломтями хлеба. Всё это шатание по жизни называлось у него «поиском своей экзистенции» и проходило на фоне вялого заочного обучения на истфаке гуманитарного университета. Жил он в московском «спальном» районе с матерью-библиотекаршей, женщиной замкнутой и робкой, отчего воспринимающей все выкрутасы сына как данность, без попытки что-то изменить или как-то на ход событий повлиять. Защищаясь от собственной психической хрупкости, она выработала принцип полного доверия течению жизни: как идёт, так и ладно. Интуитивный Мишка давно её понял, мысленно окрестил «даосской» и не сомневался, что только из-за робости она, привлекательная до сих пор, в личной жизни не словила шанс. Родитель муж. пола, Илья Гаврилов, одно время преуспевший в небольшом бизнесе, исчез сначала в садах Подмосковья, где весело проводил время с очередной опустошительницей его кошелька, а после, неожиданно оказавшись «на нулях» из райских земных куц переселился в иные, и Мишке как-то не верилось, что в райские. Приятель отца, поставлявший в амурные кущи искательниц «папиков», и «отжал» у стареющего ловеласа весь его бизнес. Ну, типа извини, так вышло. Когда отец умер, Мишка внезапно ощутил, что прочного пола у него под ногами нет. Мир будто перевернулся. День за днём клубились и кудрявились какие-то мелкие облачка, холодя щиколотки. И странным казалось Мишке, что не проваливается он в это бездонное небо, оказавшееся на месте дощечек недорогого ламината. Квартира в типовом доме, состоящая из трёх комнат, была обставлена скромно, поскольку почивший не жалел бабла только на разврат, как выразилась подружка Мишки, поступившая тоже типично: учуяв, что наследство приятелю не светит, она дематериализовалась из его жизни, послав эсэмэску «прости прощай смайлик машущая рука». «В спальнях районах

всё типовое», — зло подумал Мишка и, разбив о кафель в ванной смартфон, решил начать жить тоже прямо с нуля. Мать, конечно, огорчилась, выбрасывая в мусор Мишкин убитый гаджет, но уже на завтра на Мишкином столе лежал другой смартфон, хоть и недорогой, то бишь бюджетный, но зато новый. И, хотя вместо пола по-прежнему клубились и холодили ступни плывущие облака, Мишка как-то успокоился. Ему нравился риск, и в ситуации полного отсутствия страховки можно было попытаться словить адреналиновый кайф.

В квартире проживала кроме Мишки и его матери Ани её бабушка, Мишкина прабабушка Анастасия Дмитриевна Кугушева, получившая княжескую фамилию от первого мужа и не менявшая её, выйдя замуж вторично за художника-иллюстратора, давно ею забытого. От художника она родила дочь, погибшую тридцатилетней в аварии, оставив тоже дочь, второклассницу Аню, то есть будущую маму Мишки.

Прабабушка совсем не занимала Мишкины мысли. Живёт — и хорошо. И отлично, что не суёт нос в его проблемы. И приятно, что культурная — историк. У бросившей его подружки полуграмотная бабка выбросила все книги, и Мишка, как-то зайдя за приятельницей, спас от свалки четырехтомник Пушкина.

Анастасия Дмитриевна предпочитала проводить время в своей комнате за чтением и компьютером — на удивление быстро она освоила поисковики Интернета и с удовольствием переходила от ссылки к ссылке, порой помогая отыскать что-то нужное и Мишкиной матери. «Крутая у тебя старуха, — сказала как-то бывшая приятельница. — Моей мамашке полтинник, она ни в зуб ногой в компе — только почту смотрит, зато в салонах красоты зависает днями».

«В общем-то, об исчезновении подружки и её семейства жалеть вряд ли стоило, — как-то подумалось Мишке. — Зря тогда грохнул смартфон».

Печатать Анастасия Дмитриевна умела с юности, поскольку первый её муж в давние годы советского энтузиазма прозябал

МАРИЯ БУШУЕВА

вместе со своей княжеской фамилией в партийной районной газете и ленился сам набирать на старой «Москве» дежурные заметки о надоях и поощрении сельских передовиков. Да и сама Анастасия иногда публиковала в той же газете очерки, обычно по краеведению или о «людях культуры»: работниках клуба, участниках народного хора, самодеятельных стихотворцах. Вскоре её родственница, известный журналист, поспособствовала переходу ленивца Кугушева из районной газеты в городскую. Там-то он и нашёл своё счастье с секретаршей, освободив место для художника.

Анастасия Дмитриевна внезапно оказалась Мишке нужной, когда наткнулся он в Интернете на короткие воспоминания одного сомнительного кадра — участника революционных событий 1905 года. Похоже было, что полупогасший краеведческий форум мало кто посещает: какие-то два-три вялых комментария болтались ещё с позапрошлого года. Мишка и воспоминания не стал бы читать — революционная тема его совершенно не интересовала. Зависая который год на заочном, он так и не определился — какой период истории выбрать для глубокого погружения. Иногда ему казалось, что, пожалуй, стоит универ послать подальше и попробовать себя в живописи: способности деда внук унаследовал. Воспоминания на форуме прятались «под катом» — и открыл их Мишка чисто автоматически. Открыл и закрыть не смог: о своем участии в революционном движении начала XX века вспоминал полный Мишкин тёзка: Гаврилов Михаил Ильич.

«В феврале 1905 г. мне исполнилось 17 лет. В Новониколаевск я приехал в сентябре того же года. Приехал из Томска, где работал телеграфистом. В Новониколаевске, по решению томского комитета РСДРП, стал работать слесарем в инструментальном цехе железнодорожных мастерских станции Обь. Жил в доме на Переселенческой улице. Хозяйкой квартиры, занимавший весь второй этаж полукаменного дома, была моя родная старшая сестра Диева Александра Ильинична — вдова с тремя детьми: дочерьми Ириной и Стефанидой, сыном Сергеем. Средств

она не имела, поэтому сама приготавливала различного рода пирожки, жарила кур и т.д. и с этими продуктами на лотке (корзинке) выходила на станцию Обь и продавала эту снедь пассажирам проходящих поездов.

Диева А.И. к революционному движению относилась очень благосклонно и оказывала революционерам большую помощь. Хранила литературу, прокламации, которые Обская группа РСДРП получала обычно из Томска, реже — из Барнаула. Предоставляла свою квартиру для приезжавших из Томска и других городов профессиональных революционеров. Через неё благодаря её торговле у пассажирских поездов отправлялись прокламации на близлежащие станции Чик, Чулым, Мошково и др. К Александре Ильичне подходили заранее обусловленные лица, покупали пирожки и другую снедь, и она им передавала по паролю прокламации в готовых свертках. Такой способ пересылки практиковался недолго, а затем был прекращён совсем, чтобы её «не провалить» и сохранить квартиру. Диева А.И. стала «держатель столовников»...»

Не дочитав до конца, Мишка скопировал текст. Прабабушка неплохо знала свою родословную и всё, что знала, записывала. Изучила Анастасия Дмитриевна истории предков своего мужа, художника, Мишкиного прадеда, и объединила родовые линии. Мишка понимал: она не хочет грузить правнука поучительными разговорами, отсылающими к «родовой чести», больше надеясь на его собственный интерес. И, действительно, иногда он в записи Анастасии Дмитриевны заглядывал. К началу XX века всех, собранных Анастасией Дмитриевной в одном файле, можно было отнести к разночинной интеллигенции: представлены было среди общей родни дореволюционные студенты, две бестужевки, врач, гимназические учителя. Были и потомственные священнослужители — в священники в конце XVII века подался сын таможенного ларёшного — служилого из «лучших людей». Один из Мишкиных пра, управляющий завода, породнился через замужество дочерей с представителями духовенства. Имелся обедневший дво-

МАРИЯ БУШУЕВА

рянин с баронским титулом. Правда, внук барона угодил в политссылные и в Иркутске благополучно женился на дочери скромного канцеляриста — дворянство вернули, а титул затерялся на кандалных дорогах Сибири...

Иногда Мишка разглядывал альбом со старинными фотографиями. Женщины в модных шляпках, мужчины, подписавшие обратную сторону своих фотографий, кто — стихами, кто — крылатой латинской фразой, выглядели приятно и, признаться, льстили Мишкиному самолюбию. Иногда он с грустной иронией называл себя отложенной жертвой революции 1917 года, используя баронский титул для поднятия собственного престижа, поскольку больше ему гордиться было нечем. Буржуазное обаяние почившего папаши осталось в прошлом, а вместо него зияло чистое пространство честной семейной бедности.

А тут какой-то мутный тип и тётка, торгующая у вокзала! Конечно, «Гаврилов» — фамилия нередкая, скорее всего — совпадение. И всё-таки...

Мишка осторожно приоткрыл дверь в комнату Анастасии Дмитриевны. Может быть, о родне со стороны Ильи Гаврилова, покойного отца правнука, она что-нибудь знает?

И в который раз удивился: прабабушка выглядит много моложе своих почтенных лет. И проходит каждый день пешком не меньше пяти километров!

— Конечно, о Гавриловых я кое-что знаю, — сказала она, откладывая книгу, — когда Аня сообщила мне, что ждёт ребёнка, я имела беседу с Ильёй на тему его родословной, а после нашла подтверждающие факты в статьях и в письмах: всю переписку Гавриловых Ильёй отдал мне. Движима я была не только любопытством и не только интересом к корням любого человека. Мне хотелось знать, какая родовая история достанется моему правнуку. Уверена была: родится мальчик.

— И какая же?

— Твой отец — третий, поздний, ребенок. Да и ты у Ильи не ранний. Если исходить из средней нормы: одно поколение —

это приблизительно 25 лет, у тебя по мужской линии пропущено одно, а то и два поколения. Потому и деда, отца Ильи, ты не застал. По профессии он был инженер. Любил слегка выпить. И всю жизнь в дни юбилеев революции посещал торжественные собрания как сын старого большевика, портрет которого красовался в каком-то сибирском историческом музее. Такие собрания часто заканчивались банкетами.

— В музее? Ничего себе! А почему сибирском?

— Прадед был уроженцем Пензенской губернии, а жил в Сибири, там и отмечен. Скорее всего, музей уже закрыли: время теперь не тех героев, всё, мешающее идеологии денег, стирается или очерняется... Правда, и советская власть создавала свою мифологию, обрубая факты, мешающие нужной картине. И с музеем то же самое. Твой прадед Гаврилов Михаил Ильич...

— Гаврилов Михаил Ильич? Мой полный тёзка?

— Выходит, так. Только он был не большевик, а меньшевик.

Глава шестая ДОЗНАНИЕ

Декабрь 3 1903 года

* * *

Секретно

Опись вещественным доказательствам, приложенным к настоящему дознанию

Название вещей и бумаг.

1. Брошюра на 14 листах в синей обложке, сочинение Л.Н. Толстого под названием «Неужели так надо?» с послесловием.

2. Прокламация Рос. Соц. дем. раб. партии «Ко всем работающим и служащим по найму в Сибири».

3. Прокламация того же союза «Два злодейства: Златоустовская бойня и Кишинёвское избиение».

МАРИЯ БУШУЕВА

* * *

Рыдания Шурочки стали мучительной для Диева традицией: каждый вечер теперь, уложив детей, она выпивала вина и, взяв гитару, сначала пела негромко романсы, после заливалась слезами и, наконец, уткнувшись в мягкие диванные «думочки», глухо рыдала. Её не пугало даже свое опухшее лицо в зеркале, казалось, наоборот, Шурочку радует, что наносит она урон своей красоте. Диев в первое время пытался её успокаивать, но утешительные слова звучали так робко, что приносили обратное: жена рыдала еще отчаяннее.

Мишка жил у тётки Лебёдки, сестры Стефаниды Акинфиевны, пытавшейся всеми силами через мужа-протоиерея и его сына Никодима Антониевича добиться закрытия дела. Но пока никаких результатов от активности родни не было. Диеву и Шурочке обо всех неудачах рассказала сама тётка Лебёдка, давно смирившаяся с прозвищем, подаренным ей хулиганом-племянником. Она пришла как-то вечером, принесла собственной выпечки яблочную шарлотку и мармелад, от которого пришли в восторг детишки. Они прыгали и, словно ёлочные игрушки, повисали на руках полнозвонной гостыи. Шурочка злилась и твердила: глупости, ни за что дело не закроют, не о том думать надо, а о сохранении места на железной дороге. Вот где связи бы поискали.

— Полковника Ромашова в городе уважают, оттого никто помогать не станет, — вяло отмахивался Диев, — кто захочет своим служебным местом рисковать? Ромашова трясёт от бешенства, когда он меня выспрашивает.

— И что ж ты, голубчик, ему говоришь?

— Говорю, Олимпиада Акинфиевна, что нашёл пакет на полу экипажа, кто-то выронил, а извозчик не углядел. — Диев всегда обращался к сестре жены своего дяди уважительно — в отличие от Мишки и Шурочки, по имени.

— Полковник не такой дурень, чтобы тебе верить, — раздраженно сказала Шурочка. — Доверчивого не поставили бы возглавлять жандармское управление.

— У него нет фактов, имеются лишь показания против меня извозчика Трофима.

— Каков мерзавец этот Трофим! — воскликнула Олимпиада Акинфиевна.

— Сотни таких, — вздохнул Диев, — за каждым углом.

— Ромашов недалеко от них ушёл! — Глаза Шурочки вспыхнули яростными огоньками. — Вся нынешняя власть такая.

— Ну, ты высоко замахнулась, — заметила Олимпиада Акинфиевна, — извозчик-то — какая власть, тот же пролетариат, за коего вы так с твоим Мишуткой ратуете. Наш Антоний верно говорит: «Дай трофимам власть — нам всем тогда не жить».

— Нам не жить, если Алексея уволят, — вернулась к пугающей её теме Шурочка, — мы и кухарке задолжали... По миру пойдём с детьми.

— Может, не отправят документы в Управление дороги? — сказал Диев. — Отдадут под надзор полиции, тем и отделаюсь.

Полковника Ромашова действительно трясло от бешенства, когда он читал противоправительственные прокламации, возмущавшие его до глубины души. «Всех бы смутьянов перевешать, — думал он, — очистить от них Россию, ведь ведут страну к пропасти». Отставной титулярный советник Диев то виделся ему невинной жертвой собственной слабости, то представлял коварным притворщиком. Разобравшись в деле, проведя три беседы с обвиняемым, Ромашов препроводил дело поручику Бахереву. Может, тому удастся выудить дополнительную информацию? Заговора и лиц, передавших брошюру и прокламации, полковнику выявить не удалось. Диев упорно утверждал, что нашел пакет и, будучи в нетрезвом состоянии, бессознательно положил в карман, посчитав, что он оттуда и выпал. Так сильно был пьян, что ничего не соображал. Против этого полковнику Ромашову возразить было нечего: и точно так — извозчик Куликов доставил Диева, находящегося в состоянии «ню». Правда, хитрый Трофим

МАРИЯ БУШУЕВА

пытался навести следствие на брата супруги Диева, пятнадцатилетнего Михаила Гаврилова, но представить ничего доказательно не сумел. Ромашов на всякий случай приказал Бахереву, не внося в протокол, прощупать Диева на предмет юного родственника. Но и поручик прибавить нового к имеющимся показаниям Диева не смог — так и доложил Ромашову. Ничего особого не обнаружил он и в биографии самого Диева. Православный. Великоросс. Подданство российское. 1855 года рождения. Отставной титулярный советник. Служит в конторе Движения Сибирской железной дороги. Постоянно проживает в Томске. Племянник уважаемого в городе протоиерея, сын его покойного брата, обер-офицера. Родители скончались в Мокшане Пензенской губернии. В оставшемся от них доме проживает теперь младший брат обвиняемого — Александр Александров Диев, 43 лет, учитель. Супруга Александра Ильинична Диева, 24 лет, урождённая Гаврилова. Трое детей: 5, 3 и 1 года.

Далее содержались сведения от Жандармского Управления: обвиняемый к дознаниям ранее не привлекался. Основания привлечения к настоящему дознанию: переписка, возбуждённая представом IV участка города Томска и результат обыска. Время привлечения к дознанию: 15 октября 1903 года. Время и место обыска и ареста: 15 октября, в гор. Томске. Время первого допроса: 15 октября. При обыске обнаружены брошюра под названием «Неужели это так надо?» Л.Н. Толстого и две печатные прокламации противоправительственного содержания. Все сведения переданы в Департамент полиции начальником Томского Губернского жандармского управления полковником Ромашовым. Согласно 2 п. 416 ст. Уст. Уг. Суд. Алексей Александров Диев отдан под особый надзор полиции по месту жительства в гор. Томске.

* * *

*Именной список обвиняемого, составленный на сновании
Циркуляра Департамента полиции 1885 года за № 1769
Диев Алексей Александров*

Принятая мера пресечения: Согласно 2 п. 416 ст. Уст. Суд. Отдан под особый надзор полиции по месту жительства.

Место нахождения обвиняемого: Гор. Томск. Документы Диева препровождены в Управление Сибирской Железной дороги при отношении за № 4993.

Верно: Поручик Бахерев.

* * *

Тридцатилетний поручик, правда, не был уверен, что обвиняемый говорит правду, но решил сильно в дело не вникать: прокламации в последнее время появлялись чуть ли не на всех столбах, не станешь над каждой ломать голову. Да и Диев показался ему вполне приличным человеком, к тому же напомнил собственного покойного отца, тоже дальше титулярного советника не продвинувшегося. Пожалуй, стоит полюбопытствовать, решил поручик, что за крамолу сочинил граф Толстой, роман которого «Анна Каренина» Бахереву в деталях пересказала супруга, выпускница Иркутского Девичьего института, где получали образование благородные девицы Сибирского края и даже обучались дочери декабристов. Брошюру он открыл, пролистал, прочёл пару страниц — и отложил: скучно! Понятно, что мир несправедлив испокон веков, понятно, что мужик беден, а граф и заводчик богаты, так к чему об этом писать? Какой толк? Никто никогда ничего не изменит. Тот, кто дорвался до власти, всегда будет стремиться богатеть, а буржуазно-купеческий элемент — сохранять и приумножать свою собственность. И всё это любыми путями, часто и низкими. Нравственный человек — нужен, он совместно с государем и церковью сохраняет общество от распада и озверения, но видимая власть не в его руках. Жена Бахерева, проводившая время с книгами, нашла как-то в одной из них фантастическую теорию индусов о том, что человек живёт несколько раз, душа его переходит из тела в тело, и в каждой следующей жизни он получает то, что заслужил в предыдущей. До этого с несколькими томскими да-

МАРИЯ БУШУЕВА

мами она крутила блюдце, вызывая на разговор умерших, однако, узнав о перевоплощениях, занятия спиритизмом прекратила, посчитав, что в потустороннем мире душ нет, а отвечают на вопросы дам крутящиеся рядом бесы. Поручик, чтобы не прослыть еретиком, об индусской теории распространяться не стал, поскольку она противоречила православию, но отметил для себя, что его такое объяснение существующей в мире несправедливости вполне устраивает. Бедняк в следующей жизни может стать богачом, вкусить все соблазны денег и роскоши, а затем, умерев и родившись снова, понести наказание за бесовский грабёж народа, опять обратившись нищим. «Чего граф негодует, — подумал с досадой, — писал бы свои романы, польза для общества от них поболее, а не прибавлял работы жандармской службе».

— Вы читали брошюру Толстого, найденную у вас при обыске? — спросил поручик обвиняемого, отнюдь не надеясь того поймать, — ведь ежели проговорится «читал», значит, не нашёл в экипаже — просто любопытствовал.

— Нет.

Диев сказал правду: он статью «Неужели это так надо?» не читал. И тут же подумал: «Стоило бы, наверное».

— Мне бы паспорт, — сказал просительным голосом, — без него жалованье не выдадут.

— Хорошо, — легко согласился Бахерев, убедившийся в честности Диева, — напишу в Управление Железной дороги.

* * *

Секретно

Ноября 30 дня 1903 г. Гор. Томск

Препровождая при сем бессрочную паспортную книжицу за № 7 и квитанцию от 31 июля 1903 года за № 5 прошу распоряжения Управления выдать таковое владельцу. Отставному титулярному советнику Алексею Александрову Диеву под расписку, каковую приуготовить мне.

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Верно: Поручик Бахерев

В Управление Сибирской железной дороги.

* * *

Паспорт Диеву выдали только через два месяца, в конце января. Правда, служащий едва не забыл про необходимость запрошенной поручиком расписки: в Управлении железной дороги горячо обсуждали начало войны с Японией. Большинство служащих было уверено в скорой русской победе.

Известие о войне встревожило Диева, но, выйдя на улицу, он тут же о японцах забыл, подумав о своём, личном: казалось бы, такая ерунда в кармане — серая книжица, а он снова ощущает себя человеком. Об увольнении разговора не было — может, обойдется, мелькнула надежда. Даже окрепший зимний снег, утративший первоначальную белизну, несмотря на свою серость, грязные разводы и крапины, показался ему сейчас праздничным. Служащий догнал и вернул Диева. Пришлось сесть к столу и написать:

1904 года Января 29 дня паспортную книжку за № 71 с квитанцией за № 5 обратно получил, в чем и подписываюсь. Отставной Титулярный Советник Диев.

29 марта 1904 года поступило подтверждение из Управления Сибирской железной дороги.

* * *

Секретно

Начальнику Томского Губернского жандармского управления

Вследствие отношения от 30 ноября 1903 года за № 4993 имею честь препроводить расписку Отставного Титулярного Советника Алексея Диева в получении им письменного вида за № 71 с квитанцией за № 5.

Начальник дороги. Инженер Васильев

Начальник Службы движения Левшин.

МАРИЯ БУШУЕВА

Глава седьмая ТЕЛЕГРАФИСТ

Апрель 1904 года. Томск

В обязанности Мишки входила проверка телеграфных проводов и устранение неисправности прямо на месте обнаружения. Он легко, почти бегом, отмахивал больше двадцати километров в день и, возвращаясь на Юрточную гору в губернскую почтово-телеграфную контору, ещё и успевал помочь миловидной телеграфистке отбить или принять телеграмму. Почтовые работники, сплошь мужчины, приходили в соседнюю маленькую комнату, где располагался телеграф, поглазеть не на технику, уже им привычную, а на молодую женщину. Телеграфная связь между Томском и европейской частью России протянута была давно, осенью 1863 года, а симпатичная телеграфистка на Томском телеграфе появилась совсем недавно. Среди почтовых служащих женщин до сих пор не было.

Мишке нравилась работа. Он решил на следующий год поступать в Томское телеграфное училище. Нравилось ему и выступать перед публикой: говорил он живо, грамотно, — и на вечере в библиотеке Макушина с удовольствием рассказывал любознательным обывателям об изобретении телеграфа. Первую телеграмму на 100 метров передал российский учёный — барон Павел Львович Шиллинг 21 октября 1832 года на сконструированном им самим электромагнитном телеграфном аппарате. Он же первым разработал проект подводной телеграфной линии между Петербургом и Кронштадтом. Опять же русский ученый Борис Семенович Якоби создал пишущий телеграфный аппарат в 1839 году...

— Разумеется, европейцы с внедрением изобретений Россию обогнали. У нас очень медлительная исполнительная система. — Мишка незаметно перешёл на критику власти. — Чиновник тонет в бюрократическом крючкотворстве, монархия как государственный строй изжила себя...

— Да не такая уж медлительная, — подал реплику один из слушателей, — на днях первый таксофон поставили: кинул гривенник — и говори ровно три минуты.

Все засмеялись.

— Критиковать-то власть легко, трудно дело делать, — послышался голос из-за приоткрытой в помещение двери.

Мишка насторожился. Но повезло: никто из слушателей на него не донёс.

Вечером у него было свидание с девушкой Зоей Еремеевой, недавно окончившей гимназию и вдохновенно мечтающей «просвещать народ». Зоя однажды ловко наклеила на столб призывающую к революции листовку, переданную ей Мишкой. И, следя из-за угла соседнего дома, как жандарм сердито бумажку срыывает, весело насмеялась над ним, высунув острый кончик розового язычка. Идея революции стала модой и распространялась в городе, точно инфлюэнца. Мишка Зое нравился тем, что вступил он в партию социал-демократов. Ему уже исполнилось шестнадцать, хотя по-прежнему он прибавлял себе год, а порой и два, для солидности. Зоя, считающая себя «эмансипе», быстро перешла ту черту в отношениях двоих, какую кандидат богословия законоучитель Епархиального училища Никодим Диев, духовник её матери-вдовы доктора Еремеева, — посчитал бы запретной. Зоя и крестик уже не носила, сердясь, что Мишка почему-то не выбрасывает свой.

Мишка сначала взлетал, разгорячённый девичьими поцелуями, а потом падал в какой-то долгий колодец, теряя память о происходящем, и, выбравшись снова на свет, с удивлением видел рядом с собой обнажённую девичью грудь. О помолвке речь, конечно, не шла. Вдова Еремеева метила выше: для единственной дочери она присмотрела выгодного жениха — брата жены жандармского поручика Бахерева. Поговаривали в Томске, что отец супруги поручика, состоявший во второй купеческой гильдии, владелец фабрики, двух пароходов и золотоносного прииска, отпишет любимому сыну увесистую долю

МАРИЯ БУШУЕВА

наследства. Зоя читала стихи на одном из праздничных гимназических концертов в театре Королёва — и оказавшийся среди зрителей сын второгильдейщика преподнёс ей цветок. Наверняка этот галантный жест и внушил вдове Еремеевой идею возможного удачного брака. Наследство маячило уже близко — больной купец второй год дышал на ладан, ученик покойного мужа Еремеевой, доктор Залманов, скорбно разводил руками: не встанет, состояние старого воротилы безнадёжно. Еремеева всеми силами пыталась как можно скорее оторвать Зою от нищего Мишки, о романе с которым Зоя, называя себя социалисткой, сообщила ей с гордостью.

Социал-демократ Мишка вряд ли сам ясно понимал причину того, что до сих пор носит православный крестик и втайне от всех иногда заходит в церковь. Многого совершалось только в дымке его души, не превращаясь в отчетливые мысли. Он жил, подчиняясь не рациональному плану, а интуиции, имеющей отношения к телесности только в случае опасности, а в обычное время привычно сигнализирующей о потребностях разума и чувств. Не простаивал на службах, лишь зажигал свечу и, смотря на колышущийся огонек, исчезал из реальности, улавливая что-то инобытийное, чему не было в книге его сознания подходящих слов.

Весной умер протоиерей Антоний, отец епархиального законоучителя Никодима, духовника Еремеевой. Скончался старик не в Томске, а в своём сельском доме, приобретённом много лет назад по приезду из Пензы. Никодим сразу объявил, что всё оставшееся от отца готов отписать сестре Надежде, вечно мёрзнувшей тридцатилетней девице, живущей то у матери, то у добродушной Олимпиады в доме на Садовой. Мишка считал Надежду скучной старой девой. Некрасивостью она походила на милую ему тётку Лебёдку, и это как-то мирило с присутствием Надежды в его жизни. Порой она казалась всего лишь тенью, утратившей чувства, а возможно, не обладавшей ими сразу: её боязливые движения стремились незаметно раствориться в пространстве дома, не нарушив его порядка, а пергаментный голос

звучал так редко, точно она опасалась произнесённых слов. На замужество Надежды семейные, конечно, не надеялись.

— Смотреть мне на неё больно, — как-то сказала Стефанида Акинфиевна сестре. — Может, правда всё оттого, что, как стала я вдовой, так и зрение начала терять.

— Чего ж ты, милая моя, страшишься в Наденьке увидеть? — ласково спросила Олимпиада. — Здоровьем её Бог не обидел, а то, что одна, так и я всю жизнь безмужняя.

— Страшусь увидеть, что моя оставшаяся жизнь коротка, а она, такая неприспособленная. Антоний мне снится, машет из небытия рукой и зовёт меня за собой.

— Душа его тоскует о тебе. Ты, Стефа, помолившись перед сном, попроси Господа помочь ему уйти от нашего земного мира в высшие сферы. И душе Антония будет помощь, и твои дни продлятся.

— Тётя Стефанида, — внезапно произнёс Мишка, до сих пор живущий у Олимпиады Акинфиевны, — вы ещё тридцать лет проживёте!

Он сам не знал, отчего у него вырвались эти слова, оказавшиеся вещими. Шурочка не раз замечала за Мишкой такую необычную особенность: предугадывать ход судеб, а иногда и предсказывать события. Всё это получалось у него совершенно случайно, точно шла какая-то телеграфная лента прямо через его подсознание — и на выходе отбивала телеграмму.

Пришедший запрос от помощника инспектора 2-го участка пришлось Мишке читать вслух: вдова принесла письмо сестре. Несмотря на горе, терять приобретенное мужем Стефанида Акинфиевна всё-таки не хотела, думая о неопределённости дочернего будущего, и занялась документами. С домом всё было ясно, остальное вызывало вопросы. Инспектор запрашивал:

Прошу сообщить в самом непродолжительном времени следующие сведения об имуществе, оставшемся после смерти священника Антония Михайловича Диева, находящегося в селе Баланово Кривошековской волости:

МАРИЯ БУШУЕВА

1) в чём заключается недвижимое имущество — если в земле, то какое количество десятин удобной и неудобной, если усадебное место с постройками, — то какими, где таковые находятся, (уезд, волость, селение);

2) не замечен ли это имущество в кредитном учреждении или частному лицу, где и кому именно, в какой сумме и по какому акту, а равно во сколько учтено для залога;

3) застраховано ли и в какую сумму оценено при приёме на страх;

4) во сколько оценено имущество для изъятия земских сборов;

5) не обременено ли имущество ко времени перехода к наследникам недоимками: казённых, городских, земских и общественных сборов и в какой сумме по какому сбору;

6) как велика оценка по акту последнего приобретения.

— Я ничего об имуществе не знала, — прослушав, огорчённо сказала Стефанида Акинфиевна, — ни про залого, ни про то, сколько каких десятин. Сызмальства в бумажках таких не понимаю. Отвращает моё сердце от канцелярщины.

— Надо ответить и написать, чтобы инспектор подал запрос в волостное правление, — посоветовала Олимпиада, — там всё знают. Помню, Антоний как-то говорил, что земли много. Если Наденьке в сельском доме жить не захочется, можно будет продать.

— Да, жаль продавать. — Стефанида Акинфиевна глянула на стоящую в дверях гостиной дочь. — Правда жаль, Надюша?

— Я мечтаю быть чем-то полезной людям, а не об усадьбе.

Слова обычно молчаливой девицы прозвучали так неожиданно, что все на миг застыли: Стефанида Акинфиевна — в кресле, сестра её — на гнутом стуле у покрытого кружевной скатертью стола. На нём стояли фарфоровые чашки, и заманчивой горкой белело облитое сахарным сиропом печенье.

У Надежды есть мечта, поразился Мишка. И тут же мелькнула быстрая мыслишка: «Не приобщить ли её к работе партии?

Пользу такой деятельности она точно сможет ощутить. Впрочем...» Он глянул на тётку Лебёдку, перевёл взгляд на всё так же стоящую в дверях Надежду. Нет, похожа-то она похожа на Олимпиаду Акинфиевну, а только, если первую он мог представить даже на демонстрации с красным флагом, вторую — ...в лазарете. В лазарете? Почему?

— Слышу, кипит, почаёвничаем. — Тётка Лебёдка поднялась и пошла в кухню за самоваром.

Надежда молча села к столу. «Надо же, — снова смотря на неё, подумал Мишка. — Мечта у неё, видите ли, имеется. А вот с моей — о поступлении в телеграфное училище придётся расстаться. На время? Или навсегда?»

Руководство томской группы РСДРП решило перебросить его в Новониколаевск в качестве организатора и связного.

— Придется и литературу туда возить, — сказал Гаев. — У них пока нет своей типографии.

Уезжать из Томска Мишке не хотелось. «Потяну время, — решил он, — может, кого другого для обчан найдут, а мне бы всё-таки в училище...»

Глава восьмая БРОШЮРА

Май 1904 года. Томск

В апреле Шурочка родила четвёртого ребёнка, но девочка, названная Лизой, не прожила и пяти дней. Не успели даже окрестить. Диеву больно было смотреть на крохотное бездыханное тельце, казалось, с младенцем умерло что-то и в нём самом — что-то с детства таящееся в глубине души и так и не проявившееся. Шурочка отреагировала на смерть новорождённой усилившейся раздражительностью. Она хлопала дверьми, нервно, рывками, отодвигала от стола стулья и так резко забросила на шкаф гитару, что струны инструмента горестно откликнулись. Как-то Шурочка сказала Диеву:

МАРИЯ БУШУЄВА

— Дядя Антоний скончался, через месяц наша... Жди третьей смерти. Примета такая: двое третьего уведут.

Посмотрела сердито на Диева и добавила:

— Ты же теперь воробышка-социалист, выходит, в приметы верить не должен.

— Какой я социалист, сама ведь знаешь. Сколько вместе живём, столько надо мной и насмешничаешь, — грустно сказал Диев, — я ведь даже содержание прокламаций узнал только на допросе: полковник Ромашов не поленился зачитать. Там говорилось о жутком еврейском погроме в Кишинёве и какой-то бойне в Златоусте. Про Кишинёв писали в газете, а про Златоуст я до сих пор ничего не знаю. С Михаилом стараемся не видеться — спросить не у кого.

— Поинтересовался бы у родной жены.

— Ты знаешь? — удивился Диев.

— В Златоусте расстреляли больше шестидесяти рабочих по приказу уфимского генерал-губернатора Богдановича.

— За что?!

— Бедствующий пролетариат требовал справедливости. Всё, как обычно.

— Всё ж таки обычно не расстреливают. Богданович должен предстать перед судом.

— Не пори чушь. — Диеву показалось, что Шурочка смотрит на него то ли с жалостью, то ли с презрением, — царизм всегда оправдывает своего верного слугу. Судила Богдановича организация партии эсеров и вынесла ему смертный приговор. Мишка сказал: «Богданович уже в аду». Хотя я не верю ни в ад, ни в рай.

— Неужели Михаил... — У Диева похолодели ступни ног.

— Конечно нет! Эсеры — другая партия. Расправилась их боевая дружина.

— Я не понимаю, кто из социалистов кто.

— Может, это и к лучшему. — Шурочка улыбнулась. — И хорошо, что ты не заглянул в брошюру Толстого. Точно бы всё вы-

болтал и угодил в тюрьму... Для серьёзного дела ты, мой пьющий воробышка-муженёк, не годишься.

— Я только слегка иногда выпивающий, — обиделся Диев, — пьющего бы на железной дороге не держали. Особенно теперь.

— Не сглазь! Мишка предупредил: ты висишь на волоске, потому должен быть очень осторожным. А он всё предугадывает. — Шурочка нахмурилась. — Отдала вот вчера долг хозяйке квартиры. А одежды себе не на что купить. Всё стало мало, еле влезаю в блузку и в юбку.

За последние два года Шурочка раздалась: бёдра её, и раньше округлые, теперь вставляли под платьем двумя колышущимися при ходьбе холмами, лицо утратило девичьи штрихи карандашного наброска и обрело во всей полноте красок и линий женскую зрелость. Собственная щуплость на фоне рубенсовой роскоши супруги сейчас вызвала у Диева грусть и неожиданно оживила хрупкий облик его пензенской первой любви, давно сокрытой от памяти сердца снежным покровом томских зим. «Там остался светлый мой путь, — с сожалением подумал Диев, — а здесь...» После страшного известия о расстреле рабочих и не менее страшного — о самосуде эсеров-террористов над Богдановичем, Шурочка и её брат показались ему причастными к той тёмной стороне мира, с которой звучали кровавые выстрелы.

— Вы с Мишкой — чернокнижники какие-то, — произнёс Диев, не выбравшись из собственных мрачных мыслей, — а я, глупец, попал к вам в сеть.

Он ждал, что Шурочка ответит обидной репликой: да, глупец, потому и угодил в плен любви, но она промолчала. И её молчание насторожило: а если он угадал верно, и Гавриловы — порода чёрных колдунов, намеренно прилипших к верующим в Бога Диевым, дабы не сохранилась их чистая православная вера в следующих поколениях? Дьявольский замысел? Или... или от пережитого у Диева ум за разум заходит? В Мокшане по соседству

жила неприятная семья, бездетные муж и жена, отец Диева перед смертью жаловался, мол, они и навели на него неизлечимую хворобу за то, что не уступил им части своей земли, прилегающей к дому. Тогда Диев посчитал слова отца болезненным бредом, почему же сейчас сам начал подозревать подобное?

Идя с поминок по Воскресенской с двоюродным братом Никодимом — прошло сорок дней с ухода протоиерея Антония — Диев попытался разрешить возникшие сомнения, подумав: «Никодим после Казанской духовной академии много образованнее меня, потому про чёрную сторону мира должен знать нечто конкретное».

— Всё на самом деле просто, — ответил Никодим, откидывая ладонью со лба кудрявую прядь, — свет там, где прощение и любовь. Тьма там, где вражда и ненависть.

Диев утаил, что почему-то стал подозревать в служении тьме жену и её брата.

— А Толстой, — спросил осторожно, — разве не сеет вражду? Почему он выступил против церкви? Об этом писали газеты.

— Думаю, ему не даёт покоя не сама церковь, а слава отца Иоанна Кронштадтского.

— Но это же мелко.

— Мелко было бы, коли Толстой воевал бы с самим отцом Иоанном, а он как человек-гигант расширил предмет борьбы до масштаба всей церкви. И кое-какие недостатки указал верно. Все пороки общества и к нам проникли. Но им противопоставлено многовековое искреннее служение честных и верующих священников.

— Жена считает, что сами церковные службы устарели. Ведь любая форма со временем костенеет или ветшает, разве не так?

Никодим не стал углублять тему и касаться взглядов Шурочки. Только заметил:

— В застывшей форме служб символически выражена вечность.

Простившись с Никодимом, Диев поплёлся домой. Видеть ни жену, ни детей не хотелось. Для малышни не было гостинцев, обычно посылаемых Стефанидой Акинфиевной или её сестрой — добрейшей Олимпиадой. С поминок гостинцы не отправляют.

Внезапно Диева догнал Мишка, он забежал на Воскресенскую, но, перехватив пару блинов, мгновенно исчез.

— Вы как? — спросил, приостановившись. Шелестела еле слышно молодая листва, маняще пахло первыми цветами. Служителей порядка вблизи не было. — Пришли в себя?

— Я из себя и не выходил, — неумело пошутил Диев.

— Это вам так казалось. Со стороны виднее.

Диев не возразил. Что спорить?

— Дознание не закрыли? Всё ещё мучают?

— Пока не закрыли. — Диеву вдруг стало обидно, что он так и не прочитал статью Толстого, из-за которой перенёс столько унижений: донос кучера, допросы, обыск.

— Мне бы хотелось ознакомиться с брошюрой «Неужели это так надо?» — Он, постарался придать подрагивающему голосу весомость.

— Хотите узнать, за что страдали?

В который раз Диева поразила Мишкина пронизательность.

— Да хотя бы и так.

— Передам через тётку Лебёдку.

Через пару дней брошюру, опасаясь полиции, Диев уже нёс домой. Он намеренно шёл неторопливо, изображая полное спокойствие, хотя чувствовал себя не человеком, а зайцем, обложенным охотниками. «Видимо, дух Толстого мне помогал, — думал вечером, собираясь читать статью, — желает, видимо, граф, чтобы отставной титулярный советник Диев с его рассуждениями тоже ознакомился». И опять собственные мысли показались Диеву странными. «То родная жена предстаёт черно-книжницей, то начинаю верить в помощь духа. Нет, необходимо срочно вернуть трезвость своему загнанному бедами разуму».

МАРИЯ БУШУЕВА

Начало статьи Толстого Диев прочитал поздно вечером, когда Шурочка и дети уснули. Жена часто *теперь засыпала, обняв не мужа, а младшую дочку Ирочку, слабенькую здоровьем.*

«Стоит среди полей обнесённый стеной чугунолитейный завод с не переставая дымящимися огромными трубами, с гремящими цепями, домнами, с подъездной железной дорогой и раскинутыми домиками заведующих и рабочих. На заводе этом и в шахтах его, как муравьи, копаются рабочие люди: одни на 100 аршин под землёю в тёмных, узких, душных, сырых, постоянно угрожающих смертью проходах с утра до ночи или с ночи до утра, выбивают руду. Другие в темноте, согнувшись, подвозят эту руду или глину к дудке и везут назад пустые вагончики, и опять наполняют их, и так работают по 12, 14 часов в день всю неделю...»

«Всё так и есть, — подумал Диев. — Правду граф пишет. В Томской либеральной газете «Сибирская жизнь», основанной старшим братом городского головы Макушина, тоже признавали, что заводчане упорно требуют 8-часового рабочего дня. Поговаривали, что автора заметки потом наказали».

«...Другие же мужики тут же недалеко от завода сидят на шоссейной дороге, пригородив себе из рогожки защиту, и бьют шоссейный камень. Ноги у этих людей избиты, руки в мозолях, всё тело грязно, и не только лицо, волосы и борода, но и лёгкие их пропитаны известковой пылью»

Видел Диев таких мужиков. И граф, оказывается, видел: зоркие, однако, у него глаза, высоко сидит в своём имении да глядит далеко.

«Стороной же от шоссе едут два верховых: мужчина на английском жеребце и дама на иноходце. Не говоря о цене лошадей и сёдел, одна чёрная шляпа с лиловым стоит два месяца работы каменобойцев, а за стик-хлыст, модный английский, заплачено столько, сколько получит в неделю подземной работы тот малый, который идёт, довольный тем, что нанялся в шахты...»

Диев встал, походил по комнате, снова лёг. И его собственный заработок не позволил бы приобрести для Шурочки такую

шляпку... Купить-то, может, и купил бы, да только ни на еду, ни на что другое денег бы не осталось... Значит, статейку-то запретили за правду, вот оно что. Он положил брошюру под подушку и задремал.

Разбудили его сильные удары по ногам и крик. Разъярённая Шурочка, сбросив с него одеяло, не сидела, а стояла рядом в кровати. Белая сорочка, задравшись, открыла полное её бедро, казавшееся не частью женского тела, а движущейся рукоятью работающего молота. Избивая мужа, Шурочка кричала:

— Старый болван! Что я нашла у тебя под подушкой! Ты решил нас в тюрьму посадить? Детей сиротами оставить?

Шурочка собирала и бросала в мужа все бранные слова, какие знала. Диев, отбиваясь от молотящей его жены, дрожащим голосом проговорил тихо:

— Таковую же брошюру ты сама прятала у нас в доме. Из-за неё-то всё и случилось.

Шурочка устало упала на кровать, выдохнула:

— Сейчас же пойдёшь и сожжёшь!

Глава девятая ПАСПОРТА

Июль 1905 года. Ново-Николаевск

— Почем пирожки?

Она сразу узнала Лебедева, несмотря на изменение его облика: теперь его лицо завершала короткая интеллигентская бородка, ностальгически откликнувшаяся в душе торгующей острым воспоминанием о той томской среде, из которой она выпала потерянными с пальца обручальным кольцом.

Громко назвав цену, шепнула:

— Похоже, среди моих провокатора нет.

— Устройте-ка сегодня семейный праздник.

Купив все пирожки, Лебедев направился к палатке с квасом. Шёл он быстро, но что-то неровное было в его походке,

точно, пройдя два-три шага по мостовой, наступает он то одной, то другой ногой в углубление из-под выщербленного булыжника. Ей вспомнились слова Кота о Лебедеве: «Фанатик. Таких белый свет долго не держит».

Вместе с пирожками ушло из корзинки тепло, и почему-то и торговке, несмотря на летний день, стало холодно. Слова про «семейный праздник» не напугали её — она от природы была совсем не из пугливых — однако насторожили. Значит, несколько человек из группы соберутся у её постояльцев. Подумала: «Может, не верит, что нет предателя среди жильцов, и решил прислать проверяющего? Да разве прошла бы так успешно операция с оружием из склада полиции, коли затаился бы в доме доносчик? Давно бы нагрянули с обыском». Было дело, сначала она Льва подозревала — с чего это открутился он так ловко от нападения на склад, сославшись на мифического связного из Томска? Да и характер у Льва не открытый, извилистый, с прячущимися за тенью узкими переходами от одного чувства к другому: не угадаешь сразу, чего он него ждать. Вскоре подозрения сами отпали, ведь никого из жильцов не тронули, и она отмела дурные мысли о Льве, как со двора палую листву. Даже то, что Лев отказался от револьвера, сославшись на ненужность оружия оратору, восприняла как решение правильное.

— Если на митинге в депо меня арестуют, — объяснил Лев, — помусолят в полиции, но отпустят быстро, а вот с револьвером в кармане можно и по этапу пойти. Томский комитет оружия вообще не имеет, похоже, у социал-демократов и эсеров там никакой дружины нет.

Когда Кот представил Льву, а потом и Гранитову с Тигроном хозяйку дома как свою сестру, её опасаться перестали — опасные разговоры подпольщики теперь вели открыто.

Револьверы «смит-вессон», которые из-за тяжести тут же прозвали «Смит весит», взяли себе Тигроян и Гранитов, оставшиеся десять передали дружинникам других «десяток». Берданки и винтовки так пока и лежали под тряпьем и досками на чердаке.

Поздно вечером на Переселенческую пришёл сам Лебедев. Хозяйка уже знала, он состоит в руководстве Обской группы. Да пришёл не один — с темнокозой круглолицей девушкой. Оказалось, только что женился на сестре швеи, тоже «сорт-ровщице». «Выходит, по любви взял, — подумала хозяйка, — а ведь дворянин...» И опять зазвучала струна памяти: так ли она сама жила в Томске? Могла ли предположить, что придётся торговать на улице?

Закипел самовар, на столе появились купленные Лебедевым пирожки, бутерброды с колбасой, домашнее варенье, а ещё привезённое Котом облитое белым сахарным кремом печенье — любимое лакомство маленького Серёжи.

Привёз Кот и антивоенные листовки Томского комитета РСДРП:

«Назад, солдаты! Назад, братья! Не надо войны, её придумал царь. Пока царь над нами, до тех пор и горе с нами. Долой царскую власть, долой монархию!».

— Позорная война на руку нам, революционерам, — заговорил Лебедев, отодвигая стакан с недопитым чаем, — в «Искре» об этом писали со всей убеждённостью. Начальник департамента полиции Плеве считал, что маленькая победоносная война положит конец революционным настроениям в стране, но просчитался. Ни маленькой, ни победоносной не вышло. Японцы оказались хитрее. И протесты по всей России только усилились. В июле прошлого года Плеве убит эсером.

— За что конкретно? — спросил Тигроян.

— Монархист! К тому же, по слухам, не осудил Кишинёвский погром — мы должны постоянно помнить об этом чёрном событии и не допустить повторений в Сибири.

— В Сибири, как в Америке, — сказал Тигроян, тряхнув шапкой кудрявых волос, — там все американцы, здесь — сибиряки. К примеру, я — по матери наполовину русский, наполовину бурят, а по отцу — еврей, он был сослан с Волыни.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Запомните: вопросы о национальности противоречат объединяющей революционной идее. — Лебедев недовольно нахмурился.

— Политический? — поинтересовался у Тигрояна Лев.

— Шёл по уголовному. Потрошили одного купца, да полиция нащупала след. — Тигроян не смутился, открыв нелепое пятно биографии отца: а чего смущаться? Разве они не тем же занимались, грабя склад полиции?

— Что купцы, что буржуи — враги народа, — сказал угрюмо сидящий в стороне от стола Гранитов, отказавшийся от чая, — однако искоренять зло следует революционными проверенными методами.

— А я сын политического, — сказал Лев, — причём русского священника. Чёрт его дёрнул зачитать вместо проповеди прокламацию. Это я, идиот, листовку ему передал. Мать чуть с ума не сошла от его ареста... Мне светила по наследству духовная карьера, но я уклонился и поступил в Политехнический. А в Томске меня втянули в партию, особых усилий не потребовалось — захотелось мне самому чего-то возвышенного, какой-то захватывающей мозг и сердце высокой цели. А я втянул Гаева.

— Он теперь член комитета, — подал реплику Кот.

— Отец жив? — спросил Лебедев. — Если жив, может быть нам полезен.

— Он в Иркутской губернии. Без права служения. — Лев бросил быстрый взгляд на вошедшую в комнату хозяйку. И мгновенная нить искр пробежала от него к ней.

— Томские социал-демократы выдвигают идею проведения всеобщей октябрьской политической стачки по всей линии Транссибирской магистрали, — снова заговорил Лебедев, — руководители местного комитета открыто призывают к вооружённой демонстрации и забастовке. На собрании они приняли резолюцию, в которой ставят цель — уничтожение царского самодержавия посредством восстания народа и последующего со-

зывает Учредительного собрания. Предлагаю Обской группе поддержать призыв томских товарищей к всеобщей политической стачке по линии Сибирской железной дороги.

— Поддержим, — сказал Гранитов.

— Особо важная тема — солдаты. Необходимо солдатам новониколаевского гарнизона рекомендовать в день стачки тоже выходить на улицу. Нужно приготовить красные флаги и крупно написанные лозунги: «Долой войну!», «Долой царскую монархию!», «Да здравствует всеобщая стачка по линии Сибирской дороги!», «Да здравствует революция по всей России!».

— Флаги есть, один с надписью «Долой самодержавие», а другой как раз с призывом «Прекратим войну!». Первомайская демонстрация получилась сильной. Многие рабочие из депо выступили вместе с нами. — Гранитов помял двумя пальцами с квадратными черными ногтям белую папиросу, чиркнул спичкой, закурил.

— Обошлось без жертв? — спросил Лебедев. — Подробности не знаю, поскольку отсутствовал в майские дни, был в Красноярске.

— Наряд казаков, как всегда, разгонял толпу, но ни погибших, ни раненых не было. — Лев тоже закурил. — Думаю, без жертв, благодаря тому, что запретил штаб Шамшиных брать с собой оружие. Человек пятнадцать арестовали, а к утру всех выпустили... На мой взгляд, не менее важным было недавнее открытое общее собрание рабочих в железнодорожном клубе. Михаил Кот выступил с зажигательной речью, разъяснил слушателям, в чем смысл демонстраций и стачек. Убедил народ. Ему долго аплодировали.

— Товарищ Лев прав. Мне рассказывали, что вы очень хорошо говорите, — включилась в разговор жена Лебедева, с улыбкой глядя на молодого черноволосого подпольщика, — у Шамшиных хвалили вас.

— Итогом вечера стало большее доверие к нам, — улыбнувшись польщённо, сказал Кот, опустошая фарфоровую розетку

МАРИЯ БУШУЄВА

с вареньем. И тут же поймал строгий взгляд Лебедева, положившего руку на плечо жены.

— Доверие доверием, а приглядываться ко всем новым членам группы нужно особо внимательно: чем сильнее мы воздействуем на пролетариат, тем больше не нравимся охране, а значит, нужно ожидать внедрения провокаторов.

— Товарищ Гранитов говорит верно, нам особо доверчивыми быть опасно. — Лебедев встал из-за стола и прошёлся по комнате.

— Варенье какое вкусное, — улыбнувшись, сказал Лев, — ещё бы самоварчик! Да хозяйку будить жалко. Она устала, бедная...

— Я к вам пришел не чаи гонять. — Лебедев исподлобья оглядел всех. — Вы знаете, что я крайне против грабежей. Мы не бандиты. Народ должен понимать, что дело революции, наше дело — светлое и чистое, и не смешивать идею свержения царизма с каким-нибудь нападением на банк.

— Если откровенно, мне тоже экспроприации претят, — признался Лев, — хотя чистенькими нам не остаться, видит Бог.

— А где средства брать? Или револьверы? — спросил Гранитов.

— Нужно искать поддержку среди капиталистов, — сказал Тигроян

— Кто же будет рубить сук, на котором сидит? — Кот засмеялся и взял один ломтик сахарного печенья.

— Есть и такие, — сказал Лебедев.

— Самоубийцы, — покачал головой Лев.

— Поповский сын никак им сочувствует? — Интонация, с какой Гранитов задал вопрос, не оставляла сомнений: Гранитов духовенство ненавидит. Впрочем, и Лебедев, наверное, способен вызвать у него неприязнь своим интеллигентским обликом и грамотной речью.

— Продолжим о главном. — Лебедев поднял руку, и все замолчали. — Так вот, о чем я. Дружинники другой «десятки» совершили тоже набег на полицию. Их не деньги и не оружие ин-

тересовали, а паспортные бланки. Из полицейского управления удалось похитить большое количество чистых бланков, никто там не хватился, поскольку царит неразбериха, стопок сотни... Ваша задача — организовать подпольный «паспортный отдел» и с помощью поддельных паспортов освобождать солдат от военной службы. За освобождение любой здравомыслящий рядовой охотно отдаст своё оружие. Через станцию Обь идут постоянно военные эшелоны, часто они вынуждены из-за перегрузки железной дороги стоять здесь двое-трое суток. В это время вы должны развернуть паспортное дело.

— Хорошо бы еще пресечь незаконную продажу солдатам спиртных напитков, — сказал Лев, — грех спаивать народ.

— Подвыпивший легче согласится взять поддельный паспорт. — Гранитов бросил в пепельницу окурочек. — В деревнях бабы, чтобы от мужика помощи добиться, всегда его подпайвают. Народ ведь далеко не прост, спасающие его народники ничего в нём не понимали. Когда придёт он к власти, барскую культуру вырежет под самый корешок вместе со всеми спасителями. И правильно сделает!

— Не прост-то, не прост. — Лебедев сморщил крупный нос, и лицо его приняло брезгливое выражение. — Да болтлив. Пьяный — конспирации враг.

Глава десятая 30Я

Май 1904 года. Томск

Вдова Еремеева билась в истерике. Возле неё сидел молодой врач Борис Евсеевич Залманов, голубоглазый полноватый шатен в очках. Будучи студентом, состоял он фельдшером при покойном докторе Еремееве.

Залманов молча смотрел на мечущуюся по комнате вдову, про себя рассуждая, что ливень женских чувств умнее переждать.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Она вступила в их поганую партию! — кричала Еремеева, обливаясь слезами. — И в первый же день попалась полиции! Это же катастрофа! Позор! Гибель всех моих надежд! Мы были приглашены на именины к брату супруги поручика Бахерева, а Зое вручили на завтра... как это... повестку... на допрос! И мерзкая бумага подписана как раз поручиком Бахеревым! Мне остаётся только умереть от позора!

«Пожалуй, вдова в самом деле скончалась бы прямо сейчас, — с иронией подумал Залманов, — признайся я ей, что состою в томской организации РСДРП и к тому же являюсь кандидатом в члены руководящего комитета».

— Вы должны мне помочь ради памяти моего супруга! Нужно вырвать Зою из клещей этой гнусной организации! Партия называет себя пролетарской, моей девочке там не место!

«Пожалуй, ливень стихает», — мысленно отметил Залманов. Он поправил круглые очки, постоянно съезжавшие с переносицы, и сказал:

— Многоуважаемая Аполлинария Андреевна, я сделаю всё, что смогу, для вашей Зои. Мне нужно поговорить с ней лично, желательно, чтобы вы отсутствовали, иначе девушка не раскроется передо мной и не поверит моим увещаниям. Хорошо бы устроить нашу встречу завтра вечером, после её допроса в полиции. Зоя будет, конечно, растеряна, возможно, испугана, и легче будет внушить ей верное направление мыслей

— Понимаю, Борис Евсеевич. — Вдова упала в кресло, отчего сиденье жалобно пискнуло, словно в его цветочках таиласьмышь. — Я всё сделаю, как вы просите. Приходите завтра, часам к восьми вечера. Я навещу родственницу, а горничную Дусю, она у нас пятый год, чудесная и покладистая девушка, наполовину казашка, заранее отпущу, пусть отдохнёт.

— Вы уверены, что Зоя останется дома?

— Уверена. У её кавалера то ли перелом, то ли вывих ноги. Зоя сама мне об этом сказала. Третий день она об этом парши-

вом Мишке Гаврилове тоскует, я всё замечаю, что с моей девочкой происходит. Он-то её и заразил вирусом революции.

— А не отправится ли Зоя его навещать как раз после допроса?

— Он живёт где-то у своей тётки, родственницы покойного протоиерея Антония Диева. Его сын, отец Никодим, мой духовник. — Еремеева снова заплакала. — Мишка только записочки шлёт Зое, но не зовёт. Возможно, таится от родни, что член вредоносной партии и девушку туда вовлёт. Такие приличные люди, а он...

— Я слышал краем уха, что Никодим Диев состоит в недавно возникшем Русском кружке, — осторожно заметил Залманов, снова поправляя сползшие с переносицы очки.

— Вы его, наверное, спутали с иереем Никифором, настоятелем Свято-Троицкой церкви.

— Может быть. — Залманов поднялся, посчитав, что пора завершать благотворительный визит — дань памяти доктору Еремееву. — Мне пора.

— Значит, завтра вечером вы придёте?

— Конечно.

— Я надеюсь, Борис Евсеич, только на вас!

— Что ж ваш духовник не повлиял на этого... на Михаила Гаврилова? — спросил Залманов и торопливо покинул гостиную.

Он потрепал по щеке сочную горничную Дусю, открывавшую ему входную дверь и сверкнувшую игриво белыми зубками. Дуся помнила отдающие болотной тиной поцелуи старого доктора Еремеева и считала добрую барыню глупой, прощавшей измены мужу, думающей только о дочери. Получая жалованье, Дуся, сладко улыбаясь, произносила пару дежурных благодарных слов, а мысленно желала: «Сдохни!» — мечтая, что после смерти барыни сможет тихохонько кое-что из оставшегося от неё прихватить, шальная Зойка и не заметит. «Уж больно мне их шубки нравятся, — признавалась себе горничная, — помрёт Аполлинария, надо будет успеть забрать». Схо-

МАРИЯ БУШУЕВА

дила Дуся как-то к цыганке и оговорила Еремееву: жадная да злая. Цыганка пообещала «сделать ей на смерть». Дуся заплатила серебряной ложечкой: собирая кухонный мусор, — ей пришлось теперь и кухарить, поскольку вдова стала ограниченной в средствах и оставила из прислуги одну Дусю, — сбрасывала в мусор очередную серебряную ложечку, вроде как по рассеянности, а потом незаметно вынимала и припрятывала. Еремеева ничего не замечала. Помогая застегнуть пуговицы на спине нового платья Зое, Дуся нахваливала её красоту, хотя, обсуждая хозяйскую дочку со знакомой прислугой из других домов, иначе чем худой оглоблей Зою не звала. Голубоглазый доктор Дусе понравился. У этого поцелуи, наверно, не тинной пахнут, а дорогим вином.

— Дуся! — крикнула Еремеева. — Если принесут Зое записку, не отдавай ей, отдай мне прямо в руки!

— Не в ноги же отдавать, — хмыкнула горничная. — И тут же ответила: — Как прикажете!

Однако записок больше не приносили. Разомлевший от покоя Мишка валялся на диване у тётки Лебёдки, радуясь невольному отдыху от работы и вкусной еде. Суетливая Олимпиада пекла, варила, жарила — только, чтобы её дорогой Мишута был доволен. Отдыхал он и от затянувшегося романа с Зоей. Её партийный пафос, сразу откликнувшийся первым арестом, отдавал театральной ролью. Он и сам был нечужд актёрства, пересмотрел все спектакли театра Королёва, но отражение собственной способности к мимикрии в девушке ему не нравилось, к тому же у неё получалось всё как-то неестественно, слишком демонстративно, без той внутренней затаённости, какая и выказывает в актёре настоящий талант. Нет, идти в артисты Мишка не хотел, слышал, как заезжий режиссёр орал на свою труппу. К тому же ему нравился телеграф: интересно, современно, живо — как работника Мишку уже ценили. Ему удалось открутиться от отправки в Новониколаевск: сослался на семейные проблемы. Правда, Гаев выговорил ему, что у боль-

шевика семья на последнем месте, а на первом — революционная борьба. Но устным выговором и ограничился.

— Поедешь всё равно, позже, — сказал спокойно, — вынесу на комитет решение, что отправляем в город на Оби вместо тебя другого. Думаю, ни Броннер, ни Преловский, ни другие комитетчики против не будут. Всё ж таки сами предложили и утвердили мою кандидатуру.

— Вы бы провели с Зоей Еремеевой беседу, — попросил Мишка, — поучили конспирации. В группу-то вы её взяли, а с партийной дисциплиной не ознакомили.

— Принял к сведению. — Гаев кивнул.

Вечером Зоя, наслаждаясь тишиной опустевшего дома, лежала на постели, листая роман Евгении Тур — любимой писательницы матери. Допрос в участке восприняла она как приключение: ей даже понравилось внимание, с каким её расспрашивал усатый поручик Бахеров. Иногда, оторвавшись от очередной страницы, она вставала, шла к трюмо и вглядывалась в своё отражение. Можно ли её назвать красивой? Грудь маловата, ключицы острые, правда, шея длинная ровная... Голова небольшая, нос с легкой горбинкой, совсем незаметной... Подбородок тоже небольшой, изящно очерченный... Пухлые губы, их бы сделать чуть поменьше и поуже...

На дверной звонок она сначала выходить не хотела. Если бы Мишка! Вот бы сладко провели время в пустой квартире! Наверное, Дуська вернулась. И чего фефёле не отдыхается?

Всё-таки пересилила нежелание — открыла. Вошел, не ожидая приглашения, доктор Борис Евсеевич Залманов. Зоя знала его: папин ученик.

— Чаю не предложите? — спросил, снимая пальто. — Май у нас, в Сибири, порой внезапным снежком порадует. Замёрз немного. Ваша матушка дома? Она изволила просить её проконсультировать.

— Вы зря сняли пальто, маман отсутствует, а я на здоровье не жалуюсь. — Отражательная по натуре Зоя и сейчас всего

МАРИЯ БУШУЕВА

лишь отражала своим невежливым обращением бесцеремонность гостя.

— Мне придётся её подождать. — Он прошел в гостиную и уселся к столу. — Всё ж таки не откажите приказать подать чашку горячего чая.

— Горничная тоже отсутствует.

— Тогда я сам пройду в кухню и поставлю самовар. Может, и вы со мной попьёте чайку? Я обязан дождаться вашу маман.

— Дождитесь! — Зоя, не глядя на гостя, вышла из гостиной и, улёгшись на кровать в своей комнате, снова вернулась к чтению Евгении Тур, ловя гудение закипевшего в кухне самовара, после глухой звук отодвигаемого стула, затем — звякнувшей ложки о фарфоровый край чашки. Какой наглец он, однако! Впрочем, возможно, он дал слово матери, потому и в самом деле считает себя обязанным сидеть и ждать.

Залманов вошел в её комнату неожиданно, присел на кровать, провёл горячей ладонью по узкой щиколотке, выглянувшей мордочкой горноста из-под шелкового зелёного подола домашнего платья.

— Я буду кричать! — сказала Зоя гневно, глядя в круглые очки Залманова. В романе, который она читала, была сходная сцена, и героиня произнесла те же самые слова: «Я буду кричать».

— Помилуйте мои уши. — Он засмеялся. — Социал-демократки кричать не должны.

— Что вам нужно? Вы теперь шпик?

— Я теперь твой любовник, детка. — Залманов всем телом навалился на неё, обхватил руками и впился в губы долгим острым поцелуем. Она задыхалась, у него упали на пол сначала очки, потом кожаные осенние туфли, он с силой прижал её худое тело к постели, она ослабла — и не смогла сопротивляться. Когда он получил то, чего желал, прошептала: «Уйдите»...

— Уйду, — сказал он, застегиваясь, — но запомни, детка, если мы тебя увидим с твоим Мишкой, ни тебе, ни ему не жить. А матери скажешь, что я провёл с тобой беседу.

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Через три с половиной месяца забеременевшая Зоя вышла замуж за Бориса Евсеевича Залманова. Правда, ходили слухи, вызывая тревогу у вдовы Еремеевой, что у доктора имеются жена и дети где-то под Гомелем, родом-то он оттуда, женился в семнадцать лет, а потом приехал счастья искать в Сибирь, но в Томске его и Зою обвенчали по православному обряду, и это вдову Еремееву успокоило. Она не знала, что у зятя уже есть партийный псевдоним Евсеев.

О РСДРП и он, и дочь теперь молчали.

Глава одиннадцатая ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ

Секретно

*Начальник Томского Губернского Жандармского Управления
Г. Томск*

В дополнения донесения лит. А за № 4162

На основании Циркуляра от 5 сентября 1890 года за № 2763 при сем имею честь представить в Департамент полиции протокол примет и 10 фотографических карточек на привлечённого при вверенном мне Управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 252 ст. Ул. О Нак. Алексея Александрова Диева.

Верно: поручик Бахерев

В Департамент полиции.

* * *

Брошюру Толстого Диев не сжёт. Так же, как в прошлый раз, петляя проулками, стараясь не глядеть по сторонам, чтобы себя не выдать, донёс опасный груз до Садовой: быстро дочитать статью он решил у Олимпиады Акинфиевны. Уж родную-то тётку кандидата богословия Никодима Диева, тесно общающегося с епископом Макарием, ни в чем не заподозрят, к ней полиция не нагрянет.

МАРИЯ БУШУЕВА

Олимпиада обрадовалась ему, пока она суежилась, на ходу придумывая, чем бы попотчевать гостя, и всё приговаривала: «настрадался наш миленький», Диев провалившись в мягкий диван гостиной, уткнулся в брошюру. Он был голоден и, читая, с автоматическим удовольствием втягивал в себя запах готовящегося пирога с рыбой. И опять читаемое казалось ему правдой:

«Все эти рабочие работают тяжелую, не свою работу потому, что богатые люди захватили землю, собирают подати и владеют заводами».

«А ведь как верно, — соглашался Диев. — Мне в детстве, помню, жалко было оборванных, замученных мужиков, приходили они к отцу, то в саду покопают, то что-то починят — и всё за копейки. Земли у нас самих, правда, было немного... Конечно, некоторые из крестьян выбились в собственники, разбогатели и стали эксплуататорами, да еще какими, без капли жалости к своим беднякам-родственникам. Но ведь своим трудом всего добились не как неработающая дама на иноходце, дороговизной своей шляпки и английского стика-хлыста вызвавшая возмущение Толстого».

«А между тем ни владение землёю, ни соби́рание податей и пользование ими, ни обладание произведениями и орудиями труда людьми неработающими не имеет никакого оправдания. Владение землёю не работающими на ней не имеет оправдания потому, что земля, как вода, воздух, солнечные лучи, — составляет необходимое условие жизни каждого человека и потому не может быть исключительной собственностью одного».

«Так вот почему статью запретили, — догадался Диев, — посчитали, что граф призывает к национализации всей земли. А ведь умнее было бы не запрещать, а подвергнуть в газетах всенародному обсуждению, собрав мнения как людей из правительства, так и представителей всех сословий. Заодно и полиции. — Он зябко поёжился. — Работы бы поубавилось: на-строения в обществе прозвучали бы открыто. Выходит, слаба

власть, коли боится свободного слова. И Мишка прав — царизм обречён».

И опять Диев поразился: стоило вспомнить брата жены, как возник он на пороге квартиры Олимпиады Акинфиевны, своей тётки Лебёдки. Поспел пострел прямо к пирогу.

— Дочитал я Толстого. — Диев отдал брошюру Мишке. — Благодарствую за просвещение моего смутного разума. Как говорится, да скроется тьма.

— И что? Теперь свеча горит?

— Похоже, да. — Диев по-воробыному вспорхнул с дивана, увидев, что стол накрыт. — Граф всё верно изложил.

— Позвал бы вас в нашу партию, но вы неблагонадёжный, — засмеялся Мишка и первым ухватил кусок сочного пирога, — если второй раз попадётесь, и Шурочке достанется. Придут в дом с обыском.

Вспомнив о молоте Шурочкиного бедра, Диев сгорбился, ощутив себя огарком свечи.

— Честно говоря, то, что ограничились только изъятием вещественных доказательств у вас лично, это удивительно. Обычно с обыском являются и весь дом переворачивают. Явно кто-то заступился за вас.

— Так это ж Никодим за Алексашу просил. — Олимпиада Акинфиевна тоже села к столу, сразу придав ему уютную семейственность. — Он с чиновником Силиным близко знает, а тот с головой нашим Макушиным, вот и решили ограничиться личностью обвиняемого. Кушайте, мои дорогие! Что миновало, за то и слава богу.

По дороге домой Диев опять вспомнил безобразную вчерашнюю сцену. Ноги его до сих пор болели. Хорошо, не в ступнях, иначе бы и ходить не смог. Он не испытывал к Шурочке неприязни — ненависти и злые чувства почему-то не были свойственны ему вовсе. Не было и острой обиды: грубая реакция жены — следствие материнского страха за детей, Диев это понимал. И даже винил себя: в самом деле, нельзя было прино-

МАРИЯ БУШУЕВА

сидеть в дом запрещённую брошюру. Он любил своего сероглазого мальчика, тонким личиком напоминавшего ему младшего брата, любил и дочек: средняя, Стеша, названная в честь Стефаниды Акинфиевны, копия Шурочки: бойкая, черноволосая, озорная, за неё душа его спокойна. А вот младшая, Ирочка, слабенькая, пугливая, не в пору Гавриловых, в ней чудилось ему что-то общее с его собственной покойной матушкой, такой боязливой, что даже общество офицерских жен её тяготило, всё ей мерещились насмешки над их невысоким положением в обществе. Нет, обиды на Шурочку не было. Только душа его после её побоев словно потускнела. Потускнел и мир вокруг. Диев задержался на своём любимом Аптекарском мостике и отметил с тревогой: милых, недавно прилетевших в город уток, он сейчас видит в сером тумане. Огляделся, поднял голову: день ясный, никакого тумана нет, значит, отпечатались на пейзаже оттиски тусклого стекла его собственной души. Подумал с каким-то блёклым равнодушием: «Не прыгнуть ли в воду — и навсегда уйти от этого тусклого дня, от раздражённой Шурочки, от несправедливого мира, где жестокая дамочка может ни за что отстегать дорогим английским стик-хлыстом хорошего русского мужика, виновного лишь в том, что родился в нищей избе, а не во дворце, построенном на деньги, по сути, отнятые у вереницы его предков».

Диева, скорбно застывшего на Аптекарском мостике, увидел проезжавший мимо его двоюродный брат, Никодим, поспособствовавший, как выяснилось, смягчению дознания. Расплатившись с извозчиком, он вышел из экипажа и, взойдя на мостик, осторожно тронул Диева за руку.

— За сводками с фронта следишь? — спросил, надеясь сильной дурной вестью отвлечь Диева от его печальных размышлений. — Ещё в феврале уничтожено несколько лучших кораблей нашего Тихоокеанского флота. И Япония продолжает атаковать.

— Лучших кораблей? — переспросил Диев тихо.

— Англия начала поставлять Японии современное оружие, Россия была к этому не готова. Епископ Макарий предупреждал, разумеется, в частной беседе, что России нужно решить споры с Японией дипломатическим путём. В конце концов, можно было спорные территории просто выкупить. Россия бы не обеднела. Война всегда обходится много дороже.

— Богатство любой страны — её люди...

— Именно. А первых раненых уже доставляют в Сибирь. Надюша теперь сестра милосердия, дни и ночи в госпитале.

— Надя? — удивился Диев, ощутив, что тусклая дымка, окружавшая его, начинает рассеиваться. — Так неожиданно.

— Я, признаться, тоже был сначала удивлён, но чуть позже понял: она искала жертвенности, томила от бессмысленности обывательского покоя. Теперь Надя чувствует себя нужной, и это, несмотря на всё, прекрасно. Женская добрая сила способна лечить без лекарств.

— А я, наоборот, ощущаю себя ненужным, — признался Диев, тут же пожалев, что приоткрыл душу.

— Это у тебя, Алексей, скорее всего, от пережитого, — сочувственно сказал Никодим, — общение с полицией приятных дум не навевает.

— Олимпиада Акинфиевна мне сообщила, что ты помог мне... Спасибо.

— Помог чиновник Силин. Я во время учебы в академии посещал иногда лекции профессоров Казанского университета, там был, тоже вольнослушателем, его дальний родственник, теперь благочинный в Енисейской епархии. Наш Силин — абсолютный либерал, потому сразу выразил готовность помочь. Это было ему нетрудно: сестра его замужем за жандармским полковником Ромашовым.

— Ромашов перепоручил вести дознание поручику Бахеву.

— Полковник занемог. Силин уверен, заболел шеф жандармов от переживаний из-за плохих вестей с фронта. Все ждали

МАРИЯ БУШУЕВА

молниеносной победы... Мне же думается, сильнее его тревожат прокламации на каждом углу и речи студентов на собрании университета. Открыто ведь призывают к смене строя.

— Это всё Толстой, — сказал Диев, — ему верят. Ты читал статью «Неужели это так надо?».

— Читал. Но распатывает стены не он один. К сожалению, многие. В разных слоях общества накопилось желание мести самодержавию: у большинства — за нищету и бесправие, у других — за черту оседлости и погромы, у кого-то — за то, что русские пришли на землю их предков. И всех можно понять: бесправный русский мальчонка, обречённый на нищету с рождения, став взрослым, винит в своём униженном состоянии любого интеллигента и ненавидит его, еврейский парнишка видел, как избивали его отца и крушили лавку с товарами, потому отравлен страхом и готов с болью мстить за свой народ, остяцкий подросток, помнил, как его мать плакала, найдя сокрушённого деревянного идола, и теперь он считает любого казака — врагом. Несколько умелых газетных статей — и может возгореться страшное пламя ненависти, сжигая всё на своём пути, уничтожая нашу уникальную русскую культуру, мировую ценность которой способны, к сожалению, видеть только самые умные и образованные люди. Вот пример: многие сибирские ненцы до сих пор пользуются первобытным письмом — картинки рисуют вместо слов, оставляют знаки на деревьях и по ним узнают новости, а священников, обучающих грамоте, убивают...

— Обиженный не всегда зол.

— Не всегда. Опасно другое: тёмные чувства: обиду, страх, ненависть, зависть, — испокон веков используют разжигатели смуты, поднимая со дна общества всякий сброд. А гибнут лучшие люди. Важно очистить общество от налипшей нечаевщины. Жалею я, Алексей, по-христиански всех, но время сейчас для России тревожное, потому вступил я в «Русский кружок». Задача наша — сохранить монархию, укрепить православие через свободную церковь, вернуть сердечное понятие «народность». Я убеждён, что созда-

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

ние областных земских соборов и Государственной Думы — спасение России от власти бюрократической олигархии и от народной бедности. В Думу должны входить получившие свободу слова народные представители, честно и открыто избранные.

— Выходит, Толстой правду написал?

— Толстому-то что? Гений играет! Клеймит владельцев земли, а сам ею же и владеет.

— А я ведь раньше его статью не читал. При дознании мне, конечно, не поверили, но допытываться не стали.

— Твоё дознание должны вот-вот прекратить.

И, действительно, дело Диева вскоре было поручиком Бахревым завершено, о чем он уведомил Департамент полиции, в свою очередь через два месяца уведомивший начальника Томского Губернского Жандармского Управления о прекращении производства.

* * *

*Департамент полиции г. Томска
Августа 5 1904 г.*

По состоявшемуся соглашению Министерств Внутренних Дел и Юстиции, произведённое в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. при Томском Губернском Жандармском Управлении дознание по обвинению отставного Титулярного Советника Алексея Александрова Диева в хранении изданий противоправительственного содержания дальнейшим производством прекращено.

О изложенном Департамент полиции сообщает Вашему Высочоблагородию для сведения, присовокупляя, что распоряжение об отмене принятой в отношении названного лица по дознанию меры пресечения последует со стороны Прокурора Омской Судебной Палаты.

№ 2155

Г. Начальнику Томского губернского Жандармского Управления.

МАРИЯ БУШУЕВА

Глава двенадцатая ДВА ЧЕЛОВЕКА

Август 1904 года. Ново-Николаевск

В Новониколаевск Мишку отправили на выходной — поручили отвезти литературу и прокламации, напечатанные в томской типографии. После травмы ноги он чуть прихрамывал — и это ему даже нравилось: он представлял себя Оводом. Роман Войнич с восторгом читали юные подпольщики, жаждущие подвига и не боящиеся гибели «за идею». Мишка погибать не хотел. И честно себе в этом признавался. Ночь в жёстком вагоне не сказалась на его активной натуре: передав брошюры и листовки фельдшеру станции Обь, Мишка решил пошататься по городу. В Новониколаевске он был впервые, а всё новое представлялось ему интересным. Он прошёлся по невзрачным улицам, с любопытством заглянул в пару лавок, отметив, что в них много деревенских продуктов: неоципанных кур, грязноватого картофеля, поджаристого хлеба, — затем оглядел центральную площадь, прогулялся по Николаевскому проспекту, единственным украшением которого был собор Александра Невского, недалеко от него заметил вывеску магазина Кетова и, зайдя, присмотрелся к товарам и там. На Вокзальной улице обнаружил винный погребок, чуть поодаль — клуб железнодорожников. Похоже, городок вырос как приложение к дороге... Непонятное чувство то ли узнавания, то ли предвидения возникло лёгким облачком и заставило Мишку остановиться на Переселенческой, ничем не выделяющейся из других серых улиц. Что здесь? Ничего. По сравнению с Томском, с его прекрасным Троицким собором, выверенными зданиями мужской гимназии и губернского казначейства, с его библиотеками и университетом, галантерейными магазинами и деревянным кружевом домов, этот прильнувший к вокзалу полугород-полупосёлок, при беглом знакомстве казался архитектурно убогим. Но, стоя на зелёной лужайке посреди скучной улицы, Мишка вдруг ощутил какое-то незримое движение про-

странства, — такого движения не было в застывшей привлекательности Томска. Здесь точно пробуждался невидимый мощный поток, которому суждено родить из своих волн город-гигант. Мишке почудились людские толпы, высокие дома, огромные заводские трубы. Томск родился, вырос, возмужал и, достигнув достойной зрелости, уже не таил в себе будущего, исподволь пробуждающегося в этом гадком утёнке Новониколаевске.

Вечером Мишка встретился с Лебедевым. Квартировал тот недалеко от станции, в доме зажиточного извозчика, разумеется, не знавшего о подпольной роли жильца, ставшего одним из руководителей недавно оформившейся, принявшей свой устав Обской группы социал-демократов. Кроме Лебедева за столом сидел интеллигентного вида молодой мужчина, назвавшийся учителем начальной гимназии Поповым. Он убеждал Лебедева в том, что линия партии слишком радикальная, нужна Государственная Дума, состоящая из народных избранников, тогда и свержение власти не потребуется, сохранившиеся монархии в Европе никто не расшатывает именно потому, что мнение народа там не пустой звук. Учитель говорил торопливо, нервно, глотая окончания слов.

— Поешьте, Михаил, вы же с дороги, — не реагируя на горячий монолог Попова, пригласил Лебедев, — чем богаты, как говорится, тем и рады. Колбаса свежая, сельская, привёз наш товарищ, масло и хлеб, правда, из лавки, но сегодняшние, утренние, чай китайский очень неплох.

— Вы меня совсем не слушаете! — вспыхнул учитель.

— Слушаю. — Лебедев нахмурился. — Однако категорически не согласен. Вы рассуждаете не как преподаватель, а как безусый гимназист. Пока дом крепок, можно какие-то неполадки в нём: пятно на извёстке или отклеившиеся обои, — легко исправить, можно и ступени лестницы подремонтировать, а вот, если фундамент трещину дал или полностью прогнил, никакой ремонт не поможет. Нужно дом сносить и строить новый. С царизмом именно так.

МАРИЯ БУШУЕВА

— При сносе тоже не все средства допустимы. Надеюсь, вы не поддерживаете призыв томских революционеров проникнуть в Госбанк и совершить кражу денежных средств?! С такой политикой мы рискуем лишиться поддержки большинства представителей разночинного слоя.

— Не поддерживаю! И прямо говорю об этом. А вот, к примеру, Гаев, вы его видели в Томске, считает, что при сносе дома все средства хороши. Чем быстрее, тем лучше. Для него убийство жандарма — всего лишь освобождение места для рождения ещё одного борца с царизмом. Есть ли у жандарма семеро по лавкам, нет ли — Гаева не волнует. Он, по примеру эсеров, приветствует террор. Без лишних раздумий.

— А такая добрая улыбка у Гаева, — удивился учитель, — кровожадности никак не соответствует.

— Понимаете, — Мишка утолил голод и охотно вступил в разговор, — в Гаеве два человека: один — открытый, доброжелательный, настрадавшийся в детстве. А второй... как бы это сказать точнее? Второй — не человек, а революционный механизм. Первый гораздо слабее второго. И постепенно механизм его стирает как ненужного.

— Всё верно. Я и в себе такой механизм чувствую, — согласился Лебедев, — только называю его, Михаил, более романтично: зов революции. И этот зов сильнее меня. Иногда мне кажется, что он обтачивает меня, как токарный станок, очищая от всего лишнего.

— И что же вам представляется лишним? — спросил Попов, потирая тонкими пальцами затылок.

Мишка встал и обошёл круглый стол: долго сидеть на одном месте было ему тягостно — юные ноги спешили куда-то бежать, поднимая худощавое тело. Коротковатые ноги Лебедева, наоборот, словно вращались в пол, стремясь прочно укорениться. Рядом с лебедевской монументальностью вспотевший затылок учителя показался Мишке младенчески беспомощным, словно между пространством и его русыми влажными

волосами не было невидимой преграды сознания, защищающей его жизнь.

— Искоренил я, к примеру, тягу не к тем особам женского пола.

— Неужели тянуло вас к продажным женщинам?

— Продажными их делает хищнический строй. Вспомните Соню Мармеладову. Имею в виду я совсем других. Меня как дворянина влекли барышни моего круга, а ныне замечаю только тех, кого ведут по жизни не романы барина Тургенева или стихи в альбом, а программа марксизма.

— Девушка без поэтического ореола превращается или в самку, — сказал Попов, — или в мужика.

— Даже, коли так, теперь мне ближе мужик-партиец, чем вздохи при луне.

Несгибаемая упёртость Лебедева и мягкотелость Попова варились в одном партийном котле. «Что в результате получится? — спросил себя Мишка. — Каменная плита, на которой воздвигнут новое здание, или сыпучий песок, поглощающий всё и вся?»

Он простился и ушёл. Хотелось перед поездом ещё побродить по городу. И на вокзал нужно прийти пораньше: солдатские эшелоны могут перекрыть все пути, спутать движение поездов, тогда придётся думать, как добраться в Томск вовремя, чтобы не опоздать на телеграф. Он бежал по Переселенческой, почему-то казавшейся уже почти своей, решив сначала навести справки — вовремя ли отойдёт поезд в Томск.

— Пока расписание не меняли, — сказал измождённый старик, выглянув из окошка тесного зала ожидания. В помещении стояли и сидели на узлах люди. Были среди них и солдаты. Мишка заметил двух раненых: одного — на костылях, другого — с перевязанной рукой. «Счастливы, наверное, что не в списке убитых», — подумал, выходя из душного зальца на воздух. Уже вот-вот начнёт смеркаться, а он еще не увидел чудо-Оби. Нужно спешить.

Река открылась ему неожиданно: завернул за какое-то бесцветное здание — и остановился. Так вот она! Река Обь. Какая мощь и какая, наверное, глубина. Он стоял и смотрел на тяжёлую свинцовую воду, на сизый отсвет на гребнях невысоких волн, — противоположный берег дымчатой полосой уходил к серому небу, а мелкие облака над водой складывались в какие-то древние письма, в книгу вечности. И впервые Мишка ощутил кратковременность человеческой жизни, и его собственный революционный азарт показался на фоне этого гордого равнодушного течения волн совершенно чуждым и воде, и земле, и небу. Что есть жизнь? Зачем человек? Не затем ли, чтобы вложить в природу часть себя? Разве само небо способно видеть облака, как плывущие письма? Разве не наделяет человек реку или камень живой душой? Об одухотворении мира как-то говорил Никодим Диев.

А если тот же механизм, что обтачивает души Лебедева и Гаева, названный Лебедевым «зовом революции», разрастаясь до гигантских размеров, сточит во всех людях всё человеческое, не станет ли человек не нужным природе? Не уничтожит ли она его? Мишка никогда не думал о жизни с такой серьезностью: может быть, сама эта великая река передаёт через него своё предупреждающее послание?

Торопясь на вокзал, он отвлёкся от размышлений. Осталось лишь чувство чего-то глобального, к чему он прикоснулся мыслями, стоя на берегу и глядя на волны. И крутилась в голове фраза: нет, стать рабом механизма не хочу.

В вагоне — отправку поезда, к счастью, не отложили и не отменили, — он вспомнил с сожалением, что Зоя теперь замужняя дама, её супруга, доктора Залманова, он увидел на собрании и признался себе, что тот подходит Зое больше, чем он сам, бедный телеграфист. А как откровенно и щедро она дарила ему себя! Его порой утомляла её готовность бесконечно целоваться и завершать поцелуи в любом месте, где их застанет порыв чувств. Зое нравилось вызывать недовольство богомоль-

ных старушек: при них она обнимала Мишку с особым вызовом. Нравилось признаваться священнику в своём свободном отношении к половому вопросу. Иногда Зоя напоминала Мишке сестру Шурочку, тоже любящую сотрясать воздух. Свою нереализованную тягу к театральным жестам, Шурочка вымещала на бедном Диеве, в общем-то, хорошем человеке. Мишка, вспомнив о дознании, ощутил некоторое смущение: зачем втянул его? Теперь Алексей Александрович, прочитав статью Толстого, просит «Искру» и готов участвовать в собраниях и стачках. Пожалуй, не стоит ему давать газету... Таким, как Диев, с революцией не по пути: механизмы быстро сомнут его, как взрослую на дороге чахлую траву.

Глава тринадцатая ВЕРА

Осень 1904 года. Томск — Ново-Николаевск — Томск

Мишка еще пару раз съездил в Новониколаевск. Литературу и прокламации, напечатанные в томской типографии, по-прежнему забирал станционный фельдшер, приятный усталый человек, нравящийся Мишке. Лебедев, который временно находился в Томске, как-то обмолвился, что фельдшер — родственник новониколаевского лесопромышленника Когана, иногда оказывавшего финансовую помощь социал-демократам.

— Буржую-то что не живётся спокойно? — удивился Мишка. — Чего ждёт от нас?

— Того же — свержения монархии.

— Надеется, что за помощь его лично не тронут?

— Думаю, он сможет очень быстро разбогатеть на обломках империи и сразу уедет в какую-нибудь Америку.

— А мы?

— А мы, возможно, погибнем. — Лебедев произнес эти слова спокойно. Видимо, чертёж своей жизни он выстроил давно, и гибель как вариант завершения сходящихся линий была обозна-

чена в одном из вариантов чертежа условным знаком. — А после на обломках самовластья напишут наши имена.

Мишка отдал фельдшеру пакет и, выйдя на станцию, вспомнил тот разговор с Лебедевым, снова уловив в душе тихий гул протеста: нет, он не хочет погибать, он выживет, ему интересно увидеть, что вырастет на руинах монархии. О том, что самодержавие становится всё дряхлее, иногда с горечью говорил даже кандидат богословия Никодим Диев. Появление в Петербурге старца Григория Распутина, о котором доползли слухи и до Томска, Диев посчитал неслучайным: многовековая русская тоска о жизни по правде извлекла Распутина из самой глубины народной жизни. А русская тоска или рождает гениальные творения, или вызывает разрушительные тектонические сдвиги.

Через Новониколаевск шли поезда на фронт. И сейчас на станции стоял военный состав: возле курили солдаты, рассыпавшись по перрону неровными гроздьями, кто-то громко смеялся, кто-то говорил, кто-то молчал; смех, разговоры и даже молчание, отделяясь от людей, повисали в воздухе над вокзалом, а после медленно уходили куда-то вдаль и рассеивались. Жизнь каждого второго солдатика уже упиралась в близкий определённый конец: гибель или ранение. Многие были чуть старше Мишки, которому только в феврале следующего, 1905 года, должно было исполниться семнадцать, хотя отвечая фельдшеру на дежурный вопрос о возрасте — ради конспирации приходилось изображать недомогание — он привычно прибавил себе год.

В прошлый приезд Мишка видел санитарный поезд — хорошенькое личико сестры милосердия, стоящей на подножке, напомнило ему Зою. «Нет, если жениться, — подумал тогда, — только на образованной девушке, мне, хулигану-недоучке, следует подобрать себе более культурное дополнение. Скучно, если жена будет, подобно Шурочке, повторять только призывы листовок. Как сказал встреченный у Лебедева учитель Попов? Женщина без ореола поэзии — самка или мужик в юбке. До же-

нитьбы пока далеко, а вот закрутить амурную интрижку всё-таки хотелось бы».

Шурочка замечала, младший брат скучает по изменнице Зое — видела её с ним пару раз и, не испытывая к бывшей гимназистке никакой симпатии, была довольна завершением Мишкиного романа. Пересуды о наличии у доктора Залманова жены где-то под Гомелем, плутовавшие по томским улицам, обрадовали Шурочку как заслуженное наказание вертихвостки: то, что Мишка избавился от неё — хорошо, но и проучить её стоило. Пусть теперь живёт с обманщиком. Познакомить Мишку с племянницей священника Чистякова, Верой, надомил Шурочку муж. Мишка никак не давал ему «Искру», которую тот у него просил втайне от жены. Газету постоянно поставляла в Томск конспиративная сеть, протянувшаяся уже по всей центральной России и, как птичья стая, перелетавшая Уральские горы. Диев рвался на партийные собрания и упорно просил принять его в члены группы РСДРП. «Вот навязался на мою голову, — досадовал Мишка, — ну, не могу я его рекомендовать». Лебедева и Гаева он предупредил: муж сестры рвётся к нам, но совершенно не подходит для революционного дела. И к тому же до сих пор под надзором полиции.

— Понял тебя, — сказал Гаев. Его щедрая белозубая улыбка уже привлекла в партию нескольких девушек. — Хотя сам факт такого воодушевления нельзя не поощрить. Как-нибудь можно позвать его на городскую сходку.

— Правильно, — согласился Лебедев, — пусть ощутит себя нужным.

...Вера не так давно окончила епархиальное училище, — в нём получали образование девочки из духовной среды. Её отец скончался, когда единственной дочери было пять, мать еле-еле сводила концы с концами, — от мужа ни денег, ни собственности не осталось. Отец матери, управляющий железодельного завода в Енисейской губернии, первое время помогал, у него Вера жила до одиннадцати лет. Вдова всё это время искала средства на жизнь, пробовала, да так и не научилась шить

МАРИЯ БУШУЕВА

шляпки, и в конце концов пристроилась в одну из народных библиотек, основанных Макушиным-старшим. Обучали Веру в епархиальном училище за казённый счет, поскольку семья потеряла кормильца. Обе дочери деда вышли замуж за священнослужителей: старшая — за священника-миссионера Силина, младшая, мать Веры, — за томского диакона, служившего при родном брате — священнике Чистякове.

По сравнению с озорной Зоей, склонной к эпатажу и к поцелуям на публике, Вера в глазах Мишки сильно проигрывала. Он моментально угадал застенчивость и неуверенность, определяющие её поведение. Картина Вериного мира начинала дрожать и теряла чёткость от любого резкого слова, от взгляда, брошенного бесцеремонным прохожим. Вера считала себя некрасивой, к тому же мучилась от социальной незащищённости. Быть выпускницей епархиального училища казалось ей почему-то почти что стыдным. Лишённая червоточины зависти, она идеализировала гимназисток, представлявшихся ей принцессами, а себя видела простой томской девушкой. А ведь по натуре — Мишка это чувствовал — была отнюдь не простой, много сложнее той же Зойки. Вера и читала не одни женские романы, она любила Тургенева, тянулась к Достоевскому, прятала в медальоне не свой детский локон, как Зоя, а крохотный портретик поэта Лермонтова. Однажды на прогулке, остановившись на мостике над Ушайкой, Вера рассказала Мишке, как жила у деда в сельской усадьбе. Дед уже взрослым сдал экзамен сначала за гимназию, а затем — на должность инженера.

— Он — самородок, сирота, его обучили грамоте ссыльные. В доме деда я приистрастилась к чтению: у него большая библиотека.

Чуть позже Вера показала фото: грузный молодой человек в хорошем костюме, в полуботинках, сидел в центре группы мужчин. Трое стояли позади, двое сидели с ним рядом.

— Это миллиончики, сидит справа — Гадалов, слева — Шерстобитов, остальных не знаю.

— А я и этих не знаю, — засмеялся Мишка. — Дед твой выглядит на фото, как статский советник, а вот двое, что за ним, похоже, недавно с кистенём на дорогах шуровали.

— Гадалов — самый богатый человек Красноярска. А Шерстобитов — владелец нескольких золотых приисков и завода, где дед служил управляющим. Они все уважали деда за ум. И всё-таки...

— И всё-таки что?

И Вера рассказала ему, как пригласили её, девятилетнюю, на Рождество в дом к Шерстобитову. Ей запомнились тяжелые бархатные шторы просторного зала, высокая ёлка, украшенная множеством игрушек, крохотные свечки на пушистых ветках, огромный чёрный рояль и тихо что-то наигрывающий молодой мужчина. Дед потом назвал его «политическим» — ссыльным дворянином.

— И особенно ярко помню шумных детей и очень толстых женщин, пышно одетых. Они были детьми и жёнами тех мужчин, что на фото с дедом. Мужчина за роялем перестал играть, подсел к столу, где чего только не было. Меня поразили оранжевые апельсины и огромный торт в виде башни с часами. Прислуга внесла в зал подарки. Девочкам толстых дам жена Шерстобитова вручила великолепных кукол. Одна кукла, в розовом шелковом платье и чепчике, когда девочка её наклонила, произнесла: «Мама», другая выглядела как прекрасная невеста — вся в белом кружеве... А мне как дочери не миллионщика, а всего лишь управляющего заводом вручили какую-то тёмно-зелёную коробочку. От огорчения я даже не стала её открывать, положила на стул. Наверное, не прошло и пяти минут, как на этот стул опустилась огромная толстая дама и своей тушей раздавила мою коробочку. Так и не знаю, что мне тогда подарили. И почему-то никак не могу забыть то давнее грустное Рождество.

— Знаешь, — Мишка посчитал эпизод с подарком пустячным, однако уловил его важность для взросления и превращения Веры в неуверенную в себе девушку, — если бы я стал

МАРИЯ БУШУЕВА

собирать в своей памяти обиды, собрал бы целый ворох — не донёс бы.

— Куда?

— Что — куда?

— Куда не донёс бы?

— Никуда. — И они засмеялись, впервые поглядев друг на друга с симпатией.

Теперь вечерами Мишка и Вера гуляли по заснеженному ноябрьскому Томску. Перейти к поцелуям Мишка не решался. Да и не сильно ему этого хотелось: Зойкино тело звенело током пробудившейся женственности, будоража, вовлекая в чувственное кружение, а Верина женственность таилась под снегом бутоном цветка, опасаясь выглянуть и обжечься холодом. Но Зойке, несмотря на её озорство с наклеиванием на столбы прокламаций, — каждый раз она проделывала это с насмешкой над стражами порядка, — он вряд ли мог бы довериться полностью, вряд ли мог ей сказать дружески: «Ты — мой товарищ», а Вере — мог. И однажды спросил тихо:

— Ты ведь мой товарищ, Вера? — Она покраснела — или это игривый морозец отпечатал вместо Мишки два поцелуя на её щеках — и кивнула. — Тогда я тебе кое-что дам почитать. — Мишка достал из кармана последний, дошедший до Томска номер «Искры». — Только своей маме не показывай, а не то испугается. Здесь статья Плеханова. Ты читаешь много, но его вряд ли знаешь. Прочитай. Тоже, как твой дед, очень умный человек. Мне говорили, его наш ученый Потанин уважает.

— Маме газету не покажу, но ты зря опасешься, — улыбнулась Вера, — в их библиотеке все прогрессивные, и директор восхищается Потаниным, хотя идеи областничества не поддерживает, считая, что, отделись Сибирь от России, её разорвут на две части: Америка и Китай. Я часто в библиотеке бываю, книги беру, слушаю лекции. Узнаю много чего полезного... А теперь читаю и Плеханова! Не говорила тебе, что надеюсь поступить на Бестужевские курсы?

Первого декабря Мишка и Вера вместе пришли на открытое собрание в Технологический институт. Зал был полон.

— Не меньше трех сотен, — шепнула Вера, — смотри, и старик Потанин здесь.

Собрание приняло резолюцию: «Уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, прекращение войны, полная свобода и гарантия свободы личности и утверждение демократической республики с законодательной властью в руках народа»

Глава четырнадцатая ЖЕРТВЫ

Январь 1905 года. Томск

Расстрел мирных демонстрантов в Петербурге 9 января потряс всех.

— Какую страшную ошибку совершил Николай, — говорил за обедом в доме сестры чиновник Силин, — жалко погибших людей, но еще жальче народную веру в царя-батюшку, заступника и защитника, ведь в русскую веру стреляли.

— Всё ваша интеллигенция, расшатывали лодку, вот и аукнулось, — пробормотал полковник Ромашов, доставая из серебряного портсигара папиросу «Герцеговина Флор».

— В данном случае вы, Андрей Петрович, совершенно не правы. Да и в принципе тоже. Я считаю интеллигенцию лучшим слоем нашего общества: наиболее культурным и честным, бескорыстным, думающим о народе.

— Тонок слой лучших. Зато худших не счесть. Сейчас ведь вся нечисть поднимется со дна, используя расстрел как предлог. По вине этого попа Гапона, который народ повёл на поклон к царю, начнут клеймить православие, из всех щелей, как тараканы, вылезут революционные подонки, считающие вполне допустимым ограбление отделения Госбанка или оружейного магазина... Мне уже донесли, назавтра назначены

МАРИЯ БУШУЕВА

в зале железнодорожного собрания доклады, уверен, будут призывать к демонстрации памяти жертв или к забастовке. И, конечно, возбуждают служащих Сибирской железной дороги. Опять придётся срывать их ядовитые, как ртуть, листовки. Уже наизусть их выучил, обычно они двух типов: «Назад, солдаты! Назад, братья!» или «Долой самодержавие!». А запретить собрание, — Ромашов покраснел от гнева, — только усилить их протест.

— В этом вопросе вы совершенно правы: любой запрет вызывает желание поступить ему вопреки. Я сам поднял две прокламации. — Силин извлёк из кармана помятые бумажки. — Всё, как вы говорите, Андрей Петрович. Позвольте, зачитаю.

— Уж удовлетворите моё любопытство. — Брови Ромашова побагровели.

— *«Братья-солдаты, дружно выходите на улицу и смело соединяйтесь с рабочими и студентами под красным знаменем социал-демократии!»*, вторая — совсем короткая: *«Да здравствует революция по всей России!»*

— Казнить и ссылатъ безжалостно!

— Андрюша! Это бесчеловечно! — воскликнула до того молчавшая супруга Ромашова.

— А бомбы бросать, Лиза, по-твоему, человечно?! — Полковник вдохнул папиросный дым и закашлялся.

Утром, 19 января, Ромашов позвонил поручику Бахереву и прокричал, пытаясь удержать в руках прыгающую трубку телефона:

— Началось! Эти сволочи православный обряд почтили своим шествием: сегодня девять дней с петербургской трагедии! Шествие двинулось вниз по Почтамтской. Срочно конно-полицейскую стражу к Пассажу Второва! Пришла телеграмма от министра внутренних дел Святополк-Мирского: «Принимайте самые энергичные меры к недопущению беспорядков».

— Оружие?

— Надеюсь, до этого не дойдёт.

— А если провокации?

— Только в ответ. Хотя я бы их всех...

Трубка всё-таки выпрыгнула из ладони полковника. И он, не завершая разговора, упал в кресло. Позвал:

— Лизонька, воды. — Жена поспешно вошла с полным стаканом. — Опять бунт в городе, — прошептал Ромашов. Струйка воды из стакана, сверкнув в зимнем свете окна, выплеснулась на ковёр. — Подай, будь добра, ещё... Я неимоверно устал.

...Мишка опоздал — подбежал уже к строящемуся Пассажу и поразился: какая огромная толпа! Собралась тысяча, наверное! Его задержала тётка Лебёдка рассказом о раненом прапорщике, которого выхаживает Надя.

— Он и говорить-то не мог, а Надюша всё возле него сидела ночи напролёт, руку ему гладила. И вот вчера он ей улыбнулся и еле слышно произнёс «Спасибо, сестричка».

В первом ряду демонстрантов алели три знамени. Один красный флаг гордо держала Зоя. Мишке вспомнилась черно-белая картинка из какого-то журнала: полуголая женщина на французских баррикадах зовёт народ за собой. Зойкин живот выдавался вперёд, выходит, вот-вот родит. Дома ей не сидится, вечно лезет на рожон! Подумал о Вере: «Не видел её два дня... Здесь она? Вряд ли».

За первым рядом колыхалось живое людское пламя, как искры, в морозный воздух взлетали призывы: «Долой самодержавие!», «Остановить войну!», «Да здравствует Учредительное собрание!».

— Разойтись! — кричали полицейские. Казалось, кони под ними воспаляются от людского огня. — Разойтись!

Внезапно раздался выстрел. Тени коней заплясали на снегу. Стреляли из толпы, ещё один выстрел, потом ещё, всадник, оказавшийся напротив Зои, покачнулся, тяжело осел и свесился с лошади плохо закреплённой поклажей.

И тогда полиция открыла ответную стрельбу.

В этот момент Мишка увидел доктора Залманова.

МАРИЯ БУШУЕВА

Залманов пронёсся мимо полицейских, врезался в волнующуюся толпу, прижал к себе Зою, закрыл её собой.

Выстрелы снова прогремели. Толпа начала распадаться, откатываясь дробящимися гаснущими потоками назад и в стороны.

Мишка, незаметно скрывшись, пробежал закоулками и вернулся к тётке Лебёдке. Почему он решил не оставаться на срочную вечернюю сходку группы РСДРП, не понимал сам. Смутные чувства бродили в его душе. Картины только что виденного наплывали на него, мешая сосредоточиться и понять причину собственного побега. Вот падает знаменосец Кононов, стоявший в первом ряду, недалеко от Зои, вот подгибается нога раненого коня, вот на белом снегу чей-то потерянный картуз... И лишь одно чувство проступало совершенно отчётливо: ему не нравилось кровопролитие. Он... Он не способен убить.

А Гаев? Гаев, несмотря на свою открытую улыбку, способен. А Лебедев? Он же интеллигент, и что?

Олимпиада Акинфиевна внесла пирожки, и сразу стало в гостинной тепло. Мишка улыбнулся.

— Давай-ка, дружок Мишута, почаёвничаем. Небось замёрз на своей демонстрации? Что там было-то?

— Стреляли. Не знаю, убили или только ранили нескольких человек.

— О, Господи! Войны с Японией людям, выходит, мало. Наденька каждый раз плачет, когда солдатик умирает.

— А тот, что заговорил, выживет?

— Она уверена: выживет. Скоро домой поедет. Он издалека, с Новгорода. Обещает Наде писать, а после войны приехать в Томск. Да кушай, Мишута, для тебя сама пекла. Стефанида поделилась со мной кухаркой, ей теперь без Антония-то дорого, вот её Луша то мне, то ей готовит. Но пироги у неё, Бог не даст соврать, никудышные. Мои вкуснее.

— Подтверждаю! — жуя, пробурчал Мишка.

— Стефаниде сообщили, что дом и земля принадлежали покойному Антонию Михайловичу по праву. Выходит, нужные до-

кументы в волостном правлении отыскиались, правда, Стефа не хочет почему-то жить в селе, может, ты поговоришь с Шурочкой — ей бы с детишками летом там пожить — разве не благодать?

Мишка вспомнил про Диева.

— Алексей Александрович к вам не навещался?

— А то как же, навещался третьего дня. Удивил меня.

— Удивил? — Мишка отложил на тарелку надкушенный пирог.

— Просил для него взять у тебя книгу... как его, забыла... ещё планета такая есть... память стала сильно подводить...

— Маркса?

— Его самого. Только просил на русском либо на французском. По-французски-то я, говорит, разберу, а немецкого вовсе не знаю.

— Тётушка Лебедушка. — Мишку просьба Диева встревожила: помнит муж сестры о статье Толстого и прочей запрещенной литературе, выходит, его затянуло. — Скажи ему, ничего у Мишки такого нет.

— На демонстрации ты его не видал?

— Честно говоря, о нём не думал. Замужнюю теперь Зойку там видел. А его нет.

— Ты, Мишута, к Шурочке забеги, спроси про усадьбу. Дом тёплый, могла бы Шура и зимой с детьми там пожить, с ними бы играл внучек Стефы, сынок Никодима. Отдохнул бы наш Алёша Александрович, ведь заедает Шура его своим задиристым норовом. Церковь в селе старая, добрая, в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов.

Диева дома не оказалось. И это удивило Мишку. Он бегло изложил сестре всё, что предлагала Олимпиада Акинфиевна. Жить в деревне зимой? Шурочка не обрадовалась предложенному, а рассердилась.

— Я что, нужна в качестве сторожа?! Сбрендили старухи! А Диева куда? Он же служит.

— Не он ли идёт? — спросил Мишка, услышав, что открывается входная дверь.

МАРИЯ БУШУЄВА

— А кому еще приходится? Он.

Диев, несмотря на мороз, был бледен. Остановился посередине небольшой гостиной, освещённой зимним солнцем, потёр ледяные ладони, подул на пальцы и подал руку Мишке.

— Приветствую.

— Вы... — Мишка решил огорошить его сразу. — Зря просите Маркса, у меня нет. И вообще лучше бы вы забыли и про статью Толстого...

— Никак не могу. — Диев улыбнулся и через зрачки его прошли два световых луча. — Толстой меня, понимаете ли, Миша, окрылил. Жил я тихо, видел несправедливость, но сомневался: то ли я вижу, не лжёт ли мне моё зрение, и, коли не лжёт, что, могу я, титулярная букашка, о том рассказать? И есть ли смысл в моих словах, если я ничто не смогу изменить? А тут великан те же картины, что меня порой покоя лишали, увидел и всему российскому миру их показал, несправедливость вывел на свет божий: смотрите, люди и поднимайтесь над вашей униженностью. И я поднялся над моим жалким местом под солнцем, и смысл своей жизни узрел: справедливость достижима — а значит, стоит бороться за нее.

— Не тебе бороться, воробей, — усмехнулась Шурочка.

— Из таких, как я, воробьев состояла сегодняшняя демонстрация. Нас много. И мы вместе — сила.

— Вы присутствовали? — спросил Мишка, уже понимая: Диев на демонстрации был.

— Присутствовал.

— И что в городе сейчас?

— Город точно мёртв. Но это снаружи, а внутри клокочет подземный океан.

К полуночи, скрывая алые следы, пошёл снег.

— Снег всегда мне напоминает покров памяти, — задумчиво сказал поручик Бахерев. — Вот и сейчас: скроет всё, что мы с вами пережили сегодня.

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

— Я чувствую себя так, точно сам был ранен. — Ромашов глядел на поручика, но вряд ли его видел, весь обратившись в слух. — Докладывайте: что уже известно.

— Убит один из демонстрантов — студент Иосиф Кононов, нёсший знамя. Прискорбно, что случайной жертвой стал тринадцатилетний мальчик Елизаров Илья. Ранены 23 демонстранта, среди них учитель гимназии Попов и доктор Залманов...

— Вот она — русская интеллигенция, превозносимая братом моей Лизы!

— Задержано сто семнадцать человек. Среди полиции тоже есть жертвы. Ранен городской, причем тяжело, врач не надеется, что он выживет, у городского — девять детей...

— Плохо.

Каждое слово, произнесённое поручиком, отдавалась больным звуком в сердце Ромашова. Он глянул в окно, и детские лица скорбно глянули на него из морозной мглы. Ромашову привиделось среди них знакомое по фотографиям лицо цесаревича Алексея.

— Вы тоже видите их, поручик?

— Не понял, о ком вы?

— Я? Продолжайте.

— В феврале прибывает в Томск статский советник и камергер Азанчевский-Азанчеев, он был харьковским губернатором.

— И что?

— Надеюсь, наведёт порядок.

— Порядка уже не будет, прибудь хоть сам...

Полковник поднялся с кресла, бросил взгляд в окно: лица исчезли.

— ...хоть сам Господь Бог. Озверевшая толпа распнёт его вторично. Затягивают Россию в чёрную воронку. Мы с вами, поручик, несмотря на скорбь, обязаны стать беспощадными к разжигателям смуты. Того требуют наша честь и наша лю-

МАРИЯ БУШУЕВА

бовь к Отечеству. Я слышал, вы уклонились от вступления в недавно возникший Русский кружок. Вступайте срочно! Мы все должны сейчас объединиться, спасая империю.

Глава пятнадцатая НОВЫЙ КВАРТИРАНТ

Ноябрь 1905 года. Ново-Николаевск

По рекомендации партийного комитета к Обской группе присоединился Юзек Кацинский, внук участника польского восстания 1863 года, сосланного в Томск. Планировалось ввести Юзека в боевую дружину.

— Будешь охранять «массовки», — объяснил Лебедев, встретившись с ним, как было условлено, в библиотеке «Общества попечения о народном образовании», — получишь оружие. Наши товарищи сообщили: оно хранится у Шамшиных. Познакомишься с ними. Вся семья — опытные подпольщики. Специально для дружинников предназначены военные артиллерийские наганы.

— А «смит-вессон»?

— По-моему, ещё остались... Ежели вдруг да не будет, поскольку проблема с патронами, их доставать сложнее всего, придётся как-то выходить из положения. Лично я купил оружие у путевого сторожа... Жить будешь пока на Переселенческой, одного из жильцов комитет отправит в Барнаул, недостаёт их организации хороших пропагандистов, так что тесно не будет. Хозяйка, наш человек, потому охотно предоставляет свою квартиру для приезжих революционеров. У неё трое детишек.

Юзек явился на Переселенческую в морозное утро, закинул затвердевшее пальто на крючок вешалки, поднялся на второй этаж. Хозяйка улыбнулась ему, отметив, что молодой человек привлекателен внешне, только выглядит измождённым. Поспешно поставила разогревать борщ и кипятить самовар. Вышли из своей комнаты дети, стали смущённо разглядывать гостя.

— Кыш, — ласково сказала хозяйка, — не путайтесь под ногами, иди, Сережа, почитай девочкам сказки.

— Мне они совсем не помеха. — Юзек достал из кармана маленькую железную коробочку. — Леденцы! Набегай, малышня.

— Добрый дядя, спасибо, — сказал Серёжа, беря позвякивающую коробочку, — мы пообедали, значит, сладкое можно.

Вернувшись вечером, Гранитов сразу взял Юзека в оборот:

— Томские товарищи характеризовали тебя как отчаянно смелого, сказали: ты умеешь профессионально обращаться с оружием. Нам здесь такой нужен. Иначе мне самому пришлось бы для тебя устраивать в лесу учебные стрельбы. А зимой — сложно. Основная проблема у нас сейчас с деньгами: свою типографию оборудовали, наборщиком — товарищ Лев Бартов. Он скоро вернётся, живёт здесь же. А средств на бумагу нет. Немного мы набрали у железнодорожных рабочих, которые нас поддерживают, издали двести прокламаций, но этого крайне мало. Нужна бумага и на газету «Обской рабочий» — планируем, что это будет постоянный печатный орган нашей Обской группы. Завтра ночью через Новониколаевск пройдёт поезд из Красноярск. В одном вагоне, мы уже знаем, в каком, везут деньги в Петербург, собранные красноярской полицией в качестве «откупных», часть — полученные с наших же товарищей, с кого за участие в стачке, с кого — за неосторожное высказывание.

— Никогда про «откупные» не слышал, — заметил Юзек.

— Я тоже не слышал, верь — не верь, но так объяснили красноярцы. Поезд будет стоять десять минут, за это время нужно успеть. С тобой пойдёт Саша Тигроян. После он сразу уедет в Барнаул. Вы с ним заранее сами решите, как будете действовать. Один отвлекает кондуктора-охранника, второй проникает в вагон и выносит кассу. Схема вагона и место расположения кассы у нас есть. Опытный бывший кондуктор, наш партиец, как раз служил в таком вагоне. Тигроян выдаст тебе наган.

МАРИЯ БУШУЄВА

Но реализовать план не удалось — помешал мороз. Закоче-
невшие Тигроян и Юзек напрасно ждали, что кондуктор вый-
дет из вагона покурить. Он не вышел.

— Постучать в стену вагона? — шёпотом спросил Юзек.

— Нельзя! — ответил Тигроян, пытаясь дыханием согреть
пальцы. — Полиция не дремлет даже в стужу.

Так и вернулись ни с чем.

— Провалил я своё первое задание, — сказал Юзек рано ут-
ром Гранитову, — что теперь?

— А теперь устроишься в магазин Кетова и вступишь
в профсоюз. Служащие магазинов и лавок нам очень нужны.
Займёшься среди них агитацией, — Гранитов подошел к нему
и приобнял, — не переживай. Такие мероприятия, как с поез-
дом, — дело вынужденное, морально тяжёлое, душевное нутро
отягчающее... Готов самовар, садись к столу.

Уже дымились сочные пироги, багровело тягучее вишне-
вое варенье, пышно в середине стола царил хлебный каравай...
Оголодавший Юзек не мог оторвать взгляда от манящей еды,
особенно от аккуратно нарезанной колбасы, уложенной на та-
релку, по краям которой желтели кусочки масла.

Вышли к столу Лев Бартов и Тигроян. После завтрака все
закурили.

— Если поступит новая партия оружия, кто вместо меня бу-
дет отвечать за чердачный склад? — спросил Тигроян.

— Пока я, там посмотрим, — сказал Гранитов, сплёвывая
в блюдце косточку вишни, — вроде ждать оружия неоткуда. Всё
у Шамшиных. Позавчера был у них, читали революционную по
духу вещицу «Пауки и мухи». Знаете о такой?

— Пауки там, конечно, капиталисты? — иронично спросил
Лев.

— Верно, — не глядя на него, ответил Гранитов. Ревность
непрестанно мучила его, стоило отвлечься от революцион-
ной работы, начинали мерещиться самые жаркие картины
любви, иногда он осторожно выходил ночью и, стоя у двери

в комнатку хозяйки, прислушивался, ожидая и опасаясь слышать голос Льва. Ему было стыдно, сердце било в грудь, страсть, зревшая с первого дня его прихода на Переселенческую, рвалась наружу и, не находя выхода, становилась тяжелой, угрюмой болью.

— Хозяева-капиталисты — пауки-вампиры, они высасывают всю кровь из своих жертв. Мухи-жертвы — это пролетариат.

— И в чем же революционный смысл этого памфлета? — Лев засмеялся.

— В том, что мухи могут объединиться — и тогда паукам — каюк.

— По-моему, наивно. — Лев пристально поглядел прямо в глаза Гранитову. Он кожей ощущал его ревность, но не мог не отдавать другу по партии должное. Крепкий организатор, смелый мужик. Из народа и за народ радеет.

— Почему же?

— Собственно, пролетариат пока играл очень маленькую роль в расшатывании царизма, революционный исток нужно отнести к декабристам, причем представителям самых знатных русских фамилий. Потом за тот же рычаг взялась литература: западник Герцен, народник Чернышевский, каторжанин Достоевский, ну а дальше — анархист Бакунин, затем, Плеханов, и, наконец, Ленин... Между прочим, Ленин тоже не из рабочих: отец его, учитель-чуваш, получил потомственное дворянство... Да, пролетариат не доволен, живёт мучительно, тягостно, дерут с него семь шкур, но он — ведомый. Даже сплотившись, сами мухи паучью сеть не уничтожат.

— Не согласен! — Тигроян хлопнул кулаком по столу. — Сейчас как раз рабочие — основная сила.

— Сила без головы ведёт в тупик.

— Вы, Лев, правы, — подал реплику Юзек.

— Нет! Он категорически не прав! — возмутился Гранитов. — Я, будучи проездом в Чите, много беседовал с опытным большевиком. Он говорил, что верит не только в мощь, но и в ум

МАРИЯ БУШУЄВА

рабочего класса. Сейчас он ведёт марксистский кружок в Петербурге, до костей знает пролетариат.

— Друзья, мне пора на поезд, — прервал спор Тигроян, — в Барнауле я никогда не был. Что за город?

— Хороший город, — сказал Лев, — а мне пора в типографию. Бумаги очень мало.

— Знаем. — Гранитов поднялся из-за стола, остановился возле Кацинского. — А ты, Юзек, иди-ка прямо сейчас в магазин Кетова, там приказчик Емельянов в курсе дела, тебя возьмут, скажешь, что от меня.

...Когда хозяйка вышла из комнатухи, служившей кухней, за столом сидел один Гранитов. Боясь выдать свои чувства, он сразу заговорил о деле:

— Вокзальный канал фельдшера Когана по-прежнему используй, но попробуй-ка, милая, — голос Гранитова сел и превратился в тревожное низкое гудение, — попробуй-ка носить свёртки прокламаций прямо на лотке вместе с продуктами для продажи, будто и в свёртках — пирожки или какая другая еда. Подойдут к тебе, по паролю передашь им эти свёртки.

Не удержался — глянул на влекущее лицо. И сразу стены разъехались, отталкивая от себя поплывший пол. Гранитов встал, нетвердой походкой, точно ступает по речному плоту, подошёл к окну.

— Ничего ж не видно, — сказала хозяйка, — всё в морозных цветах.

— В морозных цветах, — повторил Гранитов хрипло.

— Дети мои верят, что сам мороз ночью приходит и рисует. Серёжа стихи стал сочинять. Он не в меня — в покойного мужа.

Гранитов лбом упёрся в ледяное стекло. Дрожь бежала по его широкой спине. Оглянуться... Оглянуться! И броситься в горячие омуты глаз.

Глава шестнадцатая
ГРАНИТОВ

Январь 1906 года. Ново-Николаевск

— По всей стране продолжают митинги! — Лев сделал осторожный глоток: чай был ещё слишком горячим. — Так что запустил Гапон, сам того не ведая, паровой двигатель революции. Хотел примирить власть и народ, а вот что вышло. В Томске снова впереди железнодорожники и студенты моего технологического института. Весь октябрь — революционное цунами на железной дороге, но, как мы ни старались управлять движением поездов, всё равно некоторые военные эшелоны стояли и опаздывали, оттого, возможно, у нас низкая поддержка среди солдат. Один солдатик, мечтавший о доме, прямо на станции Обь покончил с собой, говорят, не выдержав напряжения стачки и ожидания... Благие цели, Гранитов, если они не ко времени, могут привести и в ад, говорил мой отец.

Лев теперь называл товарища не по имени, а по его партийному псевдониму: так легче было переносить любовную связь Гранитова с хозяйкой, не скрываемую товарищем, наоборот, нарочито открытую. Большие мозолистые ладони Гранитова, то небрежно похлопав хозяйку пониже спины, то пробежав по её крутому бедру, демонстрировали всем и, главным образом, побеждённому сопернику, кто владеет роскошным женским телом.

— Выходит, революция — ад?! — возмутился Гранитов, резко отодвинув стакан с чаем.

— Ад — её тень.

— Вот оно как вылезает твоё гнилое нутро! — Гранитов встал и, отойдя в угол комнаты, закурил. — Не твои ли предки-попы помогали помещикам держать в повиновении народ?! Я — чёрная, пролетарская кость, потому вижу правду, знаю про угнетение народа не по романам твоих собратьев-интеллигентов, а изнутри. Ты в студентах побывал, а я имею за плечами тю-

МАРИЯ БУШУЕВА

ремный «университет», поносил бушлат с бубновым тузом на спине. Ад — жизнь рабочих, революция — единственный выход из ада.

Хозяйка, стоящая в дверях, слушая разговор двух мужчин, женским чутьём угадывала: под всё круче встающими волнами спора бурлят подводные источники: самолюбие Гранитова и отверженность любовных притязаний Льва. Она решила вмешаться и направить движение волн в одном направлении, посчитав, что любой конфликт на нелегальной её квартире опасен в первую очередь ей самой и детям.

— Тимофей, Лев, — сказала громко, — вчера переслали из Томска новые прокламации. Я ещё не читала. Что там?

— Сейчас, — Гранитов достал из кармана листовку, — слушайте! *«Наступили великие дни. Россия объята пламенем революционного пожара. Между русским народом и царским правительством идет беспощадная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть».*

Гранитов, зачитав текст, снова сел за стол и, подвинув к себе стакан уже остывшего чая, посмотрел на Льва торжествующе.

— А ты сравнил с адом! Революция — великий праздник освобождения пролетариата от своих цепей, от гнёта самодержавия! Верно говорит Василий Шамшин, в революционное движение необходимо вовлекать широкие массы не только рабочих, но и забитых неграмотных крестьян. Василий сейчас служит в торговой фирме купца Смоленцева, у приказчиков пользуется большим авторитетом. Многие из них уже активно нас поддерживают. Иногда и среди ваших, — Гранитов примирительно усмехнулся, — попадаютсся сознательные люди. В Бердске дочь местного благочинного, учительница, активно помогает нам, распространяя литературу среди рабочих.

Разговор прервал осторожный стук в дверь.

— Лев, тебя спрашивают, — сказала хозяйка, — человек от солиста.

Солистом называли одного из руководителей Обской группы Самойловича. Певцами звали ораторов, а хором — собрание.

Лев спустился и через минут пятнадцать вернулся встревоженный.

— Сообщение неприятное: нашу типографию выследили.

— Лебедев предупреждал о провокаторе, — сказала хозяйка, — выходит, и верно, где-то он затаился.

— Самойлович передал, что технику необходимо срочно спасать. Там у меня всё типографское оборудование: шрифты, сам станок, там же кассы и бумага. Кроме того, три пишущие машинки «Ремингтон» и гектограф. Нужно всё упаковать в ящики и перевезти. Адрес сообщили, подвода будет. Сказано, что мне в городе оставаться нельзя. Так что я сразу после перевозки техники уеду в Томск. В большом городе легче затеряться.

— Паспорт есть?

— Да, если что — на имя Аркадия Иванова. Так что — прощайте!

На миг глаза Льва и хозяйки соединила искрящаяся лента, вспыхнула печальными огоньками и погасла.

Вечером в доме воцарился почти семейный покой. Гранитов читал, наигравшиеся дети наконец уснули, хозяйка наготовила еды на весь завтрашний день и отдыхала у себя в комнате, предвкушая ночные обильные ласки. Её тело, вступившее в зенит женской зрелости, отзывалось на зазывное позвякивание пружин кровати своим затаённым низким звучанием. Она совсем не жалела, что выбрала Гранитова, а не Льва Бартова. Призрак покойного мужа, иногда мелькающий в ночной темноте, мог изгнать только вовсе не похожий на него человек. А Лев был из той же породы мешающих жить самим себе разночинцев-романтиков. Крепкий мужик Гранитов способен, оправдывая свой партийный псевдоним, наглухо загородить призраку вход в её сердце глыбой своего чувства. Змейкой мелькнувшая мысль, что не провокатор сдал типографию, а Тимофей подкинул записку

МАРИЯ БУШУЕВА

полицейскому с адресочком, дабы окончательно избавиться от соперника, — мелькнула и тут же стыдливо скрылась. Нет, Гранитов не способен ни предавать, ни лгать, ни поступать вероломно. И, если революция победит, не будет от него пощады тому, кто отступит от общего дела хоть на полшага. Кот называет его большевистским прокурором, который без малейшего колебания затребует, придя к власти, для всех представителей привилегированных сословий смертный приговор. Сам Кот почему-то потихоньку стал отклоняться от крайних методов. Да, он тоже считает, монархия должна быть упразднена, но почему бы не путём последовательных реформ, а не кровопролития? Террор эсеров распространяется по стране, большевики идут за ними след в след. Политических свобод, всеобщего избирательного права, отмены сословий нужно обязательно добиваться, однако разве нет иного пути, кроме как взрывая и расстреливая? Делился своими мыслями Кот лишь с ней, своей старшей сестрой, и она о том молчит — даже нежась в постели, не выдаст сомнений брата.

Она томительно ожидала Гранитова, а он всё не шёл. Зачитался Ленина или Троцкого? А может, соперника в доме теперь нет, так спокойно решил — чего торопиться? Невольная досада заглушила чувственное звучание, и женские мысли потекли в сторону быта и детей. Кот в недавний приезд пообещал подобрать желающих столоваться на Переселенческий из рабочей молодежи, каждого — по рекомендации членов Обской группы. Это было бы кстати: денег не хватает даже на приличную одежду. Тигроян в Барнауле, Лев вряд ли скоро вернется, Юзек получил откуда-то деньги и снял квартиру получше, в самом центре Ново-николаевска. Гранитов один не спасёт. Ведь и сам ест за троих: могучий мужской организм требует энергии из пищи.

Он вошел, как всегда, резко распахнув дверь. Остановился, качнулся на мощных ногах, впечатал широкоплечий силуэт в проём двери. И в этот самый миг в узкую дверную щель сумел проскользнуть призрак.

— Господи, — выдохнула хозяйка, — он опять здесь. За-мучила меня, Тимофеюшка, память о нем. Виновата я. Ох, как виновата. Обижала его, побила раз... Все от отчаяния жизни...

Гранитов обрушился на неё, запечатывая своими жёсткими губами мягкий рот, расползающийся от слёз.

— Родная моя, — шепнул, обжигая поцелуями, — он слабее моей любви.

...Ждала ли она исповеди от Гранитова? Хотела ли знать о его жизни вне партии? Уже много позже решила — не хотела и не ждала. С тех пор как похоронила мужа, не оставалось в её сердце надежды на семейное счастье, и не считала она себя достойной такой благодати, отведя своей женской ипостаси всего лишь роль чернозёма для произрастания на нём трёх побегов. И, когда в ту ночь после водопада страсти Гранитов признался, что женат на фабричной самарской ткачихе, ожидающей его преданно, как собака, и что ждут его и двое парнишек, семи и пяти лет, она лишь усмехнулась:

— Пенелопа у тебя есть, выходит.

Самолюбие его, не позволив спросить, кто это, Пенелопа, подозрительно просвистело из уголка сознания: небось образованный Лев умным словам её подучил.

— Супруга моя не жилища, — сказал Гранитов, — чахотка пятый год. И призрака её, когда помрёт, бояться нам с тобой не придётся.

— Путь живёт, а мне и частички от вашей семейной любви достаточно.

— Какая любовь, — он махнул кулаком, точно погрозил кому-то, может быть, призраку, в которого, конечно, будучи убежденным материалистом, не верил, а может быть, року, в который верила его несчастная жена, — там...

— Мальчонки твои там, вот о чём помни. Кому сироты в этом страшном мире будут нужны, если матери не станет? Ты вон всё о революции гредишь, их-то кто пригреет?

МАРИЯ БУШУЕВА

— А ты разве не пригреешь? Где трое, там и пятеро ртов — не велика прибавка к обузе. А после мы свергнем царизм, ликвидируем паразитов-буржуев, офицеров царских и попов, помещиков и торгашей, установим нашу пролетарскую власть — и еды будет на всех наших детей вдоволь.

— Не хорони живую, не желай ей смерти, это грех. Такие греховные мысли возвращаются рикошетом, как пуля, и убивают того, кто их отправил.

— Я не представляю жизни без тебя! Ты для меня, — он прижал её с силой к себе, отпустил, тяжело дыша, отстранился, — желанна, как революция! Слились вы в одно лицо.

Глава семнадцатая КОНДУКТОР

Февраль 1905 года. Томск

Гаев озадаченно смотрел на щуплого, остроносого человечка, убеждающего принять его в партию социал-демократов. Не шпик ли? Да вроде не похож... Отставной титулярный советник Алексей Александрович Диев. Где-то Гаев уже слышал эту фамилию. А! Известен своими статьями в «Сибирской правде» Никодим Диев, кандидат богословия, начальник над епархиалками. Его же брошюры на темы нравственного воспитания выходили в типографии Дома Трудолюбия.

— Поймите, с юности я жил в тумане смутных ощущений, точно приговорённый к бессмысленности существования, ощущения подсказывали мне: мир устроен неправильно, несправедливо, подло устроен, а слабый разум вторил ему: «И что? Ты всё равно ничего не сможешь изменить, так влачи свою ношу и о переустройстве мира забудь навсегда». Но вы-то! Вы-то можете изменить мир! Так возьмите меня на свой партийный корабль! Я стану вам полезен, служу в службе движения железной дороги, в моём подчинении кондукторы...

— То, что кондукторы, конечно, хорошо, — сказав Гаев, — вот и пытайтесь осторожно просвещать их. Не перегибая палку. Иначе несложно угодить в объятия жандармов, а вам это явно ни к чему.

— С меня только что приказом прокурора сняли надзор полиции. — Диев достал носовой платок и вытер вспотевший нос. — Попал в участок из-за извозчика Куликова по случайности. Должен был передать пакет...

— Так что ж вы сразу о своей деятельности не рассказали? — удивился Гаев. — Выходит, за вас есть кому поручиться из нашей партии?

— Не совсем чтобы есть.

— Не понял вас?

— Младший брат моей жены состоит в вашей партии, но он против моего участия. Видите ли, я провалил его задание — и с тех пор он мне не доверяет, считая наивным, оттого не подходящим для конспиративной работы.

— А как его имя?

— Михаил Гаврилов.

Гаев тут же вспомнил: Мишка-то и говорил о Диеве, просил не принимать его в члены партии, коли тот будет проситься, оттого фамилия прозвучала как знакомая.

— Хорошо, Алексей...

— Александрович.

— Договоримся так: вы подходите-ка на собрание в субботу в зал Технологического института. Там будут представители разных партий, но и наши тоже. Я вас кое-с кем познакомлю. А ваш вопрос постараемся решить в марте. С Гавриловым я переговорю.

...Февральский город казался притихшим, но Диев знал: то тут, то там вырывались из-под мнимого покоя и клубились гейзеры собраний или небольших, малочисленных, митингов.

Городской сад, затаившийся под снегом, напомнил ему детство: занесённый снегом садик возле родительского дома, тихую

МАРИЯ БУШУЕВА

мать, пугливо вздрагивающую от звона дверного колокольчика и часто, покрыв старинной шалью плечи, застывающую у окна, за которым замерли белые деревья. Диеву представилось, как летом по такому же садику будут весело бегать дочки, Стеша с Ирочкой: Стефанида Акинфиевна всё ж таки переехала жить в доставшийся ей по наследству от покойного мужа дом и забрала, с согласия Шурочки, с собой девочек. Серёжа остался в Томске с родителями. «А где буду летом я, — спросил сам себя Диев, и внезапно ему показалось, что летом он будет жить со своей матерью в старом родительском доме, став снова таким же маленьким, каким был сейчас его Серёжа. — Мы все — летящие снежинки всего лишь, — печально подумалось ему, — одну снежинку несёт ветром, другую вихрь долго кружит над городом, третья летит плавню и тихо, а иная сразу тает». И, едва Диев так подумал, пошёл снег, рассыпавшийся вскоре пышной царственной метелью.

...Второй день в городе мело, что очень злило Дусю, горничную Еремеевых, вынужденную беспрерывно бегать то в лавку, то в магазин, а после стряхивать в прихожей с одежды снег, быстро превращающийся в лужи, создавая лишнюю заботу. Злило её и то, что вдова Еремеева не скончалась от наведения цыганки, наоборот, с рождением внука как-то даже помолодела, зарозовелась щеками, округлилась. Залманов был с тёщей предупредителен, и она отвечала ему благодарной симпатией: от неё не удалось скрыть, что на демонстрации спас он от пули её шальную Зойку и тогда ещё не родившегося младенца. Ранение зятя в глазах Еремеевой возвело его в герои. Дуся зазывно глядела на доктора и, сталкиваясь с ним в узком коридорчике, ведущем в кухню, старалась прижаться к его боку бедром, но Залманов, обдав её терпким ароматом улыбки, поспешно проходил мимо. Сына Зойка назвала Михаилом, и как-то попросила горничную отнести записку Мишке Гаврилову, по-прежнему проживающему на Садовой, у своей тётки Олимпиады Акинфиевны. Подгадав момент, когда Зоя кормила в своей комнате малыша, Дуся шепнула Залманову:

— Борис Евсеич, у меня до вас важное дельце. — И достала из передника записку Зои. — Читайте-ка.

Заманов собирался уходить: его вызвали к опять занемогшему полковнику Ромашову, и хотел было отмахнуться, но Дуся, встав между доктором и входной дверью, сунула ему записку прямо в руки.

— Смотрите же!

Залманов вынужденно прочитал: «Мишка-хулиган, ты навечно в моём сердце. Зоя».

— Приказала ваша жена отнести ему. — Дуся уже готова была взлететь на гребне мстительного торжества, но гребень упал и придавил её ответом.

— Так и отнеси, если приказано.

На Мишку записка Зои сентиментальных воспоминаний не навела. Его печалило сейчас другое — решение Веры ехать в Петербург учиться на Бестужевских курсах. Отношения с Верой совсем не походили на театральный роман с Зойкой, бурная вода которого казалась Мишке нарисованной на картоне. Это Зойка верила своему спектаклю, он не без удовольствия участвовал в нём, но быстро забыл, когда спустился со сцены. Отговаривать Веру он не считал себя в праве: учиться необходимо. Образованных людей обмануть сложно, они сами разберутся во всех экономических вопросах. Мишка, наслушавшись споров в томских кружках, склонялся теперь к идее «экономизма», посчитав, что в финансово-торговых преобразованиях, а не в политической борьбе кроется ключ к лучшей жизни. Вера возражала ему: в ней жило мистическое чувство, бессознательно отвергавшее материю как единственную основу бытия. «Голый экономизм без этики ведёт к падению нравов, а значит, в пропасть, — убеждённо говорила она. — Вспомни гибель Римской империи».

Споры с Верой никогда не заканчивались ссорами, всегда плавно перетекая в тёплое озерко нежной дружбы. Вера по-прежнему была сторонницей областничества, но в его мягкой

форме — нужно не отделение от России, а создание Сибирской Областной думы. Колониальный колпак над Сибирью мучил её так же, как собственное епархиальное образование. Мишка иногда мягко подшучивал над ней, Вера обижалась — он догадывался, что обидчивость и ранимость останутся с ней навсегда, — но быстро его прощала. Правда, однажды из-за её обиды их дружба чуть не прервалась. Мишка, интересовавшийся историей почты и телеграфа, вычитал в каком-то литературно-историческом журнале, найденном им в народной читальне, что первым начальником московского почтамта, открывшегося в 1725-м, бы дворянин Краусс, впоследствии уволенный за финансовые злоупотребления. Вера, выслушав его рассказ о мздоимце, сказала:

— Ты, Миша, нарочно, да?

— Нарочно — что?

— Намеренно решил меня уязвить?

— Тебя? Чем?

— Мой второй дед — ссыльный шляхтич из рода Крауссов, баронов Галиции, он попал в Сибирь девятнадцати лет за участие в восстании 1863 года, честнейший человек, работал в Нерчинске управляющим, лишней копейки себе не присвоил. Я тебе о нём рассказывала. Он рано умер, его вдова, моя бабушка, вышла замуж за священника Чистякова, усыновившего моего отца.

— Не рассказывала!

— Ты лжёшь.

Мишка поплёлся на Садовую, укоряя себя за неосторожность и забывчивость. Его и собственные-то деды-прадеды не колыхали: были и, слава богу, некогда о них размышлять, нужно думать о сегодняшнем дне. Шурочка тоже была равнодушна к своей родословной.

— Раз я сейчас не княгиня, — говорила, сердито играя стрелами бровей, — то и нечего в прошлом копаться. Чего там найдёшь? Бедность да вечный труд, только и всего.

А вот тётка Лебёдка уважительно всегда отзывалась о многих поколениях Диевых, полагая, что первый священник в роду покойного протоиерея Антония появился еще в XVI веке.

— Духовные-то всегда грамотными были, — говорила она, — летописи, первые переписанные книги — всё от монахов. Уж это в прошлом веке офранцузившиеся дворяне стали унижать духовенство, да ведь и они все без священника никуда: и крестить, и венчать, и в последний путь проводить — всё он. Наш-то Никодим пообразованнее многих из них во сто крат. — Олимпиада Акинфиевна посмотрела на фото царской семьи в аккуратной рамке на стене. — И за государя радеет всем сердцем, тревожится за Отечество наше.

— В Отечестве назвали перемены, — сказал Мишка.

— Ты бы, Мишута, бросил свою партию, как бы не довела она всяческими переменами Россию-матушку до гибели. Да ещё Алексея Александровича с доброй дороги сбил, попутал его этим вашим Марсом, сильно нехорошо это...

— Марксом, тётушка.

— Ох, Миша, Миша... Как Веруня-то твоя?

— Собирается ехать в Петербург учиться на курсах.

— На это опять же как посмотреть. Никодим рассказывал, в Петербурге курсистки поведения сильно вольного, к тому же курят да против царя речи слушают. Зараза повсюду.

— Вера стойкая, — засмеялся Мишка, — её сбить с пути не удастся.

— Не зарекайся, дружок. Люди, когда по отдельности, на себя похожи, а когда вместе соберутся, лица свои в толпе теряют, можно сказать, в глину превращаются, из коей умелый хитрец что угодно ту же и слепит. А глина потом затвердеет и орудием станет в злых руках сего хитреца.

— Я...

Мишка вскочил с дивана, подбежал к тётке Лебёдке, обнял её.

МАРИЯ БУШУЄВА

- Женюсь на Вере!
- По тебе ли дерево? Да и согласится ли она?
- Согласится, тётушка!

...Диев воспринял слова Гаева о кондукторах: «вот и пытайтесь осторожно просвещать их», — с полной серьёзностью, решив, что без такой деятельности в партию социал-демократов его не возьмут.

Кондукторских бригад в подчинении Диева было несколько. Сначала он решил начать «просвещение» с той, где работали новички, недавно пришедшие на железную дорогу, но потом передумал. Нет, пожалуй, нужно осторожно попробовать как раз с самой сплочённой старой бригады, которую знает хорошо. С кого конкретно?

Сидел за столом в пустой конторе, проверяя отчеты, и подбирал мысленно кандидатуру. Один кондуктор казался ему слишком болтливым, оттого ненадёжным, второй язвительным, а значит, способным на скепсис, обсмеет ещё и тем начальника унизит, третий явно не любит Диева, хотя и вынужден ему отчитываться...

В контору зашёл немолодой угрюмый кондуктор Прохор Авдеевич. Он был как раз из той бригады, какую Диев знал с первых дней своей службы. А не начать ли прямо сейчас с него? Человек проверенный, надёжный. Пожалуй, подходит! Стоит, наверное, осторожно спросить его сперва-наперво о статье Толстого, не читал ли, вроде как Диев не в курсе, что статья запрещённая. В окно конторы заглянула качаемая ветром ветка. С неё посыпался снег. Кондуктор подсел к свободному столу, стоящему возле окна, достал какие-то бумаги. Пропиликала в мозгу Диева его фамилия «Каблуков», срифмовалась с фамилией кучера Куликова. Заглушив неприятное пиликанье, Алексей Александрович обратился к кондуктору:

- Прохор Авдеевич, вы, я знаю, человек грамотный...

Глава восемнадцатая
СТОЛОВНИКИ

Март 1906 года. Ново-Николаевск

В последних числах марта так потеплело, что вдоль по Переселенческой сначала робко, потом всё смелее и, наконец, с бурливой отвагой побежал широкий весёлый ручей. Гранитов выпилил из деревянного бруска небольшую лодочку, прикрепил к ней мачту из длинного гвоздя, а на мачту — тряпичный парус. И Серёжа день-деньской проводил на улице, пускал свой кораблик, бегая за ним вдоль ручья. Вечерами Гранитов учил его арифметике. Читать и писать Серёжа умел ещё с томской поры.

— Осенью нужно определить мальчонку сразу в третий класс, — говорил Гранитов хозяйке, прижимая её к себе в ночной парной темноте. Ему вернули должность помощника машиниста, и теперь он часто отсутствовал, а, когда возвращался, рассказывал ей о станциях и полустанках, о военных и санитарных поездах, о бесконечной тайге и долгой барабинской степи...

— Едешь, едешь вдоль степи, стучат, стучат колёса — и такая тоска нахлынет, аж страшно делается, деда своего, ямщика, вспомню, убитого на степной дороге, а когда вдоль таёжного моря поезд идёт, точно сам исчезаю и время своё теряю, мучительной вечностью от этих могучих лесов веет. Тряхну головой с силой — обратно вернусь.

Хозяйку сильно удивляли такие признания Гранитова. Выходит, в нём за крепкими стенами скрывается шаткая лестница, ведущая на потайной чердак, через тусклое окошко которого проникает в сознание Гранитова нечто, уму его недоступное, оттого тягостное.

— На учёбу денег много надо, — говорила хозяйка, возвращая сожителя к определённости быта, — одеть, обуть, чтобы не хуже других детей выглядел. Сам знаешь, бедняков городские обыватели, недавно из грязи выползшие, презирают. Ещё камнями

МАРИЯ БУШУЄВА

их дети Серёжу закидают, приди он в школу в нищем пальтишонке. Ты ведь своей жене деньги на сыновей шлёшь, а мне муж уже не пришлёт. Хотя ты теперь и помогаешь, за что спасибо, школу я никак не потяну, если не будет ещё столовников.

Гранитов согласился.

— Жильцов, пожалуй, не надо, вот-вот вернется Тигроян, а вот тех, кто будет столоваться, приходя обедать, набрать стоит.

— Троих, пожалуй, достаточно будет. Мне ведь и для станции нужно еду готовить.

— Выступил бы я против твоих свёртков с прокламациями, но внезапно нагрянула полиция на станцию и обнаружила тайный ящик с нелегальной литературой. Кто-то, похоже, сдал фельдшера Когана и нашего Купца, торговца квасом, оба арестованы. Остался пока единственный вокзальный канал — через тебя.

— Кот как в воду глядел, недавно мне говорил: «Фельдшера загребут».

— Отчего так думал?

— Он не думал — чуял.

— Тебе, милая моя, нужно быть крайне осторожной, от провокаторов мы нигде не застрахованы. Запомни: теперь для всех приходящих, даже новых членов Обской группы, ты — всего лишь хозяйка квартиры, ничего о подпольщиках и революционном движении не ведающая. Вдова, вынужденная держать столовников. И Тигрояну, когда приедет, о том скажи. И Льву, если зайдёт. Он вернулся из Томска, поселился на явочной квартире, подобранной ему Шамшиными, в том же доме, где Юзек.

Через несколько дней на Переселенческую пришли трое: сутулый прихрамывающий токарь Антон из железнодорожных мастерских, коротконогий Пётр с плосковатым лицом, рабочий мельницы, и Егор, кудрявый красивый слесарь из депо. «Жаль, Кот не скоро придёт, — подумала хозяйка, накрывая на стол, он

бы всех троих сразу насквозь просмотрел, живи мы в пустыне, и воду бы находил — такой у него дар».

Она внесла котлеты с картофелем, пироги с рыбой, солёную капусту в большой миске, поставила перед едоками на стол. Арест Когана её напугал — и к пришедшим на обед она приглядывалась не без подозрения. Мало ли сейчас шпииков под видом рабочих, сам Лебедев не раз о том предупреждал.

Молодые рабочие ели с видимым удовольствием. После обеда Егор, откинувшись на спинку стула, принялся нахваливать сочные поджаристые пироги и сытные котлеты, Пётр, весело глянув на хозяйку, отозвался с похвалой о наваристых щах, Антон молчал, но по его лицу было видно, что и он обедом доволен.

— Курить у вас можно? — спросил Егор. Получив разрешение, все трое задымили. «Пожалуй, подозрения мои напрасны, — решила хозяйка, — обычный пролетарский люд, чёрная кость».

Вечером того же дня вернулся Тигроян. Барнаулом он остался доволен: красивые дома в центре и красивые девушки, — а вот полученной предварительной информацией — нет.

— Говорили, что им нужны организаторы и пропагандисты, да у них там лучше работа сортировщиков поставлена, чем у нас, — возмущался он. Тигроян любил конспиративную лексику: эсеров звал слесарями, анархистов — кочегарами.

— У них и типография работает без перебоев. Похоже, есть у штабистов кто-то свой в охране. Литературы я из Барнаула привёз чемодан. Опасался, конечно, что попадусь, но обошлось.

— В Барнауле-то, выходит, спокойно, а вот в Томске продолжают аресты. У нас тоже: отправлены в томскую тюрьму фельдшер и Купец.

Насчет столовников хозяйка Тигрояна предупредила.

С тремя рабочими Тигроян встретился на следующий день за обедом, знакомство их прошло легко. Красивый слесарь Егор

МАРИЯ БУШУЄВА

шутил, а Пётр, сначала внимательно приглядывавшийся к Тигрояну, вышел затем из дома вместе с ним и с прихрамывающим токарем Антоном.

— Отправился на поиск работы, — объяснил по дороге Тигроян, — потерял место, ездил к больной тётке в Баранаул, некому было ей помочь, пришлось самому.

Версию с родственницей, придуманную для полиции, он использовал везде.

— У меня тоже родня в Барнауле, — обрадовался Пётр, — как твоей тёти имя? Может, мои — её соседи, могли бы иногда помогать.

— Померла она. — Тигроян скорбно вздохнул. Пётр и Антон сочувственно замолчали. Стало слышно, как бодро журчит бегущий вниз по улице ручей.

На самом деле пожилая женщина, выдаваемая за двоюродную сестру матери Тигрояна, благополучно здравствовала: адрес места её проживания тщательно скрывался.

Красивый слесарь Егор, отобедав, в доме на Переселенческой задержался, решил приволокнуться за хозяйкой, показавшейся всем троим рабочим роскошной брюнеткой, — они ещё вчера негромко обсудили её физические достоинства, едва она ушла в закуток кухни. Егор в разговоре с мужиками не побрезговал и грубоватой шуткой. Сейчас он курил и прикидывал, с чего бы начать. Решил помочь убрать со стола грязную посуду.

— Не нужно, — с насмешкой во взгляде отстранила его хозяйка, — это бабье дело. А что на работу не спешишь? Или погнали как лодыря из депо?

— Я не лодырь, а мастер своего дела, — оскорблённо сказал Егор, — таких, как я слесарей в депо, только двое, начальство без нас, как без рук. — От обидных слов хозяйки весь его интерес к её телесным изгибам и волнам пропал. — В депо сейчас собрание рабочих, а я в политике мазаться не хочу. Я и питерских путиловцев осуждаю, подняли бучу, она-то и вылилась в 9 января, — власть на то и власть, чтобы порядок охранять,

разбираться ей некогда: бунтовщики идут или просители. Про Столыпина говорят, слишком жёстко он в Саратове взялся, а я считаю — взялся правильно. В градоначальников стреляют, обычных городских убивают — так и отвечать нужно тем же — казнью.

— А что за собрание? — спросила хозяйка, остановившись возле стола. — Повышения заработка требуют?

— Совсем не то. Не слышали, что ли, вчера убили какого-то двадцатилетнего социалиста, небось сам был из бомбистов, да только дружки его тут же к нам набежали, агитируют похороны его в забастовку превратить. — Егор достал из кармана свои часы, глянул. — Пожалуй, уже завершилось. Пойду. Спасибо за хлеб-соль. Вкусно готовишь, щедро.

Поздно вечером вернулся Гранитов. Прошёл в кухонный закуток, где разогревала хозяйка ужин, произнёс мрачно:

— Убили сына фельдшера станции Обь, Яковом его звали.

— О господи, бедный Коган! Он-то в тюрьме, выживет ли, узнав? За что?

— Кто и за что — дело тёмное. Тигроян убеждён, преступление — дело рук новониколаевских черносотенцев. Он с погибшим был хорошо знаком.

— Разве такие здесь есть? — удивилась хозяйка.

— Он каждого казака к черносотенцам относит... А городская молва уже приписала гибель Якова не политике, а интимной интрижке: приказчики магазина Кетова судачат, что застрелил любовника своей жены из ревности какой-то прапорщик.

Гранитов обнял хозяйку, шепнул: «Стосковался по тебе за день, милая».

— Митинга на похоронах недостаточно, — утром кричал Тигроян, — провокаторы постараются представить гибель Яшки как результат обычного бандитизма. Хуже того! Поползут лживые слухи, что убийство совершено какими-нибудь заезжими бундовцами для разжигания ненависти к русским националистам.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Бунд — наши товарищи по борьбе, — сказал Гранитов, — потому враги революции стараются их оболгать.

— Они отделились от нас на Втором партийном съезде, но по духу мы едины! — Тигроян метался по комнате. — Яков под влиянием отца стал пламенным борцом с самодержавием, говорил мне, что готов жизнь отдать за революцию, уверен — так всё и случилось. Мы должны жестоко отомстить за нашего товарища! Долго мы будем терпеть нагайки, хлещущие по нашим спинам?! Неужели не ответим власти сокрушительным ударом по её опоре — казачеству? Самые негибкие слуги царизма — казаки. Именно на них нужно направить сокрушительный удар.

— Ответим. — Гранитов поднялся, глядя на Тигрояна, отошёл в угол комнаты, закурил.

— На похоронах могут появиться погромщики, нужна усиленная охрана дружинников!

— Усиленную охрану обеспечу. Твой дальнейший план?

— План — организовать митинг в городе и применить бомбы против казачьей сотни, расквартированной недалеко от станции. Казаки, чтобы разогнать митингующих, двинутся по Михайловской, нужно заминировать в одном месте улицу и в момент прохода казачьей сотни взорвать заложенные на дороге бомбы электричеством при помощи сухих элементов. В литейном цехе железнодорожных мастерских наши люди бомбы готовят. Все размеры для изготовления у меня уже есть.

Тигроян зашел за перегородку, где находились его кровать, шкаф и этажерка для необходимых мелочей, принёс лист бумаги. Разложил лист на столе.

— Чертеж сделал Лев, используя военный справочник. В нём сказано, что такие бомбы называют «македонскими», они имеют большую разрушительную силу и достаточно большой радиус поражения.

Гранитов наклонился над столом и, насупившись, стал разглядывать чертёж

Глава девятнадцатая
ЕСЛИ БЫ...

Июнь 2024 года. Москва

Мишка влетел в комнату Анастасии Дмитриевны, едва потчав.

— Ба, ты утверждала, что прадед был меньшевик. Но вот чем он занимался, я тебе сейчас зачитаю с планшета, слушай. Это продолжение его воспоминаний:

«...Александр Тигроян передал мне сделанный Львом Бартовым чертеж модели бомбы цилиндрической формы для изготовления и отливки чугунных колец, которые должны надеваться на оболочку бомбы. Таких колец может насаживаться до десятка. Кольцо бомбы разлетается при взрыве на столько пуль, на сколько частей разделено при отливке. Убойная сила каждой бомбы равна количеству колец, умноженному на количество частей каждого чугунного кольца. Бомбы предназначались для казачьей сотни, направляющейся для разгона митинга. По заверению Тигрояна, указанные бомбы имеют большую разрушительную силу. Чертеж я должен был передать в литейный цех железнодорожных мастерских.

К сожалению, это мероприятие осуществить не удалось».

— И что?

— Он пишет, что не удалось, потому что он был арестован. Честно говоря, я обрадовался, что они казаков не грохнули. Как-то для меня неформатно ощущать себя правнуком человека, повинного в гибели людей.

— Да, ты прав. За его вину отвечали бы твой дед, твой отец и ты.

— Я нашел опубликованные воспоминания других деятелей Обской группы, утверждавших, что их всех в начале 1906 года сдал некий Пётр Струнин, агент Охранного отделения, внедрённый в Обскую группу. Один факт буквально взрывает мозг: этот Пётр на одной из маёвок лично убрал шпика. Вопрос: если он

МАРИЯ БУШУЕВА

сам был шпиком, не убил ли он как раз обычного партийца, чтобы продемонстрировать свой революционный энтузиазм и рассеять любые подозрения на свой счет? Или, если и в самом деле убитый им был провокатором, почему поступило распоряжение его физически устранить?

— Думаю, и в архиве на этот счет ничего не сохранилось. Приказать устранить агента могли, если он где-то наследил, то есть всего лишь ради сохранения агентурной сети.

— Какое дно!

— Но мог быть убит и обычный большевик.

— Причем два мемуариста утверждают, что члены Обской группы все были большевиками. И почему-то прадеда не упоминают.

— Годы воспоминаний?

— Где-то пятидесятые прошлого века. Его воспоминания написаны тогда же.

— Ничего иного они сообщить не могли. Историю революции создавали из легенд. Да и не только революции. Миф воодушевляет.

— А когда он перешёл к меньшевикам? И почему?

— «Перешёл» — не тот глагол. Скорее, склонился. Исходи из того, что в 1905 году ему исполнилось только семнадцать лет, то есть в силу возраста он мог подпадать под влияния. Был в хороших отношениях с Кировым, возможно, тот направлял его. Потом Киров покинул Сибирь — и они больше не встречались. Известным сибирским меньшевиком был некто Гутовский, сын польского повстанца. Речи Гутовского могли подействовать. Определённо ответить на вопрос, почему он склонился к меньшевистскому крылу РСДРП, сложно. Он сам в одном из писем жене об этом писал и подчёркивал, что в тюрьме на многое стал смотреть иначе. Будучи невестой, Вера Григорьевна поддерживала его, когда он был в заключении. И не упоминают его некоторые большевики, возможно, как раз потому, что слышали о его взглядах. Впрочем,

могла быть и другая причина: некоторые мемуаристы могли его просто не знать.

— Да, точно! Вот что он пишет дальше про тех, кто возглавлял боевые дружины:

«В доме Диевой или на квартире Бортова собирался штаб дружины. Я знал уполномоченных дружины только из мастерских и железнодорожного депо. Были уполномоченные и в городе, но этих товарищей мало знал и фамилии их не помню».

— А после ареста он отошёл и от активной революционной деятельности, сосредоточившись на выступлениях среди рабочих, хотя впоследствии предоставил материалы в местный музей о своём участии в первой русской революции. Скорее всего, именно из музея запросили воспоминания у него и у других членов партии. С некоторыми из них он поддерживал дружеские отношения. Илья говорил, к середине шестидесятых в живых из всей Обской группы оставалось только четверо или пятеро. Понятно, что их крепко связывали воспоминания юности и совместное участие в революционной борьбе.

— В одной книжке о большевиках, я скачал её, прадед фигурирует как член стачечного комитета. Во время забастовки Сибирской железной дороги комитет управлял движением поездов вместо руководства, отстраненного бастующими. В одном месте он назван «слесарем инструментального цеха станции Обь», во втором — телеграфистом.

— И то, и другое верно. Он рано начал работать телеграфистом, но томский комитет РСДРП направил его в Новониколаевск, его устроили в депо для агитации среди железнодорожных рабочих. Видимо, он хорошо говорил, любил выступать, любил быть на публике... А статьи и учебные пособия, которые он потом издавал, скорее всего, редактировала твоя прабабушка.

— Прабабушка Вера?

— Да, она закончила Высшие женские бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. Всю жизнь преподавала литературу.

— А кем прадед работал при советской власти?

МАРИЯ БУШУЕВА

— Он сделал неплохую карьеру — был заместителем директора крупной кооперативной организации. Любопытный факт: в этой организации какое-то время работал инструктором или возглавлял отдел Косыгин. Правда, тебе это имя вряд ли знакомо.

— Какой-то советский босс?

— Председатель Совета министров СССР.

— Ого! То есть прадед был его начальником?

— Этого я утверждать не могу, поскольку не знаю, в одно ли время они там работали.

— А во время сталинских репрессий его не загребли?

— Твой дед рассказывал, что, когда начались аресты, его отец каждую ночь, едва заметив въезжающий во двор «чёрный воронок»...

— Что за воронок?

— Так называли автомобиль, который приезжал за очередной жертвой. Похож на чёрный джип. Увидев, что во двор въезжает такая машина, твой прадед быстро покидал квартиру: в их двухэтажный дом барачного типа вели две двери, вторая — со стороны небольшого садика. Через сад он и уходил.

— Прошёл хорошую школу конспирации!

— Потом ему кто-то посоветовал уволиться — какую должность он занимал на тот момент, я не знаю, — и уехать. Он уехал вместе с женой Верой на Север, там работал ревизором по пушнине, поэтому репрессии его не коснулись. А дети в те годы жили с бабушкой, матерью Веры.

— Пушнина — это шубы?

— Ещё не шубы, а выделанные шкурки ценных зверей: норки, горностая, песца, соболя, лисы. Себе твой прадед не взял ни одной шкурки. Был честным ревизором.

— А как же с прошлым? Если он примкнул к меньшевикам, почему не протестовал, что в музее красуется как большевик?

— Он и здесь не лгал, поскольку сначала примыкал к большевикам. О сожалении, что план не удался, он упомянул в вос-

поминаниях, откачнувшись назад — как раз в свой юный большевистский период. Впрочем, мог написать и то, что тогда требовалось. Бывший революционер обязан был сожалеть о невыполнении партийного задания.

— То есть он старался не отсвечивать. К тому же скрывал, что стал меньшевиком.

— Его об этом никто не спрашивал. Советская историография отринула меньшевистское крыло как «чуждый элемент», всю Обскую группу приписав к большевикам. К тому же близкое знакомство с Кировым служило охранной грамотой революционной репутации.

— Выходит, прадед был удачник. Ему катило. Он не воевал?

— Воевал.

— Дед тоже. Я помню: был контужен на Отечественной, выжил чудом. Меня бы не было, если бы он погиб.

— Тебя бы не было, если бы и прадед погиб. Окажись он в октябре 1905 года в Томске, мог стать жертвой горожан, стихийно взбунтовавшихся против осточертевших им митингующих, призывавших разрушить монархию. Многие обычные люди хотели сохранить традиционное течение жизни, опасались либерально-радикальных перемен. Любой русский бунт, как писал Пушкин, всегда безжалостный и беспощадный. А в 1918 году в Новониколаевске твоего прадеда могли расстрелять: в городе установилась временная власть Колчака, орудовали польские легионеры, казнили без суда и следствия, не разбираясь, большевик или меньшевик. Погибло больше 30 членов РСДРП. Почти всю знаменитую семью революционеров Шамшиных расстреляли, и многих других руководителей и рядовых членов Обской группы.

— Поляки, похоже, отыгрались за то, что над ними стоял наш русский царь.

— Расстреливали не только они, колчаковские офицеры тоже милосердия к революционерам не проявляли... И на фронте

МАРИЯ БУШУЕВА

прадед твой едва не погиб. Попал осколок в лёгкое, а медпункт был походный, в нём отсутствовал хирург, отсутствовал наркоз. Дежурил один фельдшер. И этот фельдшер понял: раненый до госпиталя живым не доедет, и, чтобы его спасти, он дал ему выпить спирта вместо наркоза, выломал у него рёбра и вырвал лёгкое с осколком.

— Жесть! Как только он выжил после такой экзекуции!

— Благодаря ей и выжил. Умер через три года после рождения внука Ильи. Второе лёгкое отказало. Врачи сказали: организм его был рассчитан лет на сто.

— Сейчас бы его спасли.

— Вероятно. Себя он не берёт. А вот, когда его сын, твой дед, женился, говорил ему, что необходимо срочно найти домработницу, поскольку стоит беречь жену. Вообще не чужд был некоторых буржуазных благ. Построил хорошую дачу. Илья её осовременил, а потом отдал за долг по кредиту банку.

— А сестра прадеда? Что известно о ней?

— Александра, в доме которой устроили один из штабов Обской группы, была вдовой титулярного советника Алексея Александровича Диева, родственника священника Никодима Диева. Его сын поступил в Томский университет, а через несколько лет был расстрелян большевиками как сотрудник штаба Колчака...

— Ничего себе — как всё переплетено.

— Да, роковым образом всё переплетено в твоей, Миша, родословной. И в истории страны. К сожалению, до сих пор в сознании ряда людей продолжается битва тех давних лет. Неизжитые чувства прорываются из глубины прошлого, тени давних событий меняют ландшафт настоящего, ушедшие предки оказываются сильнее своих живых потомков...

— Жаль, прадеда я не знал. А прабабушку Веру помню.

— Дед Веры Григорьевны тоже был расстрелян большевиками. Сирота из казаков благодаря уму выбился в управляющие завода, монархист по убеждениям, которые не скрывал. Дом его

разграбили. Посчитали, наверное, очередной экспроприацией. И вряд ли Вера трагическую гибель своего деда скрывала от любимого мужа. У них было полное взаимное доверие.

— Так, может, прабабушка на него и повлияла? Она ведь не состояла в партии?

— Не состояла. Но ты удивишься: прадед тоже не был коммунистом. Не вступил. В определённом смысле до самой смерти оставался членом РСДРП.

— Почему?

— Не знаю. Илья не мог ответить на этот вопрос, в письмах тоже ничего определённого на эту тему нет... А то, что Вера благотворно на него влияла — несомненно. Есть ещё один факт, который мог бы сильно удивить большевиков Обской группы.

— Какой?

— В самые тёмные годы борьбы власти с церковью, когда расстреливали или ссылали священников, когда уничтожали иконы и православные храмы...

— Я видел кадры, как рушили храм Христа Спасителя.

— ...прадед Михаил и прабабушка Вера окрестили своих детей: сына, твоего будущего деда, и его сестру Наташу.

Глава двадцатая «ВИНОВАТ ЛЕВ ТОЛСТОЙ...»

Секретно

Начальник Томского Губернского жандармского управления

Марта 13 дня 1905 года

Прокурору Томского окружного суда

Пристав IX участка гор.Томска при отношении от 10 Марта за № 413 препроводил мне протокол от 3 Марта, из коего видно, что кондуктором Службы Движения Сибирской железной дороги г. Томска Прохором Авдеевым Каблуковым сообщено о нецензурной брошюре антиправительственного содержания

МАРИЯ БУШУЕВА

«Разве это так надо?» Л.Н. Толстого, принадлежащей отставному Титулярному Советнику Алексею Александрову Диеву. Сообщая о сем, имею честь присовокупить, что поручиком Бахеревым сего числа преступлено к формальному дознанию в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. по обвинению Диева в преступлении, предусмотренном 252 ст. Ул.

*Верно: Начальник Управления
Полковник Ромашов.*

* * *

Кондуктор Каблуков сообщил, что запрещённую брошюру «Разве это так надо?» начальник над бригадами хранит в конторе Службы Движения железной дороги. Полиция, нагрянув в контору с обыском, перевернула все столы, выпотрошила ящики, навела страху на служащих — но ничего крамольного не нашла.

— Нет у меня запрещённой литературы, — с отчаянием уверял Диев допрашивающего его поручика Бахерева, — я ж, если вы помните, научен недавним горьким опытом предыдущего дознания.

— Да всё я помню. — Поручик с тоской глянул на несчастного обвиняемого. — И, признаюсь, отмахнулся бы от вашего дела, поскольку и ранее, и сейчас испытываю к вам доверие как к человеку порядочному, случайно ставшему игрушкой в руках подлых сил. Но, сами понимаете, новое дознание начато, и я как человек государственного долга обязан его вести. Если донос Каблукова не подтвердится, дело закрою быстро. Однако хочу вас предупредить: начальник жандармского управления полковник Ромашов вынуждает меня писать начальнику Службы Движения железной дороги с изложением обвинения.

— Тоггггда мменя увволятт. — Диев, спотыкаясь на каждом согласном звуке, еле выговорил роковые для него слова. Его лицо сравнялось голубоватой белизной с бумагой на столе по-

ручика. Картины бедности, голода малых детей, крик Шурочки смешались и вихрем закрутились в его сознании.

— Скорее всего, — грустно согласился поручик, потянувшись за сигаретой. Пачка лежала рядом со стопкой бумаги. — Даже если вас оправдаю я лично, и прокурор затем подтвердит отсутствие преступления, начальство железной дороги после обыска, который наделал столько шума по тупости исполнителей, решит перестраховаться, и вас как лицо, ставшее сомнительным...

Диев пытался достать носовой платок. По его впалым щекам потекли две тонкие струйки. «То ли вспотел от волнения, то ли плачет, как ребенок», — подумал Бахерев, отводя взгляд от лица Диева и вынимая из пачки сигарету.

— Не выполнить приказа не имею права. Но постараюсь оттянуть исполнение, давая возможность вам предпринять какие-то защитные действия, к примеру, сообщить начальству железной дороги о злоупотреблениях по службе кондуктора... как его? — Бахерев глянул в протокол допроса. — Каблукова и заверить, что именно в этом причина его клеветы на вас.

— Как порядочный человек я не могу его оболгать, он — один из лучших работников. — Диев перестал спотыкаться на согласных. В нём вызревало какое-то решение, какое — он ещё не понимал сам, но чувствовал его успокаивающее колыхание.

— Что ещё раз подтверждает моё хорошее мнение о вас. На сегодня вы свободны.

Когда отставной титулярный советник ушёл, поручик позвонил полковнику Ромашову и сообщил, что, по всей видимости, кондуктор Каблуков из мести за какое-нибудь замечание оговорил обвиняемого Диева.

— Дознание продолжайте, второй донос всё-таки — не бывает дыма без огня. Нужно нащупать нити связей обвиняемого. А Каблукова предлагаю сделать нашим осведомителем, — сказал Ромашов. — Мы с вами, поручик, прекрасно понимаем, что

МАРИЯ БУШУЕВА

все доносчики и провокаторы — отъявленные мерзавцы. К несчастью, нам такие люди сейчас нужны.

«Именно к несчастью», — подумал Бахерев, но промолчал.

— Особое внимание уделите возможной связи Диева с неким Гаевым. По данным нашего сотрудника, внедрённого в комитет преступной партии социал-демократов, Гаев, вступивший в партию не так давно, крайне быстро стал играть у них ведущие роли. Их интеллигенты менее опасны, интеллигент всё выбалтывает сам, а вот Гаев — выходец из низов, человек рискованный и, как говорят, очень способный, фигура по-настоящему опасная. Ему прочат большое будущее.

— Большое будущее на каторге? — съязвил Бахерев.

— В истории, подручик.

— Недавно мне приснилось, что я на корабле, начинается шторм, а вместо капитана кораблём управляет пьяный матрос. Если предположить, что корабль — символ истории России, тогда Гаев...

— Мы с вами не гимназистки, чтобы рассуждать о снах! — резко прервал Бахерева Ромашов. — Займитесь версией: Диев-Гаев. И поторопитесь. Зреет что-то опасное в городе, какой-то подземный вулкан...

Диев брёл по весеннему Томску. Он был настолько сейчас далёк от городской жизни: мельтешения прохожих, грохочущих экипажей, иногда просигналившей машины — в Томске появились первые автомобили — что казался себе невидимым. Успокаивающее колыхание в его душе точно затвердело, приняв какую-то определённую форму, но какую именно — Диеву разглядеть не удавалось. Его взгляд, обращённый в себя, натыкался на острый угол и, отпрянув, начинал плутать в памяти. Набегали, как волны, обрывки воспоминаний, сплетаясь в нечто туманное и тут же распадаясь то на брызги детских слёз, то на робкую улыбку матери, то на крики Шурочки, почему-то отдалившиеся и теперь звучащие, словно из далё-

кого прошлого. Над волнами воспоминаний вдруг поднялась и встала странная мысль: а ведь он, Алексей Александрович Диев, вот так же, как сейчас бродит по Томску, блуждал по жизни, по сути, оставаясь невидимым самому себе. Сочувственное уважение поручика Бахерева относилось к тому настоящему Диеву, какой проступал сейчас, оттесняя Диева невидимого и не узнанного никем.

Внезапный шум и крики заставили Диева остановиться на улице, называющейся Московским трактом. Недалеко от Королёвского театра собралась толпа: оказывается, несущимся экипажем была сбита женщина. Прохожие то подходили, то отходили, Диев тоже зачем-то подошел и вслушался в обсуждение случившегося. Извозчика, пытавшегося скрыться, вернула полиция. Он, размахивая руками, старался оправдаться, сваливая вину на жертву, которая уже была мертва. Погибшую узнала случайно проходившая прачка: «То ж Дуся, — объявила она, горничная вдовы Еремеевой, бельё им стираю».

Диева поразили контраст между трагедией гибели и обыденностью разговоров зевак. Застывшие глаза горничной смотрели в небо, а кто-то, отвлечшись от происшедшего, вяло поругивал извозчиков, кто-то жаловался на плохо мощёные улицы, какая-то особа дородностью похожая на купчиху, выпытывала у прачки, скользко та берёт за стирку кружева... «Не останется в мире и следа этой горничной, кроме отчёта о происшествии в полицейском архиве», — подумал Диев и пошёл дальше. Если не родила она детей, то и помянуть её будет некому. Горькое чувство жалости к погибшей внезапно сменилось другим, не совсем понятным чувством — чувством собственного освобождения. Освобождения от всего. И мысль, на острый угол которой он натёкался, отчего отступал и не мог эту мысль увидеть, открылась ему в своей ясности и простоте: если Диева не станет, пока он не уволен, дети и Шурочка не окажутся отверженными. Шурочка назовётся вдовой не сомнительного безработного, а служащего — пусть маленького, но всё-таки начальника

кондукторских бригад железной дороги, дети получают право на образование за счет городской казны. Стать хворостом, чтобы обогреть дом? По спине Диева пробежала дрожь. Не важнее ли выдержать все испытания жизни, обретая в этом испытании себя подлинного, не в этом ли высший смысл жизни и долг человека перед Создателем?

— Алексей! — из остановившегося экипажа Диева окликнул Никодим. — Я к матушке еду. Не желаешь со мной? Старушка будет очень тебе рада.

— Нет, нет, спасибо, — торопливо махнул рукой Диев. — Кланяйся Стефаниде Акинфиевне.

Кучер взмахнул хлыстом, экипаж помчался дальше.

Не было ли явление священника Никодима предупреждающим знаком о грехе? Но разве жертва не очищает, не снимает оболочку греха, обнажая во тьме свет? Диев забрёл в парк, сел на влажную скамейку. Да, мысль об освобождении греховна. Его тащит в бездну тёмная сила... Каркнула ворона, ей откликнулась другая. В сознании Диева снова закружились ужасы: рыдания Шурочки, нищета, голод детей, позор униженных... Он вскочил со скамейки и побежал. Нужно рассказать Мишке о вторичном дознании.

Мишка только что вернулся с работы. Весь день проверял исправность линии телеграфа. Он продрог, был голоден и с досадой сообщил, что партийный комитет настаивает на его отправке в Новониколаевск на постоянное жительство. Видите ли, там недостаёт пропагандистов и организаторов. Рассказ Диева о кондукторе Каблукове и вторичном дознании Мишка выслушал молча.

— Меня, скорее всего, теперь уволят.

— Допрыгался, значит, воробей, сто раз я пожалел, что втянул вас. Кто ведёт дознание?

— Поручик Бахерев. Хороший человек.

Мишка глянул на мужа сестры со скептической усмешкой.

...Утром следующего дня полковника Ромашова разбудил звонок поручика Бахерева, сообщившего, что дознание по обвинению Диева в преступлении, предусмотренном 252-й статьёй, придётся закрыть по причине внезапной смерти обвиняемого.

— Что с ним случилось? — подавляя зевоту, поинтересовался полковник.

— Он отравился сулемой. Был вечером у родственницы, у нее на окне стояла бутылка с этой отравой, приготовленная её племянницей — госпитальной сестрой милосердия, для каких-то медицинских целей. Есть мнение, что сулема в малых дозах помогает от самых тяжёлых заболеваний. Диев выпил всё содержимое. Смерть наступила быстро, так что сильно он не мучился.

— Ваша версия случившегося?

— Как раз вчера во время допроса я предупредил Диева о возможном его увольнении из Службы Движения железной дороги. Видимо, он решил спасти от позора и нищеты семью, уйдя раньше. Признаюсь, — Бахерев постарался пригасить сочувственные нотки в голосе, — когда мне доложили о его смерти, у меня возникло чувство вины. Ведь ничего противоправительственного обыск в конторе не обнаружил.

— Виноваты в смерти Диева не ваши слова об увольнении, поручик. Виноват в его смерти Лев Толстой.

Глава двадцать первая АРЕСТ

Апрель 1906 года. Ново-Николаевск

В апреле 1905 года, через месяц после смерти мужа, Шурочка переехала в Новониколаевск. Поселилась на Переселенческой улице, недалеко от вокзала. Девочки Ирочка и Стеша сначала оставались в деревне со Стефанидой Акинфиевной, но к осени старушка разболелась, и Шурочка забрала их в город. Ей пришлось на новом месте начинать совершенно новую, незнакомую

МАРИЯ БУШУЄВА

жизнь, сразу упёршуюся в главную проблему — отсутствие денег. От Диева остались только несколько книг и тетрадка с его первыми, ещё пензенскими, стихотворными опытами. Небольшие средства, какие Шурочке удалось получить как вдове, все ушли за квартиру. Не осталось даже на одежонку детям. В Новониколаевске Шурочка потеряла себя прежнюю: небогатую, но достаточно благополучную женщину. Вместе с прежним образом жизни как-то незаметно потерялось и её имя: все квартиранты, — она стала сдавать комнаты и передавать запрещённую литературу членам РСДРП, — звали её хозяйкой. И ставший близким большевик Гранитов, руководитель боевой дружины Обской группы РСДРП, тоже звал или хозяйкой, или просто своей милой.

В сентябре из Томска в Новониколаевск по направлению Томского партийного комитета переехал Мишка. Поселился у сестры. Его тоже никто здесь Мишкой не звал, впрочем, партийный псевдоним Котов, быстро сократившийся до Кота, нравился ему самому. Их имена возвращались только в те редкие минуты, когда брат и сестра оказывались в доме одни. Вместе выброшенные из прошлого, они сблизились, приоткрывая друг другу те уголки души, какие вряд ли бы обнаружили у себя ранее. Как-то Шурочка показала брату тетрадку со стихами, оставшуюся от покойного Диева. Мишка пролистал. Одно стихотворение, с посвящение неведомой К., ему понравилось, и он зачитал его вслух:

Ланиты ваши заалели,
И сердце дрогнуло моё.
Неужто вместе по аллее
Пройдём когда-нибудь вдвоём?
Неужто ваших губ дыханье
Смогу поймать я, точно снег,
И нежных пальчиков касанье
Неужто сделает навек

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

Меня счастливым?
Боже правый!
Надежду сохрани в тиши,
И всех сомнений глас лукавый
Ты выньми из моей души.

— Это не про меня он сочинил, — сказала Шурочка, и Мишка заметил, что у сестры появилась глубокая морщина между чёрных стрел бровей, — какой-то пензенской своей возлюбленной посвятил, девушке, видно, возвышенной. А я ведь, Миш, грубая. У меня, похоже, и души-то до его смерти не было: одни материнские и бабьи инстинкты. А похоронила — и точно воробушек поселился внутри, прямо в сердце клювиком иногда стучит. И я поняла: это душа моя прорезалась из тьмы натуры, теперь есть она у меня, оттого я и свой крест несу без прежнего раздражения и зла. Тяжело после жизни барыни, — я ведь при муже и дня не работала, белья своего не стирала, ты помнишь, и готовила нам кухарка, — а теперь стою с пирогами на ветру у станции, как простая торговка, а воробушек внутри трепыхается и учит: терпи ради меня... Когда появился Гранитов, ты видишь, каким чувством ко мне он горит, почудилось мне, что это наш бедный Диев и послал его мне в облегчение ради детишек. И не поверишь: призрак его вижу, только Гранитов с объятиями, призрак тут как тут, стоит и смотрит на меня, видно, ревнует, хотя сам же его мне в помощь послал, а воробушек внутри меня клювиком по сердцу: тук-тук-тук.

В конце октября Гранитов приехал из Томска с плохими вестями. В Новониколаевске уже знали о страшных октябрьских событиях, но рассказ оказался страшнее. Крушил народ, не желающий в обществе перемен, уставший от нескончаемых стачек и демонстраций, всё, что попадало ему на пути. Напрасно епископ Макарий пытался остановить разъярённую, потерявшую человеческий облик толпу. Толпа, обратившись в многорукое и многоногое, но безголовое чудовище сожгла Королёвский театр вместе с людьми, собравшимися в нём на митинг,

МАРИЯ БУШУЕВА

избивала случайных прохожих, горе, если попадался на её пути юноша в студенческой фуражке или гражданин интеллигентного вида. Чудовище громило магазины и лавки: русские, еврейские, татарские, — разгромило и дом городского головы Макушина, столько хорошего и полезного делавшего для города. Макушин вынужден был бежать.

В апреле Мишка съездил в Томск.

— Людей много погибло, народ пришёл в себя, раскаялся да поздно, мёртвых не воскресить, — вернувшись, сказал Шурочке, — окажись я в октябре в Томске, точно был бы в моём любимом театре.

— Всё потому, что не хочет простой народ революции, это мы с тобой его учим против царя идти. — Шурочка произнесла эту фразу шепотом, точно Гранитов был где-то поблизости и мог с гневом обрушиться на неё за крамольную мысль.

— Нас тоже учат, — сказал Мишка, — а недовольных порядками много.

— Ой господи! — воскликнула Шурочка. — Сейчас ведь столовники прибегут. Сегодня и Юзек к ним присоединится, он опять будет у меня кормиться. Гранитов сказал: в магазине Кетова что-то о Юзеке пронюхали, он срочно уволился и устроился в мебельный цех... А я еще обед не разогрела.

Вскоре пришли рабочий мельницы Пётр и прихрамывающий Антон, токарь из мастерских железной дороги. Хозяйка уже знала: оба — члены Обской группы. Красивый слесарь Егор теперь обедал где-то в другом месте.

Минут через пятнадцать влетел в столовую Юзек. Он только что вернулся из Иркутска и стал рассказывать о покушении на иркутского жандарма. Юзек осуждал промахнувшегося неудачника-эсера.

— Научился бы сначала стрельбе!

— Мы проходили на острове Медвежьем обучение, и я ни разу по мишени не промахнулся! — сказал Антон. — Не хвалюсь, говорю, как есть. Хочу быть полезным партии.

Уроки стрельбы руководители боевых дружин проводили с мая по октябрь. Выезжали на лодке: один из членов Обской группы оставлял её на берегу реки недалеко от станции.

— Говорят, в Томске погиб жандармский поручик Бахерев, — прищурившись, точно от яркого света, проговорил Пётр, быстро глянув на сидящего напротив брата хозяйки, — утверждать наверняка не могу, но слух о его гибели прошёл.

— Убили эсеры? — спросил Юзек.

— Нет, при погроме.

— Если погиб, туда ему и дорога! — воскликнул Антон. — Я бы всю охранку взорвал, да пока не поручают! Да здравствует революция!

— Мне лично пришлось на майской маёвке убрать шпика. — На плосковатом лице Петра выступили алые пятна, — вы, Кот, были в Томске и, похоже, не в курсе. Мы собрались, как всегда, на берегу Нижней Ельцовки, человек сто, не меньше, присутствовали рабочие депо, несколько приказчиков, один гимназист, куда-то с тех пор пропавший, конечно, Гранитов с боевой дружиной, в которую входил и я. Разведка сообщила, что на маёвку проник шпик по фамилии Липин.

— Фамилия прямо для провокатора, — заметил Антон.

— Кормит теперь рыбок на дне Ельцовочки...

Глянув на горделиво усмехающегося Петра, Мишка встал из-за стола, не доев обеда, накинул пальто и вышел на улицу.

— Всех бы их в Ельцовочку! — донесся до него выкрик Антона.

Он бродил по городу, понимая, что разговор за обедом что-то сломал в картине мира, сложившейся в его сознании. По изображению поползли трещины. Упоминание поручика Бахерева вернуло чувство вины перед покойным мужем Шурочки. Такой был чистый человек Алексей Александрович... Но чувство вины жило в душе давно, то затихая, то снова давая о себе знать в минуты, когда он видел сестру, собирающую корзинку с едой перед своим долгим стоянием на привокзальной площади. Кар-

тину мира нарушило нечто иное. И он, дойдя до собора Михаила Архангела, догадался: трещины поползли от рассказа дружинника Петра. Следом за догадкой потянулась телеграфная лента тревожных вопросов: однажды в Томске я понял, что не способен убить, выходит, не по пути мне с теми, кто готов на всё ради победы революции? Тогда отчего я так охотно согласился передать литейщикам чертежи бомб? Хотел быть нужным делу партии? Считал план всего лишь рискованной игрой? Или что-то мне подсказывало: бомбы так и останутся только чертежами, а я, выполняя задание, приобрету авторитет для дальнейшей революционной борьбы? Но разве не правы те, кто считает, что цель революции достигнута 17 октября Манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка»? Некоторые члены томского меньшевистского крыла говорят на собраниях, что удовлетворены наметившимися демократическими переменами: созданием парламента, представленными свободами слова, печати, собраний... В результате реформ, доказывают они, царизм отомрёт сам. Правы они или нет?

Мишка зашёл в собор и сразу вспомнил, что консервативный журнал «Новое время» неожиданно для всех поддержал «Манифест». На тёмной старой иконе Николая Угодника задрожал отсвет зажжённой свечи. «Сибирская жизнь» тоже полна надежд на перемены в обществе, и «Русский кружок», в который входил Никодим Диев, после 17 октября самораспустился. А большевики, наоборот, всячески пытаются опорочить любые демократические шаги власти, призывают не верить в обманные царские обещания, Гранитов, стуча кулаком, негодует: «Манифест» — ядовитая ложь!» Тигроян свою подрывную идею не оставил, несмотря на то что Лебедев с ним спорит, доказывая, что Обская группа не должна скатываться в террор. Чертежи бомб пока так и валяются в ящике стола.

Чертежи, найденные полицией, и стали важной уликой при аресте Михаила Гаврилова. Арестованы были не только два квартиранта дома на Переселенческой и столовавшие рабо-

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ

чие — в тюрьму отправилось восемьдесят членов РСДРП. Полиция нашла подпольную типографию, изъяла патроны, наганы, взрывчатые вещества, хранящиеся в квартире, где временно проживал Лев Бартов, нашла запрещённые прокламации у Юзека Кацинского, захватила революционеров Шамшиных и Шамшуриных, Лебедева и его жену. Всем арестованным было ясно: в рядах Обской группы хорошо поработал провокатор. А, возможно, и не один.

Шурочку не тронули. Новониколаевск относился к Томскому жандармскому Управлению, и руководящий дознанием полковник Ромашов получил от допрашиваемых показания, что вдова отставного титулярного советника Алексея Александровича Диева никакого отношения к Обской группе не имела, по бедности сдавая углы квартиры. Однако убедили полковника, помнившего дело Диева, отнюдь не слова ненавидимых им революционеров, а свидетельство опытного агента, столовавшегося в течение определённого срока у Александры Ильиничны Диевой.

...Шурочка смотрела в ночное окно на своё отражение. В волосах её появились седые пряди, они белели на чёрном стекле, словно прочерченные лунным светом. Дети спали. Дом устало поскрипывал в тишине. В отсутствие Гранитова исчез и призрак. А воробушек в её груди то вспархивал надеждой на что-то светлое, ожидающее впереди, то тыкался клювиком в самое её сердце, не давая забыть, что она, Шурочка, обрета воробушка, стала совсем другой.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

Минувшее меня объемлет живо...

А.С. Пушкин

«...живущий лишь материальным слит с материей, его пространство — часть материального мира и обречено на полный распад после его смерти. Но «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное», — учил апостол Павел. И каждому дан шанс обрести при жизни тело духа. Оно не может быть украдено — только самостоятельно возвращено, как дерево в твоём собственном саду, с помощью духовных помощников.

Если в тяжёлый час сумерек души ты внезапно почувствуешь, что тебя окутало поле света, доброты и любви — и сердце, как инструмент, вновь настроилось на музыку жизни, — значит, твой духовный помощник с тобой. Чаще встреча с ним происходит во сне, но может случиться и наяву, к примеру, он пройдет мимо окна кафе, где вы сидите с другом или...»

Журналист по профессии, моя бабушка Ю. не расставалась с любимым синим блокнотом, всегда лежавшим на её тахте, под чуть примятой подушкой. Эта незавершенная запись была в нём последней.

* * *

Вижу этот крохотный слабый огонёк на темном, почти чёрном, необозримом пространстве снегов, мне кажется, что он медленно движется, отражаясь в ночном небе. Вот он ближе, ближе, уже можно разглядеть, что это свет узенького оконца деревянной избы-церквушки, в которой стоит и молится маленький, сутулый русский священник.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

— Что занесло вас, батюшка, в приобские снега? — Это я спрашиваю его через три века. Там сейчас 1728 год.

Он вздрагивает и озирается: избушка-церковь пуста, темны углы, лишь на суровых иконах блуждают отблески огня, оттого кажется, что лик Николая Угодника совсем живой. От одиночества ведь что ни померещится, вот и голос женский прозвучал.

Что занесло...

Дверь скрипнула. Господи, не разбойник ли? Да нет, спаси, Господи, толмач это Ипат Актамаков, мимо на собаках мчался, вот и заглянул на огонёк. Взгляд весёлый у толмача. Он и к шаману ходит. И отца Никифора чтит. Небось от шамана-то утаил, что окрестился недавно. На всех местных наречиях легко говорит, с вогулами, зырянами и самоедами, вот и русский освоил, когда окрестился, никто не понуждал, по царскому указу ведь «буде которые иноземцы похотят креститься в православную веру волею своею, и их велеть принимать и крестить, а неволею никаких иноземцев крестить не велеть...», по душевному, то есть велению, а получил кафтан в дар и сапоги. А по-русски говорит лучше иного казака из черкас.

— Доброй ночи, отец Никифор. Благослови на доброе дело: хочу до Тобольска завтра ехать, мягкую рухлядь там продать, кормить детей надо.

— Пюв латтен, амнане, элпын апостольской торымквалне шуншан?

— Шуншам*.

— Помолись. Благословлю на путь-дорожку.

Из темных углов шорохи слышатся. Мыши, должно быть. И откуда берутся они в тундре заснеженной? Где человек осел, там и с ним мелкая божья сия серость. Да и то веселее, когда ни жены, ни детей. Ледяная земля, пустое гудящее пространство — лишь суровые ветры с Оби-реки долетают сюда и летят потом до серых хребтов Рай-Из...

* — Скажи мне, чадо, веруешь ли во апостольскую церковь?

— Верую.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Пошли, Ипат, в мой закуток...

Гудит священнический домишко от обских ветров по ночам, точно жалуется: не место здесь русской избе, в обдорских снегах.

— Садись, садись, Ипат, почаевничаем. В Тобольске моим родителям кланяйся. Скажи, жив я, пока не нашла меня жестокая стрела, как моего отца, который с самим митрополитом Филофеем по юртам остяцким ездил... Бог помог — только молитвенно сложенные ладони пронзила, когда он молился, подплывая на лодке к вашему остяцкому берегу. Усердство батюшка мой являл, желая обратить в христьянство население обских юрт... А митрополит наш тогда уж в схиме был именем Феодор...

— Так вот оно что, понимаю я, отец Никифор из Тобольска, а в Тобольск что его привело? Какого роду-племени маленький, сутулый священник?

— Славно, что заехал ты ко мне, Ипат. Совсем от одиночества я духом скудею, вот аж голос бабий слышу, будто спрашивает, какого я роду-племени. Такое в тундре у многих русских случается, тундра на пришлого человека морок наводит, а как речь живую услышишь, морок оставляет. Слава тебе господи, скоро здесь не изба моя будет, а церковь возведут, чуть поодаль, там, где ваш крещёный князец Тайшин жительство имеет... А от одиночества меня молитва спасает. С пресветлым Христом беседу веду. Он и во сне ко мне приходит, ласково так смотрит...

— Да и я бы спросил, батюшка, как в наши края ты попал?

— Это, сын мой, само провидение, задолго до Филофея был митрополитом тут Киприан, с собой привез он московских черных да белых попов с их семьями, всех супротив их воли, стены оне, и кто ещё по пути обманул бдительность Киприана да сбежал обратно, а кто не сумел и до Тобольска остался — судьбу проклинал, что сюда в холодный чужой край на испытания отправил. Один вскоре здесь помер, и вдова его следом ушла, оставили они сиротой мальчонку, вот от мальчонки того корень и побег дал. Так времечко русское на сибирское в моем роду

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

поменялось... После сюда киевские попы присланы были с митрополитом, дай вспомнить, как его величали, это еще до Филофея... запаматовал. А отец мой женился на дочери киевского певчего, того уже митрополит Филофей взял с собой... Певчие были не все монахи, кто постарше с семьей в Сибирь попал. Да не всё тут ладно: матушку мою больно любил другой Филофеев певчий, молодой совсем послушник, Иоаким, от любви своей пострига он не принял, жениться возмечтал, священником стал, а тут ему мой батюшка дорогу и перешёл, любовь у них случилась. После взял в жены Иоаким другую, да живут плохо, а сын его младший, Пётр, третий год как пономарь у отца в Тобольске... Иоаким сильно тяготится, что у счастливого соперника отрок его на побегушках, ненавистью и обидой пылает, всяческие козни моему батюшке строит, и недоросль той же бесовской тропой ступает, а ведь каженный божий день не попреки, а доброе слово да еду вкусную, попадьею сготовленную, от моего отца видит. Преставился прежний отцов пономарь, славной души был. Не может Иоаким-недруг забыть загубленного счастья, а чем батюшка мой виноват? И, коли вера православная от сердца идет, простить бы должен...

— Выходит, так.

— И вот что недавно Бог мне открыл: сильная обида Иоакима, его ненависть — рана назаживающая не одного его, а, выходит, и моя, может, и всего моего рода, у меня дочка растёт, сейчас в Тобольске у деда с бабушкой, я добрую кормилицу ей просил сыскать вместо, значит, во младости своей отошедшей в мир иной моей дорогой попадьи, сыночка-то нашего до дюжины годков ето страданица вырастила, он сейчас уже дьячок в Березове, а доченьку младенцем мне оставила, сильно чувствительная была, видела однажды, как остяк из сырой рыбы внутренности выедает, в забытье впала. Вот и надеялся на добрую женщину, коли такую найду, тогда и дочка с нами жить станет. И сдаётся мне, что и мою матушку, и меня, мы ведь с нею были едина душа, пронзила, как отца моего стрела остяцкая, злая рев-

МАРИЯ БУШУЄВА

ность Иоакима, её погубила, а мне рану нанесла, оттого скорбь во мне ежечасная, так рана сия все болит, все гноится и зарубцуется, о-о-ох, чую, очень нескоро...

— Отец Никифор, откровенно скажу тебе: рана твоя от стрелы все той же — тадыма, шамана: отца твоего не сгубила, однако, по-прежнему в твой славный род стрела метит, жаждет погубить всё твоё древо, через глазницы сына Иоакима, пономаря, в тебя целится, наслал на него ненависть шаман, сделать это легко было посредством Иоакимовой давней обиды, за обиду ненависть зацепилась. А шаман, как ветер...

— На то молитва защитная есть, Ипат. Да и зла я на шамана в сердце вовсе не держу. Он ведь веру свою защищал, древних богов своих, коих мы идолами зовем, оттого остяков поднял на Филофея и нас по вере своей судит. К тому ж моя жена-то родная была русской по отцу, ларёшному Тверитинову, а у матери ее половина крови — кондинская...

«Ларёшный» — это, наверное, от слова «ларь», совсем не к месту спросила я и улыбнулась, вспомнив сюжет про машину времени из старой комедии. Искусство интуитивно угадывает необъяснимое, сокрытое от рационального ума, но обеспокоенный рациональный ум стремится тут же избавиться от смутно угаданного — порой и с помощью юмора — кратковременного торжества жизни над смертью.

Оба: маленький сутулый священник и длинноволосый толмач — одновременно тревожно друг на друга глянули.

— Отец Никотор, ты слышал?

— Слышал, Ипат.

— Это духи тебя пугают. Осенью шаман вызвал их, чтобы сразились они с твоим Христом...

* * *

...Почему-то я вспомнила одного из своих одноклассников, голубоглазого, крупного, инертного блондина, медвежьи движения которого никогда не совпадали с общим темпом класса,

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

точно все участвуют в кроссе, а Олег очень медленно идёт по соседней параллельной дорожке, из-за странного временного смещения от бегущих не отставая. Он занимался каким-то тяжёлым спортом, точно никто не знал каким: одни приписывали ему тренировки в секции самбо, другие — упорную борьбу со штангой. Имя его тоже казалось увесистым — возможно, утяжеляло его звучание напластование уже известных мне исторических и литературных ассоциаций. Физическая сила сочеталась у Олега с сильнейшей робостью на уроках. Преподаватели предпочитали его ни о чём не спрашивать: учился он и соображал хорошо, но долгую паузу между вопросом учителя и его ответом не мог выдержать никто. Удивительно, что мальчишки нашего «элитного класса «А», где процветало издевательство над wybranymi раз и навсегда двумя жертвами: толстой девочкой, носившей ручки в пенале еще своего дедушки и прозванной «сарделькой», и коротконогим сыном одинокой почтальонши, к которому припечатали, разумеется, кличку Такса, Олега никогда не высмеивали. Никто ни разу даже не усмехнулся, когда он, вызванный отвечать новым преподавателем, ещё не разобравшись, who is who, минут десять пытался преодолеть робость: тихий голос запинаясь о самого себя, слова путались, точно глупые малыши под ногами у взрослого, и в самом Олеге в эти для него трудные минуты проступало что-то даже не малышное, а грудничковое, казалось, изо рта этого огромного младенца вместо слов вот-вот начнут выдуваться бессмысленные пузыри. Зато падающий на пол пенал вызывал в классе гомерический хохот, ликующий стук кулаков о парты и крики: «Сарделька, продай антиквариат!»

Вряд ли Олег за пределами школы продемонстрировал кому-то из одноклассников свои мускулы, скорее всего, его мужская вибрирующая сила просто улавливалась их низшим локатором, тем самым, что заставляет оленей сцепляться рогами, но никогда не даст оленю напасть на тигра. В классе об Олеге вообще мало что знали, он ни с кем не дружил, мне было известно

МАРИЯ БУШУЄВА

и того меньше: из интеллигентной семьи: мама — терапевт, отец — кандидат каких-то технаук. И все. Влюбленная в красавца-украинца с ахматовской фамилией Горенко, в чём, разумеется, угадывала некий тайный романтический знак жизненного пути, я вообще не обратила бы на Олега внимания, если бы не одна странность: он меня сильно не любил. Его нелюбовь ко мне, ни в чем конкретном не проявляясь, ощущалась мной, как невидимая враждебная эманация. Я постоянно чувствовала спиной холодящий взгляд (Олег сидел в другом ряду, возле окна), взгляд неприятный, недружелюбный. Если бы Олег был по-детски в меня влюблён и насмешливо отвергнут, его неприязнь имела бы прочные основания. Но я точно знала, что антипатична ему просто так, без всяких на то причин, наверное, он и сам, если порой размышлял на эту тему, не мог понять — почему... Мы с Олегом никогда не подходили близко друг к другу на переменах, и сторонний, не сильно чувствительный человек не смог бы угадать, что между мной и голубоглазым блондином существует какая-то непонятная связь. Однажды, уже в последние школьные дни, перед выпускным, в очередной раз ощутив спиной враждебный взгляд, я почему-то подумала, что неприязнь существует как бы отдельно от Олега, возможно, даже она родилась раньше, чем мы с ним встретились в школе, он лишь почему-то заполняется ею. «Сколько таких чувств, необъяснимых разумом, управляет людьми!» — записала я тогда в дневнике. Усиливало нелюбовь Олега и превращало её в скрытую ненависть — как ни парадоксально это прозвучит — отсутствие взаимности: я не чувствовала к нему ни капли ответной нелюбви (почему-то я вообще не умею ненавидеть), лишь иногда, вспомнив из-за холода между лопатками о непонятном его отношении ко мне, оглядывалась и проводила по его лицу удивленным взглядом или в те минуты, когда младенческие пузыри пробуждали во мне жалость, могла мельком подумать о нём даже сочувственно. Но превратило неприязнь Олега в идею-фикс не отсутствие ответной нелюбви — непоборимая мощь власти

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

чувства, привязывающего его ко мне, исходила из другого источника. Это я поняла много позже, уже окончив институт, потом второй, выйдя замуж, разведясь... И не желая встречать никого из одноклассников даже в сетевом пространстве.

* * *

Рассказал одинокий маленький священник толмачу Актамакову о своем отце истинную правду. Но не всю. Возможно, старик и сам недоговаривал, стыдясь признаться сыну, что, получив сквозную рану ладоней, не простил подговорённых князьями остяков, не сокрыл происшедшее, а, всею душой вознегодовав, возвернувшись в Тобольск, малодушно донёс самому князю Гагарину, чьи лошади, как поговаривали, звенели серебряными подковами, о нападении на судно схимонаха Феодора, что было властью названо бунтом, а посему воспротивившиеся крещению остяцкие князцы арестованы и отправлены в Берёзов. Примирился отец Иоанн с князцами по увещанию самого схимонаха Феодора, пришёл после долгого разговора с ним к Гагарину и челом бил, чтобы остяков отпустили. И верно — вскоре их освободили. А вот простить сердцем князца, в него стрелявшего, так старик и не смог: не потому ли, хоть дыры-то от стрелы давно стянулись, и дикий свист, сквозь них прошедший, умчался, сами пальцы правой руки согнулись, точно собрались в каменное троеперстие, навек застывшее?.. Хотел он уже отойти на покой, прося митрополита освободить его по немощи членов от дальних поездок по юртам, но как-то проснувшись ночью, вдруг да и воспринял застывшую в троеперстие длань как Божий знак: мол, до скончания дней своих крестить тебе народ сибирский во искупление того, что до сих пор сих детей тундры не сумел сердцем простить, и остался отец Иоанн служить, приспособившись все делать левой рукой, а правую когда прятать, когда у груди держать. Но, к счастью, отца Иоанна как заказчика из Тобольска в дальние юрты больше не призывали. Схимонах Феодор ушел в монастырь, люди сказывали, помер там от голода, ибо за прав-

МАРИЯ БУШУЕВА

дивое суровое слово не любили его ни лживые суды тобольские, ни большой властью облачённые его недруги: назначенную самим Петром годовую пенсию в 200 рублей не выплачивали, хлеба ему не отправляли, заморили старого иеромонаха. А помощник его, отец Иоанн, крестил ныне остяков с татарами, торгующих в Тобольске, и даже двух пленных шведов сподобился, одного из коих потом владыка Антоний в диаконы определил, а другой, с царским имечком Карл, по Березовскому заказу служил теперь надзирателем над новокрещёнами, остяками и самоедами.

Оставшаяся без матери внучка подросла: стала во всем помогать бабушке-попадье. Троеперстие дедово она однажды ласково назвала птичкой.

— Ох, уж и выдумщица ты, Стешенька, — улыбнулся отец Иоанн. — От раны остяцкой скорбная длань в троеперстие собралась.

— Птичка Сирин, дедушка... Мне Петруша-пономарь картинки в большой твоей книге показывал, на колени сажал и яблоком угощал. Ласковый он. Обещал после показать что-то еще занятнее.

Ах ты, бес-искуситель! Старик побледнел, но ни слова не промолвил. Подозрительно все сие. Не жди добра от сына врага. И следующим утром был уже у архиепископа. Долго тот не принимал, важными делами, видно, озабоченный, лишь к вечеру принял и все выслушал. Не утаил Иоанн от него ни вражду пономарскую, ни отца его, Иоакима, давнюю ненависть, о причинах, правда, говорить не стал: любовь и ревность — чувства сложные, неподсудные, мало ли как отнесется к сей причине архиерей, мог ведь и сам когда-то в юности дальней до монашеского пострига быть отвергнутым девицей, — и слёзно просил, чтобы другого пономаря вместо Петра ему прислали ввиду несхожести нравов, препятствующих доброму пастырскому служению. А Петрушку пристроить бы куда-нибудь писарем. Грамотой он владеет, хоть и к церковному смирению не склонен. Владыка обещал. В конце беседы подвел он отца Иоанна к окну,

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

погляди, сказал, на небо: то не тучи, а чёрные стрелы летят сплошным потоком. Вот она, вражда людская. А я мысленной молитвой и любовью к земле сей трудной, мне доверенной для просвещения, тучи разведу, следи! И точно — скоро открылся, словно синее око самого Господа, в небе просвет. Так велика сила веры, отец Иоанн, все в руцех Божиих. А ты любовью не-навидь пономаря укротить не можешь. Стыд.

* * *

Олег позвонил мне сам.

К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое, подчиняясь голосам давно ушедших, желающих нового воплощения — воплощения в слове. Желали далеко не все. Лишь те, чья коллизия жизни оказалась как бы незавершенной. Незавершенность могла быть разного рода: невинно пострадавший горный кандидат умер, не узнав об оправдательном решении суда, следственное дело так бы и пылилось на дне провинциального хранилища, если бы он сам, вызволенный из небытия моей памятью, не попросил найти ветхие страницы в архиве, и, разобрав чужие почерка, очистить честное его имя от налипшей клеветы. Шляхтич-повстанец, отправленный в 1863 году на Нерчинскую каторгу, возжаждав отыскать исток своей внезапной сильнейшей любви к Сибири, любви даже там, за чертой небытия, до сих пор изумляющей его самого, просил вернуть его хоть на несколько дней в то давнее село, где он после каторги жил на поселении и где прислуживала ему добрая старая бурятка. Рассказать о никому неизвестном героическом поступке сельского священника, не оставившего своей церкви в страшные дни красного террора, просила из небытия его дочь, и — не ради стремления сделать тихого иерея знаменитым, а подчиняясь совсем иной цели — какой — постепенно стало проясняться, когда из небытия бочком, запинаясь порой о слишком длинную рясу, вышел мелкими шажками еще один скромный священник — отец Никифор, потянув за собой нить длиной почти в три века, на которой

МАРИЯ БУШУЄВА

горели разных лет узелки, — их мне предстояло (или доверено было?) развязать. Именно тогда в моей памяти возник вполне живой и теперь не сильно молодой одноклассник, чья нелюбовь ко мне была для меня, школьницы, загадкой, но сейчас, я поняла это внезапно, словно уловив чью-то направляющую подсказку, могла стать ключом к чему-то гораздо более важному, чем непонятная неприязнь одного человека к другому.

И в 1728 год я попала не по своей воле.

* * *

Перечитав свою фразу «К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое» и найдя глагол в ней верным, но описание сути самого погружения — недостаточным, поняла: чтобы показать все более точно, сначала нужно упомянуть одну рукопись, которая не была издана при жизни автора, советского академика Золотова, но есть в Сети и, разумеется, отнесена скептиками-ортодоксами к лженауке. Телепатия, утверждал учёный, «это область бесконечного, в которой наше сознание может соприкоснуться с бесконечным множеством точек»; в одной из глав он рассказывал о своих опытах по телепатической связи с мертвыми. Представляю, как, читая, одинаково негодуют ортодоксы: что верующие, что атеисты. Атеисты не сильно меня беспокоят, поскольку их материализм подобен убеждению человека, находящегося в доме и уверенного, что за пределами стен ничего нет, а вот чувства верующих обижать не хочется. Поэтому я напомним о двух фактах из жизни православных иерархов, один из которых, Филарет Московский, прославленный в лике святых в святительском чине, второй — архиепископ Евгений (в миру Андрей Евфимович Казанцев), по своему желанию поехавший в Tobольск и возглавлявший Tobольскую и Сибирскую епархию в первой половине XIX века. Прошение псковского архиепископа Евгения о переводе в далекую Сибирь вызвано было тремя сновидениями, в которых сначала его мать и отец — мы не знаем, были они на тот момент живы или уже

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

нет, — и духовный учитель архиепископа — митрополит Платон (Левшин), ушедший за несколько лет до своего явления во сне, «настойчиво указывали ему о необходимости просить перемещения в другую епархию, а митрополит Платон указал именно Тобольскую». Это я процитировала статью Википедии. В других источниках находим подобные примеры из жизни святителя Филарета. Как-то владыке приснился покойный отец и предупредил: «Береги 19 число», — и митрополит Московский, академик Отделения русской словесности, «19 число каждого месяца проводил особенно благоговейно, старался в этот день непременно служить литургию». Скончался святитель Филарет 19 ноября по старому стилю. Известна и другая история про митрополита: «Один священник с особенным усердием поминал за литургией покойников, так что, если кто раз подавал ему записку о поминовении, он выписывал имена усопших в свой синодик и, не говоря о том подавшем, поминал всю жизнь. При соблюдении такого правила у него составилась синодик с таким многотысячным перечнем имен, что пришлось ему разделить его на отделы и помянуть по очереди.

Случилось, что он впал в какую-то погрешность, так что ему угрожало устранение от прихода. Дело было передано московскому митрополиту Филарету, и когда преосвященный уже собирался положить резолюцию об устранении его, вдруг почувствовал какую-то тяжесть в руке. Митрополит отложил подпись журнала до следующего дня. Ночью он видит сон: перед окнами собралась толпа народа разного звания и возраста. Толпа о чем-то громко толкует и обращается с какою-то просьбою к митрополиту.

— Что вам нужно от меня, — спрашивает архипастырь, — и что вы за просители?

— Мы отшедшие души и явились к тебе с просьбой: оставь нам священника и не отстраняй его от прихода.

Впечатление этого сновидения так было велико, что Филарет не мог отделаться от него по пробуждении и велел позвать

МАРИЯ БУШУЕВА

к себе осуждённого священника. Когда тот явился, митрополит спросил его:

— Какие ты имеешь за собою добрые дела? Открой мне.

— Никаких, владыко, — отвечал священник, — достоин наказания.

— Поминаешь ли ты усопших? — спросил его митрополит.

— Как же, владыко, у меня правило: кто подаст раз записку, я уж постоянно на проскомидии вынимаю частички о них, так что прихожане ропщут, что у меня проскомидия длиннее литургии, но я уж иначе не могу.

Преосвященный ограничился переводом священника в другой приход, объяснив ему, кто был ходатаем за него». («Странник», 1862 г.)

Конечно, ни сон архиепископа Евгения, ни оба сна святителя Филарета не доказывают телепатической связи с ушедшими: первый явлен для человека верующего как Божий промысел, ответ на сердечную жажду миссионерского подвижничества, душевного знания своей трудной миссии, но нельзя отвергнуть и вероятность предошущения нежелательных, а возможно, даже трагических случайностей, грозящих жизни архиепископа, останься он во Пскове. Сон о дате кончины святителя Филарета был пророческим предвиденьем, которым обладал благочестивый старец, а другое сновидение митрополита должно воспринять в зависимости от веры либо как проявление заступничества самого Господа, либо как следствие благочестивого сострадания, свойственного владыке даже во сне, облечённого в сновидный образ толпы ушедших. Доказывают эти факты только то, что архипастыри Православной церкви считали вполне возможным последовать совету, пришедшему из потустороннего мира.

* * *

Совсем темно в тундре, на небе ни павлинова сияния, ни луны, ни звёзд, только крохотная одна звёздочка моргает над крышей, ресницы свои опускает, точно молодая попадья-покой-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

ница, то ли сон, то ли явь, обнимает нежно она, что-то шепчет ласково, слов совсем не разобрать, вроде зовёт за собой, и так на душе у отца Никифора стало тепло, с этим неясно откуда, может, и с того света, пришедшим родным теплом и проснулся...

И, встав, ощутил внезапную тревогу, ступив на холод половиц, поскорее в унты спрятал худые ноги, подошел к окошку: оно совсем заросло ледяной травой, но он и так знает: темно-темно в тундре, метёт, метёт, метёт, мелкий снег закрывает небо: не видать на нём ни сияния, ни луны, ни звезд. И, вспомнив о непроглядной ночи, даже в уютных унтах и стеганом халате сразу замерз отец Никифор. Ох-ох-ох, одно остаётся — зажечь стоящую на столе свечу да прочитать молитву «Отче наш». Что это я, как старик, подумалось: совсем от одиночества одряхлел чувствами, то ли ветры обские сквозь тело дуют, кости мои обвивая, мышцы суша. В Тобольск бы съездить, у материнской груди погреться, да на кого избушку со крестом на крыше оставить? Давно батюшку не видел, да еще письмо от матушки пришло с дурными вестями: Иоаким скончался, а перед тем сын его лампадное масло вылил, жалобу митрополиту написал, будто старик-отец привечает казака-католика Твардовского, но определило церковное начальство парамонаря не в писари, как просил отец Иоанн архиерея, а в далекое сургутское село дьячком по недостатку в северном краю причта, матушка пишет: отец Иоанн винит себя в смерти Иоакима, мол, просил Господа оградить от ненависти его и отроковых издевательств любыми средствами, вот Бог ревнивца и прибрал.

Ворота скрипнули. Господи. Кого несет нечистый? А может, ветер? По скрипу слышу — открывают. Спаси господи, не разбойник ли? И не знаешь, кого здесь больше бояться: то ли мстительных местных охотников, коих обложили со всех сторон, выжимая из них пушные дары за копейку, то ли беглых своих же русских.

В дверь стукнули.

— Кто здесь?

МАРИЯ БУШУЄВА

— Отец Никифор, Новицкий я.

— Ах, батюшки, заходи, пошто здесь оказался?

Окончил когда-то Новицкий Киевскую академию и, получив чин казачьего полковника, стал резидентом Мазепы при великом коронном гетмане Сенявском, но вскоре попал в плен и, отправленный в Сибирь, сразу написал русскому царю покаянное письмо. И после охотно участвовал в миссионерских экспедициях схимонаха Феодора, оттого с отцом Иоанном Новицкий близко знаком, даже почти дружен и всю его семью знает.

Сейчас бывший полковник был страшно бледен, не сел, упал на деревянный табурет, заплывавший под ним, точно в падучей.

— С евангельской проповедью к обдорским осяткам ездили мы с игуменом Симеоном, накинулись они на него и на меня, аки дикие звери. Убить хотели. Они и крещёным осяткам мстят жестоко. Бежали мы постыдно, по дороге с ним разминувшись: мои собаки в одну сторону, его — в другую понесли...

И тут раздался грохот: это нагнавшие Новицкого обдорские осятки срывали с петель ворота.

* * *

Мне стало страшно. И я закрылась от прошлого, в которое научилась входить с помощью случайно мной обнаруженного канала — канала эмпатического «подключения» к чувствам и состояниям тех, кто хотел бы нового воплощения в словесном пространстве, не имеющем временных ограничений. Мои прошлые объяснения всё-таки не совсем верны. Голоса ушедших не звучат, просто внезапно высвечивается в моём сознании кто-то из далёкого или не очень далёкого прошлого, мне открываются его мысли, я начинаю чувствовать его чувства, самое сильное и не изжитое из которых и заставляет его искать помощи. И я вижу, словно на экране, эпизоды из его жизни. С мёртвым такой контакт невозможен. Телепатическая и эмпатическая связь возникает не с мёртвым человеком, а с живым. Он жив не здесь, а там, в другом времени, где бесконечно му-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

чительно повторяется то, что ему не удалось завершить, приносит страдания то, что ему не удалось понять или узнать, не проходят его боль и страх. И там, в прошлом, он молит о завершении и освобождении. И я лишь одна из тех, кому это почему-то доверено — помогать.

* * *

Была несомненная, хотя и не сразу уловимая, завязь символической связи в том, что звонок Олега совпал с моим знакомством с художником Б.: Олег увидел нас, идущих по улице из картинной галереи, и позвонил вечером того же дня. Я только что получила в придачу к первому диплому, именовавшему меня преподавателем истории, второй, удостоверявший, что теперь я имею полное право называться искусствоведам, и как раз о персональной выставке Б. собиралась написать для какого-нибудь сайта. По матери живописец имел редкую национальность — манси, о чем мне охотно сообщил, объясняя некоторые фольклорные мотивы своих работ, придававшие довольно примитивному их стилю одновременно экспрессию и экзотичность. Даже его некрасивую наружность материнские гены делали привлекательной: длинноволосый и кривоногий, он походил на шамана, что на многих действовало магически: когда-то на лекциях американского профессора Стэнли Криппнера, специалиста по шаманизму, люди стояли вдоль стен, так сильна была поднимавшаяся волна интереса к тому, что существовало долгие годы в тени. При первой встрече Б. вызвал у меня чувство, что я уже знала его раньше, что, впрочем, вскоре легко объяснилось не мистически, а обычной памятью: я вспомнила, что видела фото Б. на сайте сетевого журнала «Живопись. Авангард».

Как ни странно, ни звонку Олега, ни тому, что он почему-то знает мой номер, я совершенно не удивилась, испытав, едва он себя назвал, не удивление, а непонятное чувство холодящей тревоги, будто откуда-то, из глубины тьмы, стоящей за моей спиной, за мной стали следить чьи-то узкие черные глаза.

Он пригласил меня куда-нибудь съездить на его BMW: пока некоторые мои ровесники неслись по склону жизни с рискованной беспечностью неумелых горнолыжников, обретая у подножия лишь сломанные лыжи и травмы, порой смертельные — в середине 90-х погиб, спившись за полгода, чернобровый красавец, моя первая любовь, — Олег благополучно получил высшее техническое образование, защитил диссертацию и основал свое ИП.

— С тобой мужик был, — сказал он как-то сразу весьма фамильярно, — он тебе кто?

— Знакомый художник.

— Все художники асоциалы. Вредная для общества бегема.

Впервые мы говорили с Олегом, и, в принципе, сразу стало понятно, что мы с ним люди из разных ментальных пространств, даже его школьная нелюбовь ко мне вполне могла этим и объясняться — формирующийся в нём благопристойный основательный обыватель чуял во мне чужака: именно я стала издавать в классе литературный журнал и совмещала в нем сразу две «должности»: главного редактора и художника. В обществе тогда уже витала мечта о богатстве, и одна из одноклассниц, номенклатурная мечтательная девочка, сочинявшая стихи про византийского императора и розовые облака, предложила назвать журнал «Эльдорадо», что оставшиеся после уроков одноклассники и утвердили не культурным голосованием, а весёлыми одобрительным криками. Правда, проявили интерес к журналу далеко не все: с насмешкой отвергла идею литературного журнала секс-символ класса, имевшая репутацию самой глупой и недалёкой девицы школы, — наш талантливый историк даже советовал ей бросить пытки непосильной учёбой и сразу идти торговать пирожками у ЦУМа, — она демонстративно увела за собой нескольких примагниченных парней. Между прочим, пятью годами раньше только она одна из всего класса попала в Артек, в который, как пафосно заверяли некоторые педагоги, отправляли са-

мых лучших. Одноклассница поехала туда «по благу» (тогда был еще в ходу именно такой способ получения всевозможных благ), просто ее статусный родитель «достал путёвку», весьма подточив у меня идею справедливости, о которой твердила на уроках моя любимая учительница литературы. Через несколько лет прогнившие советские колонны рухнули, задавив многих, в том числе и ловкого папашу артековки, быстро нашедшей ему замену. Рассказал мне о ее личной жизни наш учитель истории, теперь немолодой усталый человек, директор частного гуманитарного лица: однажды мы летели с ним одним рейсом. Представь мой шок, сказал он, когда я случайно обнаружил её на сайте медицинского университета, ректор, разумеется, её супруг, известный профессор-кардиолог, писавший диссертации по доброте душевной за своих любовниц: племянница моей жены училась вместе с одной из них, и та не скрывала от приятельниц источника кандидатской степени, даже гордилась своей женской успешностью. За нашу секс-диву профессор сочинил не одну диссертацию, а две. Всё-таки жена.

Книга жизни, даже упрощённая до компьютерной игры, не утрачивает главного — требующего освоения неких законов и правил стремления к переходу с одного уровня понимания на другой, и судьба одноклассницы, приоткрыв прячущийся в тени вход под своды законов и правил общественных, сыграла в моей книге жизни витально важную роль, вызвав отвращение к «животному двигателю» общественного бытия и обнажив ложь социальной жизни вообще. Я неосознанно превратила одноклассницу в лакмусовую бумажку: даже однажды из чистого любопытства после её возвращения из Артека зашла за ней по пути в школу. Стоя в прихожей, я с интересом наблюдала, как семья: отец, мать и дочь — обильно насыщают свои желудки (меня они к столу, разумеется, не позвали): немолодая дородная женщина со вздернутым покрасневшим хоботком обнаруживала ту же манящую игривую смазливость, что расцветала у дочери, только уже затонувшую в лоснящейся телесной об-

МАРИЯ БУШУЕВА

ширности, пожилой отец, тоже с хоботком, более длинным и острым, чем у супруги, прихрюкивал и причмокивал, обгладывая толстую птичью ногу, на щеках разрумившейся от еды дочери поблескивали жизнерадостные пятна животного жира... Сразу после встречи с нашим историком судьба дала мне возможность увидеть еще один штрих, довершивший картину обильного давнего завтрака: главным бухгалтером в университете, где я в то время преподавала, работала младшая сестра профессора-кардиолога — во время обеда пухлая финансовая чиновница доставала из сумки не меньше пяти больших банок с едой и сладострастно поглощала содержимое, не оставляя ни крошки: там были мясные салаты, огромные котлеты, заправленные соусами гарниры, пышные сладости... Но особо часто она извлекала из банки упитанные птичьи ноги и обгладывала их, подрагивая изящным хоботком, уже почти запрятанным в слоистые сугробы розово-сахарных щек... Воистину: на обыденных уровнях бытия подобное притягивается подобным.

— Завтра вечером, в семь, буду у твоего подъезда, — сказал Олег.

* * *

Ипат Актамаков побыл в Тобольске хорошо: сбыв пушнину богатым татарам и казакам, он вёз теперь домой муку, соль, сахар, рубахи и даже медные пуговицы в подарок жене, но больше для обмена с соплеменниками, — большая радость для их жен, любивших нанизанными на рыбную нить пуговицами украшать свою грудь, — надеялся он выменять блестящие кругляшки на пару оленей. Еще не стоял снег, лишь кое-где обнажил землю с холодными бельмами льда. Собаки бежали споро, весёлый возница то насвистывал, то напевал, то предавался хитрым приятным размышлениям о своем нынешнем достатке. О сородичах Актамаков был мнения самого невысокого. Порой и стыдился грязной их юрты, нищей одежды и дикости нравов. Кроме как звероловства, рыбной ловли и сбора пуха, и занятий-то у них не было. Русские,

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

подчинившие племена остяков и вогулов, да и магометане, претендующие на потомственную сибирскую власть, нравились ему больше: казаки здесь и даже крестьяне русские одеваются чисто, ведут себя степенно, почти все грамоте обучены, правда, бывают казаки, что жадны больно, даже своего православного Бога не боятся, разрывают могилы инородческих князьков и забирают оттуда серебро. Но кара тадыма-шамана вскоре их настигает: дети осквернителей умирают малых годков, сами они болеют или от инородцев гибнут, бывает, что расправляются с татем самоеды, веру чужую не принявшие. Магометане тоже русских не сильно любят, в Тобольске порой церковные службы срываю́т, но выгоды ради торговые дела ведут со всеми. Ипат думал даже сначала их веру восточную принять, но поселившейся среди крещёных остяков отец Никифор больно ему понравился: светлый такой, точно полярное солнце, на слово ласковый, на угощение щедрый. Вокруг его избы-церкви шесть деревянных изб остяцких: окрещённые им семьи даже юрт деревянных себе не стали строить, порусски в домах живут, — и все они любят отца Никифора больше своего Обского Старика, до сих пор тайно помогающего им рыбу ловить. Родителей отца Никифора Ипат в Тобольске повидал: поп Иоанн стар, согнут, как стружка, бабушка-попадья добрая, потчевала Ипата всем, что имела, дочурка Никифорова, Стеша, славная, улыбочивая... Но своё крещение и своё имя новое Ипат от шамана и даже от своей семьи скрывает тщательно. Осторожен остяк-толмач Актамаков. Двойною жизнью живёт. Оттого и заезжает к отцу Никифору лишь под покровом ночи. Дорога побежала мимо замёрзшей реки Полуй, вот и поворот к остяцкой деревне, сейчас в темноте должен сверкнуть обледелым крестом самый крайний священнический дом. Вдруг и точно что-то в снегу сверкнуло, а затем сразу все небо вспыхнуло: это зеленое полярное сияние взошло над тундрой и осветило окрестности. Собаки по окрику Ипата встали. Чёрное пепелище предстало взору потрясённого остяка: не было ни одной уцелевшей избы, леденели на дороге изуродованные и осквернённые трупы. Ипат

МАРИЯ БУШУЄВА

спешился и, подойдя к обугленному столбу, оставшемуся от ворот избышки-церкви отца Никифора, заплакал. К столбу пристыла повешенная собака с поднятой вверх передней лапой.

Пазори* погасли.

* * *

— Наружность у него какая-то странная, — сказал Олег. — Дикая.

Мы ехали по шоссе к лесопарку. Машину он вёл хорошо, и мелькающие близгородские пейзажи, чуть раскрашенные приближающейся, еще не наступившей осенью, настраивали бы меня, любительницу автомобильных дорог, на медитативный лад, если бы не тяжелила общение ощущаемая мной неприязнь Олега: за прошедшие годы она никуда не исчезла и сейчас вызвала у меня неприятное холодающее напряжение.

— Он наполовину манси.

Мы снова говорили о художнике Б.

— Манси?

— Когда-то их называли вогулами.

— Вогулами? — Олег, переспросив, довольно долго молчал: его школьная манера творить паузы, точно вопрос и ответ были разведены по разным словесным берегам, у него осталась. Мы подъехали к лесопарку, припарковались и, оставив машину на стоянке, вошли в ворота. — Дед мой рассказывал, кто-то из моих предков учил вогулов и каких-то... забыл.

— Остяков, наверное. Ханты по-современному. Или самодов, это ненцы.

— ...а может, лечил. Не помню. Дед умер, некого теперь спросить.

В моем сознании вмиг все соединилось: вогулы, остяки, его фамилия, постоянно мелькавшая рядом с фамилией моих собственных предков по одной линии во множестве документов

* Пазори — северное сияние.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

XVIII века и XIX, которые я видела и читала, еще работая в университете, и его давняя неприязнь, улавливаемая мной даже сейчас и вызывающая душевное напряжение. Как странно, что я ни разу не вспомнила ни Олега, ни его фамилию, изучая в архиве исторические свидетельства о северном крае. С 1700-х годов по тобольским мостовым, по снегам берёзовским и сургутским, по тундре вечномёрзлой пунктиром проходила, иногда на десятилетия теряясь и вновь возникая, родовая линия отца Иоанна, тобольского заказчика: его внук, сын убитого обдорскими осятками священника Никифора, сам стал миссионером, многие его потомки как близкие, так и отдалённые ступали с крестом в руке по тем же следам...

— Ты сам-то понимаешь, почему меня ненавидел в школе? — спросила я. Мой неожиданный вопрос и его ответ, соединившись, оказались как бы половинами двух совершенно разных мостов, возведённых в разные эпохи.

— Думаешь, ты была в классе звездой?

Мы немного побродили по лесопарку и поехали в город. Читатель, обожающий триллеры и ждавший чего-то острого, конечно, разочарован: ничего подобного не произошло. Зачем Олег вообще затеял прогулку с женщиной, которую еще с детской поры не любил? Не пробуждалась ли у него робкая тяга к творчеству, свободный импульс которого он угадывал во мне, школьнице, тяга, превратившаяся затем в неприязненное любопытство к представителям среды, осуждаемой в его родительской семье, через чей запрет он, будучи «хорошим сыном», переступить не смог? Такое средовое неприятие показал еще Томас Манн — и как причина оно представлялось мне вполне убедительным. Однако чуть позже мое боковое зрение вновь поймало быстрый взгляд нацеленных в меня чёрных зрачков. И я честно призналась себе: если такое объяснение неприязни Олега ко мне и верно, оно отражает лишь озёрную рябь, бегущую от налетевшего ветра, а совсем не то постоянное течение, что холодит тёмную глубину. А хотелось бы «дойти до самой сути»...

МАРИЯ БУШУЕВА

Мне вспоминались слова моей бабушки, записанные в синий блокнот: «Люди не понимают символики жизни, сетуют на несправедливость, что срок жизни человека определен максимум веком (чело — век), а дерево, к примеру, тисс, способно прожить и 4000 лет. А ведь суть в том, что человек только воображает себя отдельным существом, будучи лишь частью своего рода, срок жизни которого так же долгов, как жизнь деревьев, именно потому род и называется древом, чья ветвь — семья, чей листок — человек».

— А если листок оторвался от ветки родимой?

Родовое дерево отца моей бабушки Ю., не ответившей из небытия на вопрос о листке, возросло от мальчишки-сироты, о котором поведал толмачу Ипату Актамакову маленький, сутулый священник отец Никифор. И, едва я снова, теперь ещё более внимательно, стала изучать сохранившиеся исторические свидетельства, выяснилось: именно с линией отца Иоанна на протяжении долгих-долгих лет переплеталась линия предков Олега: их главным делом тоже было миссионерское священничество, весь XVIII и весь XIX век они крестили представителей коренных сибирских народов, а также окормляли новокрещёнов и живущих на Обско-Енисейском Севере русских. И, конечно, они учили грамоте остяков (ханты), вогулов (манси) и самоедов (ненцы) и лечили их, ведь лекарей в том краю до второй половины XIX века, можно сказать, не было, потому вся надежда болящих была на шаманов да на священников...

Ни о какой связи двух родов Олегу пока я не говорила, но теперь уже не только чувствовала, но была почти уверена: его непонятная нелюбовь ко мне действительно существовала задолго до его рождения и до моего появления на свет, скорее всего, переданная ему, как голубой цвет глаз, — по наследству. Оставалось или понять: кем, когда и почему неприязнь была вложена в его генетическую программу, или... Или признать эту гипотезу собственным вымыслом.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

* * *

Заманчивее всего было посчитать причиной давнего негативного чувства зафиксированные документами три конфликта (это уже XIX век): один — между священником, носившим ту же фамилию, что и Олег, и диаконом-учителем миссионерской школы, потомком отца Никифора. Фамилии я называть не стану, обозначив один род как В. (предки Олега) и второй как С. (мои) — потомки живы, а я поняла: чтобы любить предков, желательно как можно меньше общаться с их ныне здравствующими потомками, живущими только здесь и сейчас. Другая распря, вызвавшая печальное осуждение проверяющего церковные дела, обнаружилась между священником С. и его дьячком В. И третий случай — скорее даже не конфликт или ссора, а всего лишь сохранившееся на письме выражение уже имевшихся не очень добрых отношений благочинных Тобольской епархии В. и С., несомненно, хорошо знакомых. Начну с него. Вот рапорт благочинного В. епархиальному начальству:

«Я просил своим отношением с приложением копии с указа консистории о выборе депутата на общепархиальный съезд и список священнослужителей церквей г. Тобольска благочинного С. собрать ближайшие к нему причты, где он сочтёт удобным, а от отдалённых, которые не могут по причине отдалённости быть лично на съезде, отобрать письменные заявления о том, кого они желают иметь депутатом, и на избранное лицо составить акт, утвердить его подписями, так как там большинство голосов, и послать ко мне для подписи остальных четырех причтов моего десятка, однако и моё трёхкратное напоминание благочинному С. результата не возымело, предписание Ваше осталось без исполнения, а моё трёхкратное напоминание без ответа».

Понятно, что выполнить предписание в условиях огромных расстояний и разбросанности остячко-вогульских юрт и самодских чумов было неимоверно сложно, но ведь благочинный С. нередко сам ездил по улусам, о чем сообщал в отчетах: «В дороге находились более суток, несмотря на то что делали только один

МАРИЯ БУШУЕВА

отдых среди болота, чтобы накормить оленей, и в юрту прибыли ночью на 21 декабря. Я велел приготовить в более чистой половине юрты место, чтобы совершить таинство крещения над шестимесячным младенцем...»

Равнодушное игнорирование благочинным С. трех писем благочинного В. не могло не вызвать у последнего закономерной, возможно, сильнейшей обиды. Как отражается на потомках обида их предков? Если тяжелый стресс матери может привести к экспрессии генов ее будущего ребенка, что уже доказано, нет никаких препятствий к предположению, что и застрявшая в душе обида или ссора, вызвавшая мощный эмоциональный всплеск, способны отразиться на рисунке судьбы потомков.

* * *

Более похоже на межцерковную ссору, разгоревшуюся по неясной причине, не сохранённой документами, но, судя по ним же, долго тлевшую, эпизод, обнаруженный мной на другом витке общей истории С. и В.

Действующие лица: священник С., который после Tobольской духовной семинарии: *«Хорошо знает Пространный катехизис, читает, пишет и поет хорошо. Поведения очень хорошего».*

(Все С. играли на многих музыкальных инструментах и пели. Видимо, так силен был завезённый в начале XVIII века из Киева певческий ген!)

«Псаломщик В. по окончании высшего отделения Tobольского духовного училища по прошению отца определён на место псаломщика...»

Вот небольшой отрывок из совместного подробного рапорта С. и В. церковному начальству:

«...остяки обучались псаломщиком в храме кратким молитвам, но за совершенным непониманием инородцами русского языка не преуспели в этом. А потому священником было решено вести дело на родном языке остяков, и результат оказался много действеннее. Остяки ныне учатся с желанием и без

ропота. В селе для детей остяцких открыта школа, они приучаются к церковному пению на клиросе под руководством их учительницы. Как приятно лицезреть родителям, когда их малышки участвуют в отправлении общественного богослужения. Общее пение в церкви за малочисленностью русского населения редко, но за Акафистом ученицы и ученики школы поют: «Богородице прилежно», «Достойно есть», «Вбранной воеводе», «Радуйся невесто», «Аллилуйя».

Ещё — из того же рапорта: «О беличьих шкурах, что приносились в церковь в былое время, и говорить не стоит. Ныне остяк, если и приносит беличью шкуру, то единственно для того, чтобы в церкви встретить купца и сбыть ему товар с выгодой для себя, а вовсе не принести пользу церкви — а научили остяков этому въезжающие торговцы. Искренно желательно, наконец, чтобы отношения к остякам сознавались торгово-промышленниками не в духе безжалостной эксплуатации, а виделись в нравственном убеждении христианского достоинства человека. А мы наблюдаем упадок нравственности остяков; сожительство в родстве, жизнь безбрачная, женитьба на малолетних девочках, непочтение к старым родителям — явления между ними обыкновенные.

Священник С. Псаломщик В.»

Казалось бы, полное единодушие. Однако через несколько месяцев все меняется, и уже один В. пишет тобольскому епископу о своем бедственном положении: «Имея семерых детей и скудное содержание, лишен я возможности получить в кредит хлеб и от инородной управы, и от русских торговцев, дети мои младшие по семейной бедности не имеют возможности обучения, а священник С. обижает и несправедливо корит меня, что я к ведению церковных документов отношусь якобы небрежно по малоспособности и лености своей...»

Вскоре с проверкой церковь посещает благочинный. И вот какой вывод делает он: «Указы, росписи и метрики, опись церковного имущества и памятная книга, приходо-расходные книги ведутся под началом священника С. исправно, росписи за прежние

МАРИЯ БУШУЕВА

годы значатся с 1857 г. Утварь, ризница, библиотека в отличном порядке. Дела архивные за прежние годы по настоящий содержатся надлежащим образом, прихода-расходные книги ведутся своевременно и отчётливо, наличные суммы, значащиеся по книгам, хотя и незначительные, состоят налицо, во всех прочих отношениях нашел я в состоянии похвальном: порядок, опрятность и исправность.

Но крайне враждебные отношения между священником С. и его помощником-псаломщиком В. омрачили сердце моё, известный мне из Прошения псаломщика В. отзыв о нём священника С. не совсем справедлив: не ленью и малоспособностью, а исключительно болезненностью, нищетой и обременённостью детьми объясняются отмеченные С. недостатки В., он вдов, бедственное положение его таково, что у него недостает средств на обучение своих младших детей».

Благочинный дает указание «выдать В. немного денег из церковных сумм в счёт будущего жалованья, поскольку содержание от казны по отдалённости прихода от окружного казначейства и неудобства путей сообщения всегда поступает несвоевременно и причт не может за неимением средств запастись хлебной мукой, продаваемой с пароходов».

История не сохранила свидетельств, стремился ли законопослушный С., любящий во всем порядок и отчетность, хоть как-то своему подчиненному помочь. То, что он не страдал ближнему, мне очень не понравилось, ведь сама я принадлежу к людям, импульсивно покупающим у замёрзших уличных старушек совершенно ненужную мне ерунду. Потому, обвешанный семью детьми, В. вызвал у меня сочувствие.

Вечером мне снова позвонил Олег.

* * *

Надо сказать, что чувствовать некую общую историю с тем человеком, с которым меня сводила судьба, я начала довольно давно. И школьная нелюбовь Олега, показавшаяся мне однажды

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

совершенно от него отдельной, существовавшей еще до моего и до его рождения, была лишь первой ласточкой интереса к угадыванию теней прошлого, чего я, конечно, не понимала тогда. Теней, не только подспудно определяющих для меня отношения, но порой угрожающих повторением опасных ситуаций или, наоборот, помогающих мне в критических обстоятельствах. В иудаизме считается, что вновь рождённый — реинкарнация одного из ушедших родственников, так же думали и сибирские язычники — казалось бы, весьма убедительное объяснение повторяющихся семейно-родовых травм или одинаково счастливых поворотов в судьбах близких родственников, но православие не признает такую возможность или мягко избегает касаться слишком тонкого вопроса...

Связи далекого прошлого, о которых до последнего времени я ничего не знала, нередко определяли ландшафт моей жизни, а иногда буквально, не гипотетически, спасали меня. Расскажу лишь об одном случае. Обращающаяся к врачам только при самых крайних обстоятельствах, я могла бы потерять зрение, если бы резкая боль и невозможность разглядеть чётко даже близкие предметы, не заставили меня всё-таки вскочить с дивана и побежать в обычную поликлинику к окулисту. Была пятница, приём заканчивался, и медсестра, выйдя, предупредила, что врач скоро уходит. Я оказалась последней, кого офтальмолог все-таки решила принять. И, когда я вошла, пожилая докторша, спросив мою фамилию, воскликнула: «Ба! Так это же внучка Ю.!» На завтра меня смотрела ее подруга Т, старейший преподаватель медвуза, в молодости первая его красавица, а главное, один из лучших в городе окулистов. Её мама, известный советский этнограф, в юности, в двадцатые годы, была сердечной подругой самой старшей сестры моей бабушки Ю., а после, несмотря на приличную разницу в возрасте, близкой приятельницей Ю.: в годы моего детства они не пропускали ни одной театральной премьеры, обмениваясь в фойе лёгкими приветствиями, правда, весьма прохладными, с еще одной интеллигентной старушкой

МАРИЯ БУШУЕВА

из прошлого, выпускницей петербургской гимназии и Бестужевских курсов, моей бабушкой по отцу, годившейся мне по возрасту в прабабушки. Зрение мне очень быстро спасли.

Более чем полувековая дружеская связь, вполне прослеживаемая, скрывала за собой не известные ни Т., ни моей бабушке Ю. (за несколько месяцев до моей встречи с Т. ушедшей) тени прошлых отношений, караваном плывущие из Тобольска, где в первые годы XX века девочка Наташа, одна из дочерей мелкого городского чиновника и преподавательницы, отпавшей от священнического рода С., училась в Тобольской Мариинской девичьей школе вместе с девочкой Леной, дочерью врача З., родители которого в 60-х годах XIX века попали в Сибирь, оторвавшись от старинного белорусского местечка и пересадив в новую почву бережно сохранённый во время долгого пути живой побег, выросший на морщинистых корнях еврейского дерева. Окончив Казанский университет, З. вернулся в Тобольск, женился на русской девушке, в гены которой вплеталась тонкая вогульская нить, и стал лекарем, любимым остяками, зырянами и русскими жителями Берёзова и Обдорска, дружески сблизившись с настоятелем Обдорской духовной миссии отцом Иринархом (И.С. Шемановским), привлёкшим его и приятельствовавшего с З. югорского священника С., вылеченного им от плеврита, к сотрудничеству с Тобольским губернским музеем: наиболее культурные люди давно стали понимать необходимость сохранения этнографических артефактов...

«Любое родовое древо тоже не вечно, — писала бабушка Ю. в синем блокноте, — истратив всю свою энергию, передававшуюся из поколения в поколение, подчиняясь удивительной игре наследования и питаясь новыми соками, оно уступает место другому, чей побег взойдёт из его корней, вобрав в себя смысл существования, родовую задачу древа, обречённого стать прахом. Когда множество поколений, каждое на новом витке, задачу выполняет, побеги более не будут нужны, да и не останется на них у дерева сил, оно засохнет, если и выбросив из корней случайный

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

росток, то чахлый и нежизнеспособный. Так после смерти великого режиссера, завершившего свою миссию в искусстве, перестает существовать и его театр».

Дочь З., Елена, после Мариинской Тобольской школы училась в Санкт-Петербурге на естественно-научных курсах Лохвицкой-Скалон, сменила сразу после революции отчество, образовав его от имени деда по матери, стала этнографом и вышла замуж за сына вологодского священника из дворян, интеллигента-зоолога О., в тридцатые годы отправленного в лагерь особого назначения на Соловки и расстрелянного в Ленинграде на следующий день после о. Павла Флоренского, 8 декабря 1937 года, вместе с другими заключенными Соловков, одним из которых был талантливый художник, первая любовь восемнадцатилетней Ю., моей бабушки...

* * *

— Я нашел записи деда и зачем-то сканировал, — сказал Олег. — Ничего личного. Типа какой-то сказки. Не знаю, что с тетрадкой делать. Может быть, ты прочитаешь?

— Шли.

После продиктованного мной электронного адреса последовала долгая пауза: две половины моста со скрипом двинулись навстречу друг другу. За окном кудрявились облака. Внезапно вспорхнувшая мысль о том, что Олег попытался вызвать у меня интерес к себе записками деда, судя по всему, совершенно ему безразличными, уже почти настроила меня на готовность поскорее забыть про многолетнюю его неприязнь и даже намекнула на приятное предощущение возможной моей к нему симпатии.

Я смотрела в окно. Смартфон, похоже, нужно было срочно менять: он стал нагреваться и, как живой, грел сейчас мою ладонь. Наконец, две половины моста соединились — и он оказался не мостом влюбленных (о, эта вечная женская глупость, выдувающая мыльные пузыри самоиллюзий), а вполне практическим устройством для перевозки грузов и пассажиров.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Я хотел бы записки опубликовать в историческом журнале, видел в нем твои статьи. Только фамилия моего деда должна стоять обязательно.

Так вот зачем он мне позвонил, встретив с художником Б., ему не я была нужна, а моя предполагаемая возможность помочь с изданием записок деда! Настала эпоха, когда получившие материальное возжаждали духовного, в своей передельной точке — бессмертия, уверенные, что к экзистенциальной проблеме своего запечатления в веках нужно подойти столь же прагматически, как к оптовым поставкам предметов их бизнеса. И Олег, общаясь со мной ради сугубо деловой цели, преодолевал давнюю ненависть, оттого я и ощущала, общаясь с ним, сильнейшее напряжение. По идее правильнее было бы ему отказать, но моё любопытство к историческим свидетельствам, тем более имеющим отношение, пусть и скользящее по касательной, ко мне самой, оказалось сильнее разочарования.

— Не думала, что ты читаешь исторические журналы, — сказала я. — Хорошо, я посмотрю.

* * *

Неприязнь В. и С. достигает апогея, когда представители двух родов, священник В. и диакон С. в конце 70-х годов XIX века опять оказываются связанными общей миссионерской деятельностью.

«Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь Отец, — пишет диакон С., — письмо Настоятеля В., набросив тёмную и несправедливую на меня личину возмутительных обвинений, возбудило много толков, не пощадив не только меня, но и выказав истинное лицо самого автора письма, на нелепое содержание которого отвечать не согласно с пастырской совестью, ибо письмо основано на вражде и клевете, питаемо властолюбием и самолюбием в буквальном понимании этих слов, а не на высоком Значении имени миссионера — Пастыря миролюбия и любви. Не этот донос, иначе я назвать письмо не могу, собственнo, заставил меня

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

осмелиться взяться за перо, а необходимость во имя пастырской Чести указать на причину враждебных отношений О. Настоятеля ко мне, к человеку, которого он ненавидит, ищет только одного, чтобы вывести меня из штата церкви; ибо людей с прямым характером не терпит и от обязанности быть верным справедливому слову уклонился ко лжи. Скорбь, которую я испытываю от его доноса, в тридцать лет сделала меня седым...»

Далее С., как говорится, «переходит на личности», видимо, решая действовать теми же средствами, что и настоятель В. (письмо которого найти мне не удалось), чем несколько портит впечатление от патетико-драматической увертюры: *«Будучи приглашённым стать членом общества содействия Русскому Торговому Мореходству, я принимал у себя дома представителя немецкой экспедиции и от него узнал, что Священная Купель нашей Православной церкви, в которую новокрещён погружается для обновления в жизнь новую, сделалась серною ванною: для облегчения ревматизма суставов старшего брата О. Настоятеля, для которого если не дороги Священные вещи церкви, то могут ли быть дороги меньшие служители ея? В нашей Святой Православной Кафолической церкви от начала ея существования едва ли был подобного рода хотя один пример, чтобы Священная Купель была медицинскою ванною; не дай Бог, чтобы этот пример стал пищею Западных газет, и дай Бог, чтобы он не послужил нареканием для нашей святой церкви и служителей алтаря.*

Справедливости ради скажу, что народ местный благоговейно преклоняется перед О. Настоятелем, самоеды и остяки идут к нему как к ростовщику с оленьими шкурами, малицами, рукавицами, тимами, женскими капорами, халатами, одеялами и всякой всячиной, дабы получить под залог той или другой вещи несколько рублей». (Похоже, диакон С., даже в состоянии сильнейшего волнения, сказавшемся на путаном стиле письма, мной немного выровненного, был не чужд иронии.)

«Миссионерские школы имеют важное значение в деле христианского образования инородческих детей. За преподавание объ-

явлены мне от Тобольских губернаторов официальные благодарности в 1866 и 1876 гг. Все мальчишки-остяки и самоеды никогда не обманывались в наружности своего учителя: один Диакон по всем предметам в учебное время ежедневно занимается и трудится в школе и усерднейше, почти постоянно, просит О. Настоятеля обратить внимание на бедственное состояние школы, распределить школу на два отделения, приготовительное и последовательное, выдворить прислугу О. Настоятеля в ближайшую комнату, ни кем не занимаемую, а получал всегда он в ответ одно: «ты мне надоедаешь со своей школой» и к себе всегдашнюю ненависть.

Путешествие, в летние месяцы прошлого года Отца Настоятеля наводит на мысль сомнения, в отчёте говорится: предпринимал поездку по течению реки Оби и проехал до 700 верст, тогда как он далеко не доезжал — 400 верст можно отнести к путешествию пера»

(Ирония диакона С. переходит в тонкий сарказм.)

«Не могу не сообщить, что между прочим местными новостями есть одна возмутительно выдающаяся, неблагоприятные толки о которой ведутся повсеместно. Отец Настоятель обращает свой кабинет в уединенное место очарования, запершись в нём с одной остячкой девицей Стешей, угощая её сладостями и ведя ласковые речи. Нередко до наступления ночи она проводит время в его кабинете, а прислуживавшая Отцу Настоятелю монахиня не единожды случайно видела эту деву, будто бы сидящую у Отца Настоятеля на коленях, о чем сообщила не только мне, но и пастве.

Поверяю все изложенное, на всемилостивейшее благоусмотрение Вашего Преосвященства, Всемилостивейшего Архипастыря и Отца, всенижайший послушник: Действительный член, Православного Миссионерского Общества, Дьякон С.».

Что касается прислуживающей монахини, углядевшей на коленях у настоятеля деву, думаю, куртуазная сцена, скорее всего, ей только пригрезилась. Священник В. мог ей нравиться, и, хотя она, несомненно, боролась с искушением, кривая тень загнанной в подсознание страсти могла упасть и на её источник.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

* * *

Настоятель В. писал в оправдательном письме: *«В комнате, которая названа кабинетом, двери притворяются от холоду; нет никаких запоров, кроме замка, который замыкаю только, когда ухожу, нет никаких крючков или задвижек. Всякий входящий входит без доклада свободно. Доносчик пишет, что монахиня видела, как девушка сидела у меня на коленях, здесь явное противоречие, если двери всегда были взаперти из-за холоду. Окна высоко на втором этаже, подсмотреть нельзя. Припоминаю, что иногда мои обращения с девушкой по духовной нужде были очень близкие, и в таком случае при входящей в комнату монахине, девушка могла торопливо отпрянуть от меня: что и могло быть истолковано свидетельницей неверно. Девушка заслужила в семействе моего брата настолько хорошее отношение, что ей дозволяли обедать с ними вместе. Ровно и я, если у меня остался чай и лакомства, почему сироту не попотчевать? Я выспрашивал её о замужестве, о том, есть ли у неё приданое, думая помочь. И, конечно, выспрашивал, хорошо ли знает она молитвы. Автор доноса представляет, что если священник остался наедине с девицей, то это обязательно какие-то очарования, вероятно, по себе заключал. Если были толки, то оные происходили не от монахини, а от самого дьякона. А местные отношение ко мне имеют такое, какое и имели».*

Действительно, история с купелью вряд ли бы вызвала в то время особое возмущения даже русских верующих: что было делать страдающему жестокими ревматическими болями, когда лишь она одна позволяла погрузить в неё большое обширное тело полностью, а другие ёмкости, используемые для поддержания чистоты, были родному брату настоятеля малы? (Судя по Олегу, все В. были очень крупные — определяет рост и строение мужчины обычно Y-хромосома.) Да и церковной купелью пользовались не столь часто, много чаще, ради того, чтобы крестить родившегося ребенка, миссионеры сами отправлялись в юрты, нередко — зимой в сорокаградусный мороз, летом оленеводы

кочевали, а ехать надо было далеко. Настоятель пожалел брата, поставив обычное сострадание выше священного предмета. Как его за это осудить?

Игумен Иринарх (И.С. Шемановский), честнейший, бескорыстный человек, на свои средства начавший собирать первую библиотеку в Обдорске, упоминал добрым словом в своих записках и обвиняемого диаконом С. настоятеля, и еще одного представителя рода В.: *«Священник В., — отмечал игумен, — горячо любимый и уважаемый за кротость и чисто пастырскую доброту своими прихожанами...»* Этот батюшка прослужил в одном селе сорок лет. Сын его, тоже священник, в 20-е годы прошлого века арестован, подвергнут пыткам, погиб.

Православный ревизор духовной консистории о другом пас-тыре из рода В. сообщал: *«Священник здешней церкви, по отзыву остяков, кроткий и безукоризненный, за что и снискал расположение своих прихожан, которые, однако, пользуясь его добротой, неоднократно вводили его в обман при браках, за неправильные действия по которым он подвергался законному взысканию».*

Возможно, и настоятель В. так же ласково обращался с девушкой-остячкой Стешей. И не был ростовщиком, а просто любил пастуемых: давал им в долг не свои, а церковные деньги под залог вещей, в крещении и образовании остяков и самоедов не сильно упорствовал, пуская, так сказать, дело на самотёк, чем, наверное, привлёк в церковь больше людей, чем особо в крещении усердствующие. Осталось неизвестным, в чём обвинял он диакона С. в своём письме, на которое тот, сильно обиженный, ответил. Но ведь, с другой стороны, искренняя филофеева вера диакона С. могла быть действительно оскорблена использованием священной для него купели в качестве серной ванны, и он, судя по его наградам и озабоченности школьными делами, совсем не на словах радел за образование детей юрт и чумов, и нравственные нормы не являлись для него только бумажными предписаниями.

На судьбе В. письмо С. никак не сказалось, а дьякон С. через год был рукоположен в священники, из чего можно сделать

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

вывод, что церковное начальство умно решило: оба навета — несправедливы и явились следствием исключительно взаимной неприязни.

«Мы узнали о горестном явлении — ссорах миссионеров между собою, — писал тот же игумен Иринарх, — они объясняются условиями жизни в одном из самых глухих местечек необъятного нашего Отечества...»

* * *

Дня через три Олег опять позвонил и поинтересовался, понятен ли мне почерк его деда. Я только что закончила читать про угощаемую лакомствами Стешу, вспоминая далекий Тобольск и дочку отца Никифора, и опять удивляясь, с какой изощренной изобретательностью создается судьбой причудливый узор даже малого клочка истории: повторяющиеся имена и фамилии часто вплетены в одинаковые отношения и оказываются на одних и тех же витках социальной спирали. В зеркальном повторении через полтора века девичьего имени, запечатлённого в моих генах тревогой отца Иоанна, воображение, жаждущее подтверждения неслучайности жизни, угадало одно из доказательств, погасив рациональное сомнение, лишаящее несиюминутного смысла каждую отдельную жизнь.

— Еще не успела посмотреть, извини, — сказала я. — Завтра начну разбирать. Все эти дни читала тобольские епархиальные документы. Там много о твоих предках: они были священниками-миссионерами и священнослужителями, и даже благочинными. Местных жителей крестили, конечно, детей их учили, ты верно говорил. Между прочим, мои тоже по линии отца моей бабушки тем же занимались, в одних храмах с твоими служили, так что мы с тобой знакомы не первый век...

На последнюю часть моей фразы он никак не отреагировал, видимо, восприняв её как ничего не значащую, не очень удачную шутку. И, помолчав (я уже привыкла, что разводной мост очень медленный), спросил:

МАРИЯ БУШУЕВА

— Благочинные — это кто такие? Тоже колонизаторы?

— Церковное начальство: контролировали церкви своей епархии. Только почему ты назвал священников колонизаторами?

— Так пишут на сайтах, — ответил он.

Действительно, я находила в Интернете немало постов и комментариев, выражающих ненависть к православным миссионерам неоязычников, возвращающих свои капища и совершенно забывших, что именно русское духовенство учило их предков грамоте. Священники переводили не только Священное Писание, но составляли самодельные буквари и разговорники для детишек (первый печатный остяцкий букварь — заслуга обдорского миссионера Егорова), помогали в воспитании, защищали от корысти местных дельцов, а порой и несправедливого суда, с готовностью за взятку отправлявшего на каторгу вместо преступника ничего не способного объяснить невинного остяка, приучали к элементарной гигиене ради сохранения здоровья, изучали быт и культуру коренных народов, северную природу, вели учет смертей, браков и рождений... Исследователи Сибири середины XIX века замечали, что сибирское духовенство было образованнее духовенства европейских губерний, священники и диаконы отличались обширными познаниями и состояли в высшем кругу сибирского общества. Однако относилась эта характеристика, конечно, далеко не ко всем: немало было и малообразованных, но сердечно искренних служителей веры, среди них встречались новокрещёны, были и священники, наоборот, напрочь лишенные филофеева горения, от служения бежавшие, ведь миссионеры обязывались проводить долгое время в разъездах по тундре, месяцами жить вдвоём (священник и причетник) у самого Обского края... Далеко не все выдерживали наводимого тундрой морока, нескончаемых жестоких морозов, а часто и спешащей за ними по снегу и чахлой траве обычной нужды. Бывало, совершив одну поездку с походной церковью, священник отказывался от невыно-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

симо тяжелого для него заказа, сославшись на слабое здоровье. Не выдержал суровых испытаний на реке Таз даже диакон — по национальности самоед...

Неужели подвиг православных миссионеров, рисковавших жизнью, отправляясь с крестом в руке в самые дальние и дикие места, был напрасен? Неужели наши с Олегом предки, жившие тяжело, бывшие обычными людьми, страдавшими порой от вражды и бедности, но упорно верящие в свою высокую миссию, служили химерам? И нелегкий их каждодневный труд сейчас забывчиво стирают одним нажатием пальца — delete, смахивая со своего стола, как засохшие крошки, их самих?

Все они в тревоге вопрошают из небытия — мы были или не было нас?

* * *

В тетради оказалась переписанная от руки поэма «Сказание о Тонье». Девушку из рода Тусым-ики, «бородатых людей», живущих на реке Пим, полюбил младший сын Верховного бога — Нум-Торума, небесный царь рода Орла. Он стал отцом ее сына-богатыря Тоньи.

Тонья! Он — потомок рода Орла,
Царя всех птиц,
Проживал на Югане много веков
Этот род и счастливо жил.
Люди рождались, олени кормили их.
Но Кучум пожить решил.
Нойоны Кучума напали на них,
Тусым-ики, великий старик,
Нойонов всех победил.
И чудом спасённый,
Народ болотный он спас.
Всю силу и мудрость рода Орла
Тонье он передал.

МАРИЯ БУШУЄВА

Вскоре пришли казаки — сборщики ясака.
Тонья встал и с ними сразился.
Страх Тонья не знал.
Выпущенная из его лука стрела
Столетнюю лиственницу пробивала насквозь.
Казачьи стрелы обратно летели,
Как птицы, от взмаха его руки.
И когда Тонью хотели убить,
Никто не смог Тонью догнать.
Тонья бегал так быстро, что настигал оленя.
Он скрылся среди болот.

Ханты с тех пор называют себя нерым-ях,
Болотный народ.
Их великий князь,
Князь болотных людей
Тонья.

После стихотворной части следовал её гораздо более обстоятельный прозаический пересказ с дополнениями, касавшимися версии смерти Тоньи — его погубила родня Тусым-ики со стороны жены: Тонья мостил головами убитых им казаков дорогу, но двух голов не хватило, и он положил собачьи, что родня, видимо, посчитала осквернением подвига. На православный крест, поставленный на месте крещения у реки Таз, самоеды вешали мёртвых псов. Диякон-то ненец (самоед) сбежал оттуда недаром... Писал дед Олега и о том, что главный бог крещёных ненцев и хантов Нум-Торум слился с Николаем Угодником, к нему они обращаются, прося помощи, и, чтобы задобрить, мажут его рот на иконе кровью оленя.

Представьте моё удивление, когда в конце текста обнаружилось разъяснение, что есть свидетельство о первом варианте сказания, сохранённом в начале XIX века священником С., но этот экземпляр не найден, поскольку, как писал много позднее

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

учитель А. Силин, переложивший легенду о Тонье, записанную им в 1934 году со слов Семена Покачева из поселка Угут, «повествование являлось сакральным, а потому тщательно скрывалось от чужаков» и могло быть уничтоженным». Этот вариант, самый короткий, — слышал В. (то есть дед Олега) в детстве от своего деда — диакона Обдорской миссии, которую как раз в то время возглавлял иеромонах Иринарх (Яхонтов), вызванный тобольским митрополитом с Соловков. Дед Олега иеромонаха Иринарха только упоминает, не касаясь его биографии, теперь известной. Будущий начальник миссии был сослан на исправление в Соловецкий монастырь как участник протестной акции студентов Казанской духовной академии: 8 апреля 1861 года студенты совершили панихиду по крестьянам села Казанской губернии Бездна. Расстрел безоружных крестьян, а также их вождя Антона Петрова, ошибочно решившего и убедившего всех, что с 1858 года земля уже принадлежала крестьянам, вызвал массовые протесты студентов Казанского университета, Казанской духовной академии и большей части интеллигенции. Увы, местное дворянство, грустно замечают историки, мстительно ликовало...

В Интернете я нашла историю легенды о Тонье в краеведческом альманахе «Подорожник», материалы которого сослужили мне добрую службу, приоткрыв многие страницы истории «самых глухих местечек необъятного нашего Отечества», нашла и романтизирующую образ Тоньи сказку известной нижевартовской писательницы М. Анисимковой.

Олег с желанием публикации записок деда опоздал.

* * *

...Помните, в старой французской комедии восприятие здорового реалистичного сыщика по имени Кампана в процессе тесного общения с эксцентричным шизоидом Перреном начинает съезжать в сторону символического прочтения мелких бытовых фактов: когда у сыщика развязывается шнурок, он, поблуднев,

МАРИЯ БУШУЕВА

произносит: «Это знак». Так и Олег после ещё двух совместных поездок в лесопарк, столь же лишённых гендерного флёра, что и первая, но чуть менее напряжённых, выслушав все мои рассказы о его и о моих прародителях, на забавное совпадение альковного сюжета и даже имени двух девиц, разделенных расстоянием в сто пятьдесят лет, внезапно, тоже побледнев (!), сказал: «И та и другая Стеша? Это что-то неслучайное».

Мы долго молча шли по центральной дороге лесопарка, и, как в любой золотой осенний день, душа в очередной раз удивлялась красоте мира, уже не существующей отдельно от Бунина и Фета, Саврасова и Левитана...

— Ты любишь стихи? — спросила я.

Крылья моста не сходились очень долго.

— Нет.

— А что ты любишь?

Странно, но он ответил сразу:

— Ничего и никого.

— Совсем ничего и никого?

Мы уже подошли к машине. И на обратном пути я вернулась к разговору о священниках-миссионерах, которые, как предписывалось, должны были выказывать личным нравственным примером качества отца-проповедника: молитвенность, смирение, бескорыстие, стойкость, готовность преодолевать трудности в условиях чрезвычайной сложности, терпение, приветливость, смиренную преданность Богу. Память у меня хорошая, и я цитировала почти дословно недавно прочитанную статью.

Я уже видела и любила их, упорно разгружающих ящики с походной церковью в сумрачной тундре, вздрагивающих по вечерам от внезапного стука в дверь молельного дома, недавно построенного невдалеке от чумов, от бряцанья железной утвари, прикреплённой на окно, дабы сразу услышать, что кто-то пытается проникнуть в дом. И, несмотря на ощущение постоянной угрозы, всё равно открывающих дверь любому, кто пришёл, ибо таков пастырский долг. Но Олега мои слова, похоже, не задели

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

вовсе, наверное, он решил, что монолог мой несколько пафосный, а главное, всё, о чем я говорила, очень от него далеко. Это уже не существующее прошлое.

Он вёл машину и молчал. И думал о чём-то своем. И только когда BMW притормозила у моего подъезда, вдруг обернулся ко мне, держа мощные руки на руле, и лицо его просияло счастливой растерянной улыбкой, точно он, чуть не затонув, не совсем понимает, какая сила помогла ему вынырнуть из холодной воды:

— Вспомнил. Очень сильно я в детстве морскую свинку любил. А теперь люблю свой смартфон. Как друга.

* * *

Догадаться было несложно: Олега бросила жена. Признался в семейном разладе, конечно, не он сам. Стоило проснуться моему интересу к его личной жизни, судьба сама приоткрыла мне искомую страницу — на улице, возле супермаркета, я случайно встретила с еще одной бывшей одноклассницей, которую не видела много лет, хотя находила ее аватарку среди активно виртуально общающихся. Она-то всё об Олеге и рассказала, предварив рассказ замечанием, что история Олега похожа на подаренную плетёную корзинку, потом дарителем и украденную уже вместе с содержимым: сейчас в соцсетях модно использовать подобные метафоры и сравнения. Оказывается, Олег был женат на Алине, родной сестре нашего одноклассника Мишки Левенсона, двоюродного брата Инки, прозванной юными мерзавцами Сарделькой, и Левенсон, уехав к родителям-врачам в Израиль, перетянул туда и жену Олега с двухлетним малышом. Причем познакомил Олега с Алиной сам Мишка. Олега выбросили, как мусор, резюмировала одноклассница, ребенка его усыновил новый муж, на фиг им там среди маслин могучий дуб, Олега жалко, он сильно Алину любил, да и ей не на что было жаловаться: бабла хватало, и с сексуальным аспектом у него без проблем, — одноклассница усмехнулась: проверка состоялась. Возможно, разрыв молодой семьи был предreshён ещё на свадьбе, она была свидетельницей

со стороны невесты и слышала, как, уже крепко подвыпив, отец Олега внезапно упомянул «злодея Свердлова», отец Алины, конечно, тоже пьяный, вспомнил про унижительную «черту оседлости», заговорил о страданиях своего народа, стал называть имена убиенных родственников в Холокост и заплакал, глаза отца Олега тоже повлажнели, он заговорил о страданиях своего народа, о замученных и убитых в годы революции и в сталинских лагерях, о жертвах Великой Отечественной войны и стал называть имена своих погибших родственников, отец Алины вспомнил своих дядьев-фронтовиков: оставшегося в 43-м двадцатилетнего сержанта и его брата, девяностолетнего ветерана, в конце концов отцы обнялись и выпили за помин всех жертв и за здоровье живущих. Но Алинка этот разговор иногда вспоминала, называя «семейным водоразделом»... А может быть, всё проще: она тайно страстно влюбилась и потому ушла от скучного, правильного Олега, это в её репертуаре, — у неё уже в пятнадцать лет был любовник, какой-то безбашенный тренер. Впрочем, у себя дома и здесь старые Левенсоны, что Мишкины, что Инкины, у них родство по её матери, всегда говорили на идише, одноклассница бывала у них часто, потому что Инкина и Мишкина бабушка чудно готовила, такого кугеля ни у кого больше не поешь, пальчики оближешь, так что их возвращение к своим древним корням совершенно закономерно...

Ни степень родственной близости моих ровесников, ни их национальные маркеры меня никогда не занимали. И о родстве Левенсона и толстухи Инки, вечно роняющей во время урока деревянный пенал своего деда, я ничего не знала, и сейчас, вспомнив, как стыдила обижающих Инку и Таксу, удивилась: что же Мишка не заступался за неё? Глупо считал, что за родственницу заступаться ниже его достоинства? Лучше спроси, сказала одноклассница, почему за неё не заступались другие теперь не наши: Данька Шапиро, Илья, Женька, её подруга лучшая, между прочим, а Данька к тому же сам её дразнил и над ней потешался. Они уехали, ты в курсе? Шапиро в Шта-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

тах, публикует там в журналах стихи бедного Таксы, живущего теперь в Нижнем Новгороде, сопровождая своими хвалебными комментариями... А Инка осталась. Наверное, ты о ней слышала, если нет, посмотри в инете, она известная в городе персона, недавно её сам мэр награждал как лучшего преподавателя русской литературы. В новостях писали, что её дедушка тоже был педагогом. У неё мой сын учился, обожает Инку до сих пор, с каждым праздником поздравляет, представляешь, столько лет прошло, а когда она ведёт уроки, на её столе всегда лежит тот же деревянный пенал!

* * *

Инкин пенал отрицал окончательную смерть её деда, а наши с Олегом предки все так же тревожно вопрошали из небытия — мы были или не было нас?

Я решила поискать в Интернете однофамильцев Олега, очертив приблизительный географический ареал. Священников В. было много в позапрошлом веке и в начале прошлого, они упоминались в старых документах, в новых статьях, один, изнурённый, смотрел всепрощающими глазами Иисуса с фото, сделанного в застенках НКВД, зайдя в Википедию, я прочитала, что он причислен в святым новомученикам и исповедникам Русской церкви. Значился в этом трагическом списке и священник С. Однако уже в середине XX века фамилия В. как священническая полностью исчезла. На сайтах, посвященных Великой Победе, упоминались фронтовики В., погибшие и выжившие, на форуме о жертвах сталинизма встретился В., начальник местного ЧК, расстрелянный в 37-м, в сетевом научном журнале писали о В., докторе физико-математических наук, скончавшемся в 80-е... А сейчас я нашла лишь четырех бизнесменов В. (не считая Олега) и одного глянцевого фотографа. Один из предпринимателей В. за уклонение от налогов был отдан под суд, но «раскаялся и погасил задолженность», отчего судья, скорее всего, раскаявшимся не обделённый, судебное дело закрыл.

МАРИЯ БУШУЕВА

Неужели деревянный пенал предков Олега выброшен на свалку истории, как сам он из биографии его жены и сына?

Священники С. были и сейчас. Это порадовало меня: синий блокнот моей бабушки Ю. не обращён в никому не нужный хлам. В Тобольско-Тюменской епархии служил протоиерей С., в Московской — молодой иерей С., после окончания Тобольской семинарии и духовной академии окормлявший паству в Подмоскowie, нашлись и другие, возможно, столь далёкие от моих С., что должны уже считаться просто однофамильцами, где-то в туманном прошлом имевшими с моими С. общего пращура. Нет, я не сделала поспешного вывода, что сохранение С. профессии предков, верность духовному служению, гарантирует им, в отличие от как бы полностью умерших предков В., не окончательную смерть.

Я чувствовала: то, что я теперь символически представляла как деревянный пенал и синий блокнот — нечто иное, большее, чем переданное по наследству призвание, даже большее, чем сохраняемая между ручек, карандашей и листов бумаги буква-человечек родового корня. Но что? Возможно, оно имеет непонятную пока связь с моими эмпатическими «подключениями» к жившим задолго до моего рождения, к моей пространственно-временной памяти?

И судьба опять мне помогла, вовремя перелистнув страницу: мне позвонил тот самый художник Б., с которым нас видел Олег.

* * *

Звонок был чисто деловой. Да и другого повода для общения со мной я ни от кого не ждала, давно закрыв тему личной жизни, однажды догадавшись, что моё несовпадение с любым из встреченных мной мужчин имело причину не психологическую, а временную: они стремились и умели жить в сегодняшнем дне, полностью вмещаясь в него, точно предмет, запакованный ловкой рукой продавца в картонную коробку, и прошлое, оставаясь за пределами её плотных стенок, отметалось их сознанием как

нечто несуществующее: мёртвые картинки и факты из школьного учебника истории, нагоняющие только скуку, и, конечно, любое упоминание о возможности контакта с теми, кто жил очень давно, показалось бы им странным или предельно глупым. Чтобы счастливо существовать, нужно было уместиться в ту же коробку и там плотно прижаться друг к другу, ведя домашние разговоры о продуктах в холодильнике или обсуждая растущие цены в магазинах, политиков и риски кредитования. Все это меня совершенно не интересовало. Прилепиться и стать как одна плоть ни с одним из них я совершенно не была способна: от любого достаточно близкого их приближения ко мне я начинала задыхаться, точно пробками заткнули все каналы, через которые поступал воздух.

Сетевой журнал «Живопись. Авангард» попросил художника Б. об интервью. Он дал согласие, но выдвинул условие: беседовать с ним должна только М., то есть я. До интервью Б. решил погулять со мной по городу и обсудить, о чём мы с ним будем говорить. Удобный способ вопросов и ответов, отправленных по электронной почте, он не признавал.

— Мне понравилась ваша мысль, что модернизм — это сочетание архаичного сознания и современной логики, — сказал Б., когда мы пришли в небольшой церковный парк и присели на скамейку. День был ясный, дождя не ожидалось. — Я с детства ощущал власть над собой древних образов, мне часто снилось какое-то незнакомое и пугающее место, на возвышении, отгороженное частоколом, когда я рассказал сон моей бабушке, она объяснила, что это капище наших предков, место, где приносились убитые олени в жертву нашим богам, с которыми общался только шаман. Кстати, женщин на жертвоприношение не пускали. Часто на этих местах ставили церкви. После революции все остававшиеся капища были уничтожены, обряды запрещены, но, когда бабуля была маленькой, в стороне от села, куда они бегали с ребятами, сакральное место ещё сохранялось. Иногда тайно от местной власти шаман там камлал. Я из рода

МАРИЯ БУШУЕВА

потомственных шаманов. Помните, я говорил, что по матери — манси? Раньше звали нас вогулами. А дед матери был хант.

— Но разве православие не вытеснило ваши языческие обряды?

— Понимаете, ханты, манси и ненцы, полностью ставшие православными, ассимилировались, стали русскими. Они родились заново как часть совершенно другого этноса, уничтожив своих богов, а значит, и собственных предков, которых вслед за русскими посчитали дикими, потому что они ели сырое оленьё мясо и пили оленью кровь, жили в дымных юртах и кланялись деревянным обским истуканам. И, хотя моя бабуля говорила о русских священниках всегда хорошо: они принесли книжки, ведь и письменности у обских угров не было, заботились о бедняках, детишек у них брали в приюты, детей постарше учили, стариков не бросали, немощный отец самой бабули жил в богадельне при церкви, но даже она, простая женщина, признавала: сохранило материнский род от полного растворения только двоеверие, то есть вера, что, если существует Бог единый для всех, у нас всё равно есть свои родные, пусть и подчиненные ему, боги. Потому что чужая вера как бы полностью отвергала прошлое нашего народа, лишала непрерывную борьбу за выживание самого важного смысла, что привносил в обычную жизнь окружающий улусы мир, населённый древними богами и духами предков, ведь народ жив, пока его предки живы... Лишала иного мира.

— Теперь я понимаю, — сказала я, — почему одного из моих далеких миссионеров-прадедов (не знаю даже, в какую степень возвести «пра») ранил стрелой остяцкий шаман.

Внезапно я увидела опасно сузившиеся чёрные зрачки Б. Это именно они целились в меня! Олег совершенно ни при чём, произошло обычное телепатическое наложение двух одновременно принятых сигналов: давней неприязни В. и, конечно, совершенно бессознательного импульса Б.!

— Я сейчас уловила исходящий от вас импульс родовой мести, — наученная неудачным опытом общения скрывать всё,

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

что может быть воспринято как непонятное или нелепое, я на всякий случай придала голосу немного шутливый оттенок.

— Вы верно уловили, — сказал он, — я действительно перехватил чувства того шамана. Он был, наверное, из наших мест. Ещё при первой встрече я что-то такое, нас с вами связывающее, ощутил. Давнюю вражду наших предков, может быть... — он грустно усмехнулся, — которая порой сильнее любви притягивает друг к другу незнакомых людей через сотню лет после смерти тех, кто враждовал. Как вы, наверное, догадались, я не буддист, я верю не в память перевоплощений, а в память предков. Я — язычник. Но совсем не хочу с вами враждовать. — Он улыбнулся.

— По-моему, интервью будет интересным.

— Не сомневаюсь. Обо всем этом и поговорим.

— Давайте перевернем многоугольник. Некоторые русские начинали искать помощи у вашего шамана, то есть тоже опровергали своё прошлое — а искренне верующий священник-миссионер страдал от этого. Да, он служил государственному заказу, верил в необходимость крещения язычников, но это лишь внешние, хотя часто и сердечные, мотивы его деятельности, если посмотреть глубже — когда он крестил инородцев (извините, что употребляю старое слово), он, подобно им, не только сохранял мир своих предков, но тоже спасал иную реальность, что окружала его собственнный дом и одухотворяла его сознание... Лишенные чувства иной реальности, мы просто бумажные человечки. И, произнеся эту фразу, я поняла, что хранила Инка в своем деревянном пенале, а моя бабушка в синем блокноте.

— Перейдем на «ты»? — предложил он.

* * *

...Как ни странно, Олег, сказав о совпадении имени двух девушек «это что-то неслучайное», оказался прав; только дверь в прошлое на этот раз открылась с другой стороны. Как говорится, никогда не знаешь, куда заведут ссылки Википедии! Я привычно бродила по сетевым тропам и, попав на малопопулярный, полуза-

брошенный сайт небольшого сообщества, интересовавшегося прошлым Тобольска, нашла биографическую статью о Филофее Лещинском и назначении его митрополитом на тобольскую кафедру. Всё изложенное мне было хорошо знакомо, кроме нескольких дополнительных штрихов, выловленных автором из архива: фамилий священников, монахов и певчих, которых будущий схимонах Феодор привез с собой, и пунктирного обозначения их дальнейших судеб. Среди певчих значились С. и В., о них было сказано так: «В дальнейшем выбрали миссионерское поприще потомки Ивана (Иоанна) С., помогавшего Филофею Лещинскому (схимонаху Феодору) крестить остяков и вогулов и раненного при попытке лодки миссионеров подплыть к одному из улусов; бывшего певчего В., о. Иоакима, находим иереем в Тобольске, его сын Пётр также пошел по стопам отца, среди сибирских миссионеров очень много священников В.». О, Господи, это ведь юный Пётр сажал на колени Стешу, внучку отца Иоанна, чья пробитая стрелой насквозь правая ладонь навечно застыла в троесперстии, а ласковое отношение дальнего потомка В. к другой Стеше насторожило ревностного диакона С.! Не ищет ли сильное чувство, не рассеявшееся в пространстве после того, как сосуд, в котором оно плескалось, распался на осколки, чтобы вскоре стать прахом, нового сосуда для продолжения своего пути до тех пор, пока энергия чувства не иссякнет? Тогда ведь и Олег — всего лишь сосуд для неизжитой ненависти и ревнивой обиды своего давнего-давнего пра. Когда же, наконец, иссякнут на Земле все потоки вражды, исток которых теряется в далёком прошлом?

* * *

Художник Б. позвонил мне и передал отзыв главреда журнала «Живопись. Авангард»: интервью редактор назвал потрясающе интересным.

— Только попросил тебя задать еще один вопрос: правда ли моей кистью водят порой древние образы родовой памяти? И чтобы я ответил и переслал текст завтра, не позже 14.00.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

— Задаю.

— Правда.

— Как-то слишком лаконично.

Он засмеялся.

— Ну, я же не литератор, мы, художники, почти немые. Глазами слушаем и говорим. Ты подумай сегодня, как им покруче объяснить, хорошо? Напиши, что я умею выходить на контакт со своими предками, и они мне передают образы, вот и весь секрет. Вечером я проявлюсь снова.

Написать пару слов на тему юнговских общечеловеческих архетипов, хранящихся в коллективном бессознательном, и национальной их трансформации в работах художника Б. я могла сразу. Однако мысли мои отвергли лежащее на поверхности объяснение, и не оттого, что оно отдавало модным штампом, причина была в моём сомнении: океан коллективного бессознательного, несомненно, окружает нас, но именно образы как примеры его влияния не представлялись мне при чтении Юнга убедительными — увиденные во сне символы, мандалы или архетипные персонажи казались мне переданными реципиентам телепатическим путём самим Юнгом — индуктором. Конечно, в любом случае они относились к древним прообразам, но... Мысли мои сначала перешли от Юнга на книгу и текст, который книга содержит. Мне вспомнилось, что одним из замеченных мной удивительных свойств книги была возможность возникновения эмоционального контакта с автором, порой и давно почившим. Стоило мне, читая, почувствовать любовь к писателю — он появлялся и обрадованно располагался рядом со мной, и я легко могла приблизить его лицо: так я способна увидеть облик того человека, который мне вскоре позвонит при условии его неравнодушия ко мне или к теме разговора. И давно ушедшего в мир теней писателя я ощущала, как живого человека, настроенного на разговор со мной. Были среди них и приносившие с собой обиду на непризнанность при жизни, чего совершенно был лишен Платонов (проза которого стала одним из потрясений моей

читательской жизни), появившийся с доброй улыбкой. Конечно, выходили из своих книг далеко не все. Некоторые обложки напоминали наглухо запечатанные двери, и это не зависело от авторского таланта или мастерства. Может быть, моё чувство любви к автору, созвучие его мыслям становилось нитью Ариадны и давало возможность ему ненадолго выйти из иного мира? Объяснение для меня, несомненно, приятное, но если и верное, то лишь на малую часть, потому что были и не откликнувшиеся. Не откликнулся Писемский, хотя его «Тюфяка» я оценила: повесть стоит многого. Создалось у меня впечатление, что Писемскому совершенно безразлична судьба его книг — он больше в них не жил. Возможно, писатель живет («нет, весь я не умру...»), потому что его книги читают? Тогда почему откликаются и совсем забытые? Значит, хотят они этого сами, это нужно им. Они тоже вопрошают из небытия: мы были или не было нас?

Отвечая за художника Б. на вопрос редактора журнала, я порассуждала о разных уровнях реальности, процитировала советского академика (еще раз с восхищением о нем подумав): «Таким образом, даже если живое существо умирает, излучаемая им информация может «крутиться» в общем информационном поле планеты неограниченно долго, до тех пор, пока не замкнется на организм, который окажется в состоянии не только воспринять, но и обработать её», — и завершила ответ предположением, что художник Б. и есть такой «организм», воспринимающий и творчески преображающий древнюю информацию... И, конечно, не стала загружать ответ размышлениями о белом пятне в теории общего информационного поля. Теория хорошо объясняла возможность ретроскопии — закон сохранения на любое по протяжённости время тех событий, которые, по всей видимости, были связаны с сильнейшим эмоционально-энергетическим всплеском, допускал вероятность их считывания, но, предполагая, никак не объяснял возможность контакта с теми, кто оказался по ту сторону нашей реальности: сохраняющаяся информация — это консервация, а любое живое об-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

щение предполагает развитие. С другой стороны, может быть, иллюзия развития как раз и возникает только в закрытых границах сохранённой информации?

* * *

С Олегом встречаться больше не хотелось. И на его предложение прокатиться снова до парка я мгновенно водрузила защитную стену: увы, рада бы, да не могу, нужно писать статью, а для этого прочитав несколько книг. Напряжение от общения с ним стёрлось, точно древняя надпись на камне; когда я думала о наших с ним прогулках и они представлялись мне какими-то гранитными, точно осколки обветренной временем скалы, невозможно было вообразить на этих серо-черных обломках живые ростки растений. Впрочем, возникший образ камня мог объясняться и той мемориальной темой, к какой я сама Олега склонила: до нынешней встречи со мной ему не было никакого дела до его предков, тем более что в его родительской семье тема их священничества с советских времён, по-видимому, числилась в запретных.

— А когда сможешь? Завтра вечером? Это и с тобой связано... — Голос его точно смялся, почти пропал, снова распрямился, споткнулся. — В общем, после наших разговоров... Нет, по телефону объяснить не получится.

Пришлось согласиться.

Оказывается, этого крупноблочного мужчину, абсолютно далёкого от всякой мистики, наши беседы, как он выразился, «совершенно выбили из реала». Еще моя бабушка Ю. предупреждала об опасной способности смещать, точно крышку от люка, сознание другого человека, открывая щель в пространство, где властвуют иные законы восприятия, рискованные для неподготовленного ума. В синем блокноте объясняла она такую способность «многоколенным служением инобытию». Тогда я не думала — так это или не так, но сейчас, глядя на потерянное (по-моему — в прямом, а не метафорическом смысле!) лицо Олега, вспомнила предупреждение бабушки.

Олег трижды увидел совершенно реалистичный сон, чего с ним никогда не случалось прежде: обычно плавали какие-то облачные обрывки, тут же растворяющиеся при пробуждении. Снилось ему, будто в своей комнате, обстановка которой не изменилась, он просыпается оттого, что открывается дверь и входит старик-монах. Нет, страха во сне Олег не испытывал. Старик, отодвинув кресло от компьютерного стола, присаживается, смотрит долгим взглядом на Олега и после длительного молчания произносит: «Иоанну передай, чтобы простил меня». Олег во сне тоже садится на постели и тут же просыпается.

— Стул отодвинут, а я почему-то не лежу, а сижу!

Я сразу поняла: к нему приходил не монах, а отец Иоаким, ненавидевший отца Иоанна как счастливого соперника. Выглядел Олег как человек с несколько изменённым сознанием — именно для негибких, упертых материалистов даже легкий мистический ветерок порой катастрофически опасен. И я решила, что обязана Олега «заземлить».

— Кресло вечером отодвинул ты сам и забыл. А сидишь на кровати потому, что есть фаза между сном и явью, гипнагогия, в эту фазу ты стал вставать, не полностью пробудившись, а когда проснулся окончательно, предыдущее действие опять же забыл. Так бывает.

— Мне еще дважды этот старик снился. И, когда я пообещал ему во сне: «Передам», на его месте вдруг оказался мой дед, чья тетрадка с записями у тебя. И во сне я одновременно видел и деда, сидящего на стуле, и чёрного старика, который уходил по коридору, сначала это был просторный коридор нашей квартиры, когда я женился, родители отдали мне свою сталинку, а сами переехали в однокомнатную, потом коридор превратился в какой-то другой, очень длинный, просто бесконечный туннель, фигура стала удаляться. А мой дед сказал: «Люди считают, что память дана людям всего лишь для запоминания, на самом деле только в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти». Первый раз в жизни я запомнил слова из сна! Жесть!

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

— А если твой дед открыл тебе правду?

— Я ни во что такое не верю, рациональное мышление выше всяческих фантазий, не стал бы на такие абсурдные темы вообще говорить, тем более что-то из сна передавать, если бы не тягостное ощущение... И тут в аварию едва не попал. Понял: мне эта хрень мешает, нужно освободиться. Да и деда мне было жалко, когда он умер. Возможно, затосковал по нему, оттого и на дороге проявил невнимательность. Мы живем снова, говорит отец. Он учёный, доктор наук, у него и сейчас высокий индекс цитирования. Можно сказать, он мой help desk. И я верю, разумеется, ему, а не идиотическим снам.

— А почему ты решил, что должен о них рассказать именно мне?

— Потому что ни с кем никогда таких... — он подбирает, как я поняла, менее обидное слово, — ...не нужных мне разговоров не вёл. Только с тобой. И ни о каких предках я не думал, и думать не собираюсь. Нам бы с современностью разобраться, с собой. А не древние сундуки вскрывать и заниматься рухлядью.

— Ты по-прежнему сильно не любишь меня? — спросила я.

Два крыла моста качнулись и очень медленно двинулись друг другу навстречу. Я вдруг заметила, что листва в парке почти опала, хотя, еще не тронутая дождями, являла все цвета лиственной осенней палитры. Мобильный завибрировал в моем кармане: звонил художник Б. Автоответчик послал ему эсэмэску: «Извините, перезвоню позже».

— Теперь — нет, — сказал Олег, — а все эти годы, если честно, вспоминал тебя и не мог отделаться от неприязни. Что-то мне сильно в тебе не нравилось. До ненависти. Сам не мог понять, почему. А теперь я тебе благодарен. На работе меня считают буржуем, хозяином, не поговоришь по душам. Я был совсем один. Стены квартиры меня грызли, от компа глаза болели. Общение с тобой вернуло мне желание жить. Я даже морскую свинку себе купил. — И он как-то по-детски мило улыбнулся.

МАРИЯ БУШУЄВА

Мобильный снова завибрировал. Художник Б. прислал эсэмэску, я ее прочитала и, поразившись совпадению со словами, сказанными Олегу во сне его дедом, повторила вслух: «понял именно в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти».

— Когда ты успела ему пересказать?!

— Совпадение.

— А... бывает...

Мы расстались у моего подъезда. Он попросил его познакомиться с какой-нибудь приятной худенькой брюнеткой. Пусть даже из среды искусства, чтобы красивая, только обычная, без погружений в прошлое и в хардтокинг, в ресторан вместе сходить, в ночной клуб, на море съездить, для релакса, в общем, а для серьёзного у него бизнес, две головные боли — это слишком... «Как ему удастся заниматься бизнесом с таким интеллигентным голосом, — подумала я. — Тембр высоковат для его мощного крупного сложения. Наверное, роли распределены: Олег — информационно-технический центр, а орёт и материт сотрудников его низколобый заместитель».

— И ещё... как его... Иоанн, ты передай ему, что старик попросил... — Олег смущенно хихикнул, — ...в своем воображении, разумеется.

— У меня нет такой приятельницы, — сказала я. — Сам где-нибудь познакомись, чего тебе и желаю.

* * *

— Я понимаю слова о ключе так, — говорил мне Б. Мы встретились в кафе «Лабиринт», — внешние функции памяти известны, но память слоиста, под функциональными находятся более глубокие слои, один в другом, как в матрёшке, и на самые глубокие (или дальние) некоторые люди могут попадать через пространственно-временные туннели, потому что смерть и жизнь существуют в памяти одновременно, да, ушедшие ушли, здесь их нет, но на глубоком слое памяти они живы. Все, что человек изобретает, существовало до его изобретения как про-

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

образ, и кино, возможно, повторяет то, что есть в наших генах: события из жизни людей, окрашенные сильными эмоциями, записаны в них, действительно, как кинофильм. С интерактивным кино теперь, пусть примитивно, зритель взаимодействует, и с кинопамятью скоро люди смогут взаимодействовать. Убедительно?

— Вполне, — сказала я. — Посмотреть можно. Но происшедшее в прошлом нельзя изменить. Можно лишь помочь героям фильма обрести освобождение от вечного круга душевной боли, страха или неведения. И от мучительного их сомнения там в собственном былом существовании здесь. То есть завершить сюжет.

— Пока нельзя изменить.

— Знаешь, мне кажется, двигаться по этому пути дальше не надо.

— Боишься Минотавра?

Я не сразу ответила, потому что, внезапно повернувшись, увидела, как мимо окна кафе прошёл, ступая мелкими, точно робкими, шажками, маленький старичок-священник.

— Чувствую запрет. Главное, что все они были...

— Не были, а есть. Мы-то с тобой это знаем.

В оконное стекло стукнули крупные капли дождя. На соседнюю стоянку подъехала машина. Из неё выбрался Олег и, открыв боковую дверцу, извлёк за руку моложавую худую брюнетку. Других свободных мест в кафе уже не было, и, когда они вошли, я позвала их за наш столик.

— Это мой бывший одноклассник, — представила я Олега художнику Б. — Бизнесмен, герой нашего времени.

— А это моя бывшая одноклассница, — обратившись к спутнице с улыбкой, сказал Олег, — с которой мы знакомы не два дня, как с тобой, а ровно триста лет. Три века враждовали и только недавно простили друг друга.

И эффектная брюнетка, посмотрев сначала на меня, а потом на Олега, засмеялась.

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

И силой кроткой и любовной...

А.С. Пушкин

В тринадцать лет Юлия спала с прищепкой на носу. Она хотела сделать нос уже. Ночи стали мучительными: на жарких простынях, то и дело переворачивая раскалённую подушку, Юлия тяжело дышала открытым ртом, как наколотая на обломанный крючок рыба, жестоко выброшенная на горячий песок. С полгода назад она услышала разговор матери с учительницей Кушниковой, сказавшей проникновенно и удивлённо: «У вас такая красивая старшая девочка и такая некрасивая младшая». Юлия, разумеется, была младшей.

Никем, кроме учительницы Кушниковой, разница между девочками в полтора года совсем не замечалась, и Юлия, проводя всё своё время с сестрой Верой, беленькой розовощёкой тихоней, неосознанно отрицала её отдельность и считала голубоглазое личико всего лишь своим отражением, игнорируя тревожные сигналы, порой идущие не от домашней атмосферы, на вибрирующей ткани, которой то там, то здесь расцветали милые сестрины улыбки, но от тусклой усмешки трюмо, притаившегося в углу материнской комнаты.

«...и такая некрасивая младшая!..»

Весь привычный мир вдруг потерял прекрасные округлые очертания, раздражённо сломав, как спички, ровные линии пространства, чтобы тут же пронзить Юлию ломаными кривыми, ранить острыми углами; яркие, насыщенные цвета любимой обыденности, словно заболев, потускнели, пообсыпались, и собственное лицо в зеркале, к которому, охваченная ужасом катастрофы, подбежала девочка, оказалось чужим и некрасивым

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

лицом — в самом центре которого по-хозяйски разместился широкий курносый нос — грубоватая пародия на чуть вздёрнутый изящный носик старшей сестры.

«Девочка с таким именем, — раздумчиво прибавила учительница Кушникова, — просто обязана быть красавицей!»

А виноват в случившейся катастрофе был именно он, ужасный господин нос, властно вытесняющий за пределы любого внимания большие серые ясные глаза, тонкие брови и маленький рот, который, приоткрывшись, мог одарить каждого лунным светом ровного, точно выточенного мастером, белого ряда зубов. Властвуя на лице днём, нос предпринял попытку отвоевать и пространство ночи, но здесь господство его было отвергнуто древними образами, в конце концов превратившими и его в заколдованный холм, два отверстия которого уводили через сны в далёкие пещеры, где царствовали мрачные и уродливые подземные жители.

Шёл 1915 год. Волшебная палочка растущего ствола эстетической ринопластики переживала пока период младенчества, походя на робкую травинку и абсолютно не ведая, что в конце века тысячи отчаявшихся юлий будут бежать под сень её разросшейся кроны, сверкающей серебристыми скальпелями вместо листвы... И, спасаясь от затягивающего омута отчаянья, Юлия полюбила Сирано де Бержерака и навсегда отделила своё отражение в зеркале от своей души, приняв его как маску, которая зачем-то намертво приклеена к её настоящему, красивому, лицу и которую она вынуждена предъявлять людям.

Однако внезапное открытие собственной некрасивости склонило её к образованию (она стала читать всё, что попадалось ей на глаза) и к размышлениям. И первая мысль, которую она записала в дневнике своего сознания, на чистой клейкой странице пробуждающейся юности, было удивлённо-горькое знание о мире, в котором проявленное может дисгармонизировать с непроявленным, будучи зачем-то связанным с ним тайной совместного зарождения. Как связано её лицо с её душой.

МАРИЯ БУШУЕВА

Юлия и раньше подслушивала разговоры. Она не делала этого намеренно, не пряталась за портьерой, превращаясь на миг в подрагивающие частицы пыли, не затаивалась в шкафу испуганным смешным котёнком, — посторонние беседы и признания как бы сами находили её, проникая тонким дымком в любопытные уши и уже затем в тайник её души, в котором теперь кроме памяти о первой любви к светлокудрявому Павлику — младшему сыну отца родного дяди Николая Петровича, поселилось горькое знание о самой себе, полученное от учительницы Кушниковой.

Павлик учился в Петербургской Академии художеств, но порой всё-таки приезжал в их пограничную окраинную глухомань, чтобы повидаться со своим отцом, скромным и очень добрым стариком-иереем, уже много лет служившим в небольшом миссионерском приходе. Это как раз Павлик и рассказал Юлии, как, ещё совсем маленькая, будучи у него, двенадцатилетнего, на именинах, она, балуясь, порвала несколько страниц старинного Евангелия от Иоанна, вызвав гнев другого двоюродного деда, Павла Петровича, тоже иерея и тоже миссионера, в честь которого Павлик был и назван, хотя всё равно не любил его: больно тот был резок с детьми и фанатически нетерпим к малейшему уклонению от церковной обрядности.

И тогда Павел Петрович дал болезненный шлепок девочке по руке и раскричался, бегая по комнате, как чёрная птица, подпрыгивающая, тревожно машущая крыльями, но почему-то не взлетающая.

— Дурной знак — разорвать Священное Писание! Не к добру это! Евангелие сие ещё пращура нашего. Он по нему остяков учил, когда с митрополитом Филофеем плавал по остяцким и вогульским юртам! — Павел Петрович приостановился и, сжав одной ладонью вторую, хрустнул костяшками пальцев.

— И все безобразия сии оттого, что Филарет привечает в доме старого шамана Кызласова, вот он-то и наслал на Юлю языческого беса! — Павел Петрович опять гневно взмахнул крыльями-рукавами, делая очередной круг по гостиной.

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— Не дело это — священнику с шаманом дружбу вести! Хотя и сам я в мартьяновский музей отправляю шаманские бубны и камни древние, но дух языческий легко может повредить нежную оболочку души младенческой, навек заразив её неверием или ядом чужого суеверия!

— И великих праведников бесы искушали порой, — тихо произнёс седовласый отец Николай, усадив плачущего ребёнка к себе на колени, — а что скажешь про малое дитя? Особливо сильно нападает всяческая нечисть на священнических детей. И от врагов веры нашей нам пребудет польза, как Господь учит. Взыскующей душе отовсюду исходит помощь, а посему даже лютых врагов наших надобно благословить. А вот зла от сердечной дружбы не бывает. Кызласов и не шаман давно, его ведь сам Филарет крестил, и вовсе не враг, а умом Бог его не обидел. А как уж играет он на чатхане — заслушаешься!

— Даже дружба с шаманом бывшим для православного священника — грех! И не верю я Кызласову — одной рукой крестится, а второй тайно камлает!

— Но сам-то ты, Павлин, не тисками же вырываешь у них алыптыг ныхмах, чтобы записать и сохранить для истории ценные сказания сего кочевого народа? Значит, и ты водишь дружбу с язычниками!

— Сначала крещу их, причащаю, исповедую... Сейчас вот начал переводить для них мои воскресные проповеди, изданные в «Епархиальных новостях» в прошлом году. И псалмы понемногу перевожу. Архиерей говорит, орденом Анны третьей степени меня хотят наградить за переложение псалмов на урянхайский.

Павел Петрович успокоился, а вспомнив про обещанный орден, даже повеселел. Когда он нервничал или сердился, то обычно хрустел костяшками белых пальцев, а когда радовался — подёргивал себя за редкую бороду. Вот и сейчас он ловко выдернул волос. Только чуть поморщился.

— А Филарет — музыкант, потому и нравится ему слушать, как хайджи Кызласов поёт да играет. Это ж точно сами Сундуки

МАРИЯ БУШУЕВА

с нами говорят! И нет вреда от его музыки да сказок ни Филарету, ни детям, только радость. А Господь и учит радоваться.

— Не соглашусь никогда, Николай, я с тобой. — Павел Петрович скептически улыбнулся. — Вон Евангелие порвано — и это всё оттуда...

— Да будет тебе, Павлин.

— Э, от этого, от этого! Всё от этого, и учительница к ним в дом неспроста зачастила — греховные чувства ею владеют, помани моё слово, опутает паутиной своей душу Филарета! Небось шаманы и наслали на неё страсть к русскому священнику!

Когда, будучи уже взрослой, Юлия прочитает «Попрыгунью», её воображение достроит смутный чертёж памяти, поместив учительницу Кушникову в центральный круг, отведённый для главной героини, перекликающейся даже звучанием фамилии со своим прототипом, — так часто случается с невыдуманными историями, в которых просматривается подспудный замысел. Замысел этот ускользает от обычного осознания и оставляет своё авторство неведомому. Отец станет доктором Дымовым, а золотистое мельканье его очков и мягкий прищур близоруких глаз покажутся тихим, домашним откликом на растражированные снимки известного писателя. Только в сюжете произойдёт ироничная замена: хорошенькая попрыгунья превратится в шуплую старую деву и выберет не романтического художника, а молчаливого и кроткого труженика, отца... Юлия однажды услышит страстный её шёпот и тяжкий его ответ: «Не могу, Ляля, дети! И сан... сан...»

— Отдайте его мне! — крикнет матери Юлии одержимая тёмной страстью учительница Кушникова. — Отдай-а-айте!

И зарывает, упав между креслом и диваном, кусая артритные пальцы, забьётся на полу, как неровное пламя свечи, и внезапно погаснет, точно выплеснув себя полностью.

— Да, да, — скажет, опираясь на угол стола, чтобы сохранить равновесие, побледневшая мать, — отдам, конечно, конечно, отдам...

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

В этой безысходной страсти блёклой старой девы к отягощённому восьмью детьми скромному приходскому батюшке таилось что-то невыносимо мучительное для сторонней души, может быть, потому, что вырвавшееся пламя способно было прожечь дыру в замкнутых стенах обыденности, на короткое время выхватив из тьмы непроявленности и соединив, как ртуть, зябко подрагивающие персонажи, но не могло спалить серую обыденность дотла. Безбровая бестужевка, приехавшая учительствовать в Енисейскую губернию и одиноко гулявшая с рыже-белой крохотной собачкой, только подпалила священническую семью, которая, вздрогнув, испуганно замерла под покровом старой чёрной рясы. Обутленный подол жалко волочился по огромному селу, поднимая пыль недобрых пересудов...

Увидела учительница красивого высокого диакона в красноярском Рождественском соборе, при свете множества свечей, которые, всколыхнув его тёмно-синий взор, зажгли и её сердце. А через полгода он был рукоположён в священники и, по собственному же прошению, получил приход в большом селе, бывшем когда-то крепким казацким форпостом на южносибирских границах, а позже местом поселения для всяческого пришлого люда, главным образом, крестьян-переселенцев и ссыльных, как политических, то есть тех, кто боролся против царя, так и просто уголовных. Много было в селе и военных, попавших под суд офицеров и солдат, отправленных в Сибирь за дурное поведение в полку.

По характеру щедрый, не умеющий извлекать материальной выгоды ни из какой деятельности, отец Филарет идеалистично решил, что именно в своём приходе, получая 300 рублей казённого жалованья, наконец-то удастся ему наладить спокойную безбедную жизнь, взяв за основу быта и для себя, и для своих семейных постоянный труд. Благо, несмотря на типично русское интеллигентское лицо, он мог равно заниматься и трудом умственным, и физическим. Подобно многим приходским священникам, барства он в быту совсем не признавал и никакого

МАРИЯ БУШУЕВА

труда, даже крестьянского, не чурался. При церкви земли усадьбой вместе с церковным погостом было 5 десятин, сенокосной — 52 десятины и пахотной — 245 десятин. Но последняя земля была пока лишь запроектирована, и поэтому причт ею не пользовался.

Сама церковь в селе была красивая, каменная, имелось в ней три престола: главный — во имя св. апостолов Петра и Павла, другой — во имя Пресвятой Богородицы в честь Её иконы «Знамения», оба эти придела построены были в 1852 году на средства прихожан. Третий престол — во имя св. пророчицы Анны — в 1886 году выстроил на свои средства томский купец Вяткин. Вполне достаточна и содержательна была и церковная библиотека; к тому же недавно открылась читальня при сельской школе, чему Юлия очень радовалась.

Как большинство потомственных священников, был отец Филарет к тому же очень музыкален — играл на нескольких инструментах. И ещё в городе, в часы досуга, порой сам делал скрипки, но в селе надумал заняться и садоводчеством, возможно, с поэтической горечью увидев в плодовых деревьях, доставшихся ему вместе с белым, монастырского типа, каменным домом, и обвиваемых без ухода какой-то болезненной паутиной, почти погибающих, овеществлённые чувства своей души.

Этот свойственный ему взгляд на реальность, как на книгу, которую невозможно прожить, а можно только читать, разгадывая разбросанные между её строк тайные знаки, скорее всего, явился следствием потомственного многоколенного священничества, когда следующий из повзрослевших, вступая на ту же тропу служения, уже воспринимал, благодаря долгому ношению его родом ключа православного символа, и самую жизнь всего лишь как проявленное в материи внутреннее переживание, которое открывалось этим ключом для мира и им же снова закрывалось.

Но всё же и здесь, в селе, много чаще непривычного занятия садоводчеством, отец негромко играл на старинной скрипке,

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

доставшейся ему от деда-священника, и по семейному преданию привезённой в Сибирь не столь далёким их предком — киевским учителем, которого позвал с собой на миссионерскую тропу сам Филофей Лещинский, принявший в Сибири постриг и ставший схимонахом Фёдором. Самодельные же скрипки отец Филарет предназначал детям. По вечерам устраивались домашние концерты — в семье пели и играли на разных инструментах все. На один из таких маленьких концертов и забрёл хайджи Кызласов.

Никакого обильного плодового урожая взрастить отцу Филарету, конечно, не удалось. Часть деревьев уже засохла совсем, на тёмных стволах других выступила густая коричневая плесень, и только в самом конце сада, у калитки, выводящей не в сторону близкой степи, а к видневшемуся за поворотом сельской дороги густому лесу, деревья в первую же весну заневестились и осенью дали очень мелкие, но красные и сладкие яблоки.

Не умел он и собирать ругу, которую не отдавали батюшке со всего села целиком, как это водилось в старину и до сих пор практиковалось в некоторых зажиточных сибирских станицах, а приносили отдельно с каждого казачьего двора — кто немного куриных яиц, кто испечённый только что рыбный пирог или миску свежего творога. Казачки церковь сильно любили; но забитые ссыльнопоселенцы из крестьян не давали ничего священнику вовсе. И отец Филарет всегда стеснялся брать с них даже причитающееся ему за требы, да и для остальных прихожан не назначал определённой цены, а, как-то неловко улыбаясь, вызывая у Юлии этой своей почти виноватой улыбкой самолюбивую досаду, повторял всякий раз, что любой может пожертвовать лишь то, что ему по силам, а если и не по силам вовсе, то и не надо.

К тому же село, перестав быть полностью казачьим, заполненное теперь больше чем наполовину мало приспособленными ещё к Сибири переселенцами, удивительно быстро обеднело. Крестьяне из России тяжело приживались на сибирских зем-

МАРИЯ БУШУЄВА

лях, таких благодатных, но таких чужих, и удивлялись в этом крае всему, даже растущим на огородах маленьким, но очень сладким арбузам, из которых ловкие казачки давно научились варить варенье.

Бывшие офицеры днями напролёт пили или играли в карты и, внезапно протрезвев, являлись к отцу Филарету на исповедь, чтобы снова затонуть на полгода, а солдаты неумело крестьянствовали, нанимаясь иногда к священнику вскопать огород или поправить ограду, за что приходилось платить им. Ссылные же социал-демократы порой даже навещались в музыкальный дом священника, чтобы послушать, как славно играет его струнный оркестрик, а порой и просто поговорить с самим отцом Филаретом о Достоевском или о Толстом. В церковь всё равно не ходили вовсе или бывали там только на Рождество да на Пасху, отдавая дань не до конца растоптанным семейным традициям. Только раз ссылный революционер обвенчался с приехавшей к нему невестой, и то не здесь, а в соседнем приходе, где ещё в начале века служил отца Филарета двоюродный прадед, а псаломщиком был сильно попивавший и потому, наверное, рано умерший его сын, двоюродный дед.

Полутёмные домишки полунищих сагайцев, живущих в деревне неподалёку и приписанных к его же приходу, отец Филарет по двенадцатым праздникам объезжал сам, часто не один, а с женой, матушкой Лизаветой, радуя узкоглазых детишек обычно съестными подарками.

А те из сагайцев, чьи стада овец и лошадей насчитывали сотни, даже тысячи голов или, приписавшись к гильдейскому купечеству, давно обрусели и в селе бывали редко, поселившись в богатых городских домах. Посещали они центральный кафедральный собор, а не белую сельскую церковь Петра и Павла или же, наоборот, сохранили верность шаманам и величали себя потомками княжеских родов Хоорая.

И снова отец Филарет едва сводил концы с концами и вынужден был прибегать к займу. Кредитором обычно выступал

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

дядя Павел Петрович, относившийся к прихожанам с предписанной законом и вполне расчётливо им осознанной трезвостью, а потому живущий достаточно обеспеченно, но иногда помогал и тесть — управляющий железоделательного завода, отец матушки Лизаветы. И подолгу семья барахталась в неводе тяжёлых долгов, таком же прочном, как рыболовная сеть, сплетённая самим батюшкой и отданная кухарке Агафье для её брата, кормившегося продажей рыбы.

— Спасибо, паба Филарет Ефимович! Хорошо, хорошо...

Она служила в семье священника уже три года, а до того была прислугой в аскизском доме миллионщика Кузнецова, и увезённая наконец из города очень радовалась возвращению в родные места. Ведь в недалёком Аскизе жила вся её родня. Готовила Агафья очень вкусно, особенно Юлия обожала корчик — молочный коктейль, который кухарка делала из свежего коровьего молока, покупаемого у соседки-казачки.

— Хызыл нымырха жду, еда будет: хийях, ит будет и палых. — Агафья, беря сеть, кивнула с преданной благодарной улыбкой.

— Да, скоро Пасха, наш улюкюннен...— ответил отец, намеренно употребив хакасское слово «праздник». — И масло, и мясо, и рыбу — всё сможешь тогда готовить.

Агафья, переваливаясь, вышла и через минуту крикнула:

— Паба Филарет, пришли к вам!

Юлия, дверь в комнату которой была приоткрыта, увидела входящую учительницу Кушникову, долгую узкую фигуру которой обтягивали изящная белая блузка и серая юбка тонкого сукна. Дорогую блузку учительница купила в Москве, в магазине Мюра и Мерелиза, о чём не замедлила в прошлое своё посещение с гордостью сообщить матери, одевавшейся в самую скромную одежду, приличествующую, по её мнению, многолетней попадье. Матушка Лизавета пятый день недомогала и не выходила из своей по-монашески крохотной спальни.

МАРИЯ БУШУЕВА

Обида за мать захлестнула Юлию, она захлопнула дверь с такой силой, что даже книга на столике подпрыгнула. Гадкая! Зачем она ходит к отцу?!

— Болеет? Печально это слышать! — запереживала учительница. — А ведь воздух здешний целебный, не хуже, право, швейцарского...

Из Швейцарии учительница вернулась ещё полгода назад, но вспоминала о курорте почти в каждом разговоре.

Охваченной ненавистью Юлии казалось, что сочувственные воркующие фразы, тут же оседаая на половицы, проникали по-змеиному ловко в материнскую комнату, чтобы нанести болящей смертельный укус.

— Сейчас опять стали лечить пиявками, они оттягивают всю дурную кровь...

Нет! Слушать всё это, сидя в захлопнутой коробке комнаты, было невыносимо! И Юлия, с досадой отбросив на кровать раскрытые пьесы Гоголя, ловко вылезла в окно.

В прошлое воскресенье, к радости зрителей (небольшой группки местной интеллигенции), две семьи — многодетная священническая и вовсе бездетная семья друга отца, учителя Веселовского, как раз разыгрывали пьесу «Женитьба».

Красивая пара Веселовских, приехавшая следом за отцом, сразу стала здесь центром культурной жизни. И совместный домашний театрик, сопровождаемый маленьким, но слаженным семейным оркестром, внёс жизнерадостное разнообразие в унылую жизнь долгого приграничного села, где самым частым и почти что единственным развлечением были тараканьи бега, устраиваемые инспектором по делам ссыльнопоселенцев усатым Гаврилкиным. Юлию тошнило от этого зрелища. Гаврилкина она презирала.

Обычно спектакли играли на каникулах, когда приезжали старшие дети, учившиеся в разных городах Сибири: сестра Вера, красивая, со светло-русой косой красноярская епархиалка — ей доставались милые роли юных лирических героинь, высокий

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

розовощёкий Борис, отличник в реальном училище Барнаула, игравший обычно женихов, и учившийся в духовной семинарии Томска Женя, которому даже семинарские учителя прочили карьеру знаменитого певца — такой у него был сильный и красивый, удивительного тембра голос. Пели в семье все, но солировал только он и подруга Юлии, Муся Богоявленская.

Порой присоединялся и самый младший брат матери, длиннолицый, неловкий, не очень привлекательный внешне подпоручик, отпущенный из полка в короткий отпуск. И даже приезжавший из Петербурга на летние этюды светлокудрявый Павлик тоже не отказывался от какой-нибудь небольшой роли.

Только упрямый иерей Павел Петрович считал все их представления «бесовым лицедейством», и напрасно убеждал его племянник Филарет, что театр в России почти целиком вышел из церковных представлений, а уж в Сибири без митрополита Филофея и открытой им архиерейской школы, откуда пошли и драматические спектакли, и даже малороссийский раёк, театрального искусства и вообще бы не было.

— Филофей сочинял пьесы только на религиозные темы, — кисло возражал Павел Петрович, — а вы с Веселовскими всякие гоголевские вольности на сцене вытворяете, хоть ты сам-то, Филарет, не лицедействуешь, а только тихохонько на скрипке им подыгрываешь, но и для семьи твоей не дело это! Накажет за это Бог!

И вчера невесту, конечно, играла сестра Вера, а Юлии, которую нарядили в старое бабушкино платье, повязав на голову кухаркин платок, скрепив помещански его концы надо лбом, досталась, как всегда, противная роль — хитрой свахи...

Юлия бродила недалеко от села, неотвязно думая об отце и учительнице Кушниковой. Вдруг точно ветром принесло неуверенную мысль, которая забалансировала на проволоке горизонта, на границе полусферы сознания и колышущейся степи, ставшей не-

ожиданно сине-прозрачной: а ведь учительница Кушникова — сама жертва. Жертва вечерняя! И сквозь степь стало просвечивать сначала размытое, а потом всё более чёткое, давнее грустное воспоминание: быстрая и глубокая речушка, протянутый над ней старенький мостик, пугающе подрагивающий под детскими ногами. Он дрогнул сильнее — и из рук Юлии, облокотившейся о перила, выпала её старая кукла. Тут же, кружась, полетели вниз детские ладони, не успевшие любимую куклу подхватить. И одна девочка по имени Юлия осталась стоять на нервном мостике, вторая же, обхватив куклу, барахталась в ледяной воде. Ватное тело куклы всё тяжело, и только маленькие руки беспомощно подпрыгивали на злых мелких волнах... И сейчас Юлию снова настигло это странное чувство раздвоения. И тут же беспомощно заколыхались в тёмной воде худые плечи и тонкие запястья, обтянутые нежной тканью блузки от Мюра и Мерелиза...

Степь хмуро сгустила воздух, дурманно пахнула разнотравьем, заволновала ветром траву, отрывая головки сухих цветов, будоражила сухую почву. И воспоминание уже не просвечивало сквозь неё, оно быстро таяло где-то на заднике сцены души, превращаясь всего лишь в мысленный образ.

«Может быть, отец, уезжая из города, тайно надеялся освободиться от этой роковой страсти?» — думала Юлия, используя сама для себя лексику и образность жестоких романсов, которые так эмоционально исполняла в домашних концертах. Даже кухарка Агафья, не понимавшая все слова, и та как-то не выдержала, сказала, покачивая крупной головой: «Хорошо поёшь, чахсы, чахсы!»

«...страсти, уже поймавшей его душу в своё огненное кольцо, сквозь которое безуспешно попытался прорваться, совершив прыжок отчаянья, его разум?»

Разум, точно в классицизме, породившем Правдиных и Добросклоновых, представился Юлии правильным мужчиной, одетым в строгий костюм, и его прыжок через цирковой горящий обруч сразу оказался невозможным: герой и жанр не совпадали!

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

Стало видно, что приближается сильная гроза: небо вдали уже слепило тяжёлую сине-глиняную тучу, но всё продолжало прибавлять к ней тёмные комья, заполняя ими всё светлое пространство до фиолетовой линии горизонта.

...Но, выходит, именно щуплая учительница всё-таки виновата в том, что из города, перекликающегося по вечерам весёлыми театральными огнями, они перебрались в это пыльное огромное село, которое Юлия ненавидела! Ведь в селе не было ничего интересного, кроме церкви, школы и библиотеки-читальни, которой теперь заведовала Веселовская. Правда, недавно поселился здесь один географ, симпатичный, несколько рассеянный красоярец, высланный из города за публикацию статьи в большевистской газете. Он уже спроектировал свою маленькую метеорологическую станцию.

...И прыжок, и побег не состоялись! Одержимая страстью бестужевка, тут же уволившись из городской женской гимназии, кинулась за отцом Филаретом следом и устроилась преподавать словесность в маленькую школу, открытую в селе два года назад благодаря содействию родного брата матушки Лизаветы — Владимира, кафедрального протоиерея и енисейского благочинного.

Ветер с яростью рванул кусты, неистово завихрил пыль на тянущейся от села дороге, словно издеваясь, заполоскал синюю юбку идущей по дороге женщины: это мать, победив недомогание, поднялась и пошла искать Юлию. На помолодевшем от тревоги бледном её лице брезжил розовый отсвет узкой струи света, только что пролившейся из тяжёлой тучи сквозь крохотное отверстие, уже исчезнувшее под новым комком сине-чёрной глины, причудливо вылепленным сверкающей молнией.

— Ю-ли-и-я!

Своим родным дядей Юлия гордилась: отец Владимир, брат, духовник и кумир матери, был антиподом отца Филарета, тихого и замкнутого священника. Несколько лет назад на миссио-

МАРИЯ БУШУЕВА

нерском съезде Красноярской епархии председательствующий на нём молодой протоиерей выступил с таким ярким обличением насильственного крещения хакасов и изъятия у шаманов атрибутов камлания, в особенности бубнов, что отблески его речи до сих пор посверкивали в словесной воде местных газет.

Уже прославивший Минусинским и Красноярским златоустьем, он казался Юлии факелом, громокипящим кубком веры, магнитом, собирающим вокруг себя полукружья людской толпы. Эрудит, знавший несколько языков, он всегда оказывался в эпицентре общественной жизни, волнами откатывающейся от него, когда в соборе на воскресной проповеди начинал звучать его красивый голос. Отец же был скромнен до застенчивости, предпочитая участвовать в жизни епархии только как приходской священник — и не более. Мать отца, бабушка Марианна Егоровна, как-то показала Юлии старинную семейную икону.

— Там-то вот все росписи родословные на обратной стороне изложены, однако за долгие годы поистерлись так, что не разобрать, пращур был аж из самой лавры, учителем потом служил в Тобольской духовной школе, был и певчим в архиерейском хоре, после послушником стал в Долматовском монастыре, но монашеский постриг не принял — женился, любовь земная, то есть оказалась сильнее! — Встав с кресла, бабушка глядела на внука снизу вверх, поскольку росту-то была крохотного и всё посмеивалась порой, что на неё материалу Бог пожалел. — И то ли сын его, то ли внук уже в семинарии получил новую фамилию — Силин, это не от силы физической, они и здоровья были все слабого, не то что твой прадед по матери Лев Максимович, тот и в девяносто здоров, как бык, и ростом великан... — Она помолчала, осуждающе причмокнув.

Вся родня невестки не вызывала у крохотной Марианны Егоровны никакой симпатии.

— А от чего «Силины» — раз не от «силы»?

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— От воинства Христова. — Бабушка вздохнула. — И почти все они подвизались на миссионерской стезе. Такой вот духовный род! И, как один, от природы голосисты, видно, в того первого певчего... Но уж который век по церквам да соборам... куда ж священник без пения?..

— Ну, ещё Расскажи что-нибудь, бабонька, — просила Юлия, обнимая за мягкие плечи и снова усаживая старушку в кресло, — ну, пожалуйста, а?

— И протопопами они были, и псаломщиками, а то и простыми парамонарями у отцов своих, священников, подвизались, женились обычно на поповнах, детей много — где им всем священнические места сыщешь? Денег вот только не нажили, все бессребреники, кроме Павла Петровича, у того и приход богатый, и несут ему казаки не жалея, к тому же он ведь духовник одного из миллионщиков Кузнецовых... От этого безденежья вечного рано служить начинали, порой только училище пройдут — и в церковь, и отец твой такой же, совестливые больно и купеческой жилки нет. — Бабушка Марианна Егоровна покачала головой. — А был, однако, в роду и один епископ, то есть архиерей, академию он окончил в Петербурге, сестру его замуж за священника Баркова отдали, мать-то её в Институте благородных девиц училась, по бедности, видно, за диакона вышла, так ведь и я, ведь все мои деды да прадеды по отцу — канцелярские чиновники, а архиерей-то был как его...

— Выходит, бабонька, ты священников не любишь? А отчего тогда всё по святым местам ездить?

— Сейчас, сейчас вспомню. — Бабушка Марианна Егоровна точно не слышала. — Э нет, забыла, это брат твоей, Юлия, прабабушки. Его рисованный, кем не знаю, правда, портрет даже где-то у нас хранился, может, каким причетником или монахом, да вот затерялся, куда делся, ума не приложу. А на том портрете сам-то он, говорили, был ростом высок и наружностью хорош, а на портрете отчего-то нос у него больно широко-о-ок...

У Юлии, тут же вспомнившей о хозяине своего лица, потемнело на душе — точно тень степного ястреба закрывала её...

Другую бабушку Юлии, Александру Львовну, высокую, сухопарую женщину, Марианна Егоровна сильно не жаловала, вполне серьёзно считая, что мать её невестки — суцая ведьма.

— Да нет же, бабонька, ерунда всё это, — возражала Юлия.

— Э-э, дорогая моя, тебе-то откуда знать?! — Сердилась Марианна Егоровна. — И недаром мебель-то в их доме сама двигается! И всё старуха заранее проведает: мы только-только решили к ним поехать, а она уже на стол велит накрывать! И соседи её боятся, говорят — мысли она умеет провидеть, лет ей уже под семьдесят, а глядит сестрой своей дочери, а пошло это у неё от предка-шамана какого-нибудь, ей-богу, ведь в Сибири все народности и все сословия перемешались, здесь бывший граф, а неграмотный, а тут вон сын разбойника с большой дороги, а Сорбонну окончивший!

— Бабушка Александра, наоборот, гордится своим старинным русским родом, они же не сибирские вовсе, это отец её, Лев Максимович, сюда приехал, — опять возражала Юлия, — вот у дедушки, маминого отца, и в самом деле в чертах лица есть что-то азиатское.

— И не приехал он вовсе, а выслали его сюда за то, что в полку набедокурил, в карты играл, всё телеграммы брату своему старшему отправлял: «Проигрался, вышли денег, а то застрелюсь!», тот жалел его и деньги слал да слал, а потом всё ж таки не выдержал, отбил ему: «Стреляйся, ракалия!» Сейчас племянник, сын умершего его брата, дворянином пишется в Якутске и знаться со своим дядькой не желает, ведь то ли совпало, то ли осерчал Лев Максимович, но и правда вскоре с прапорщиком каким-то и со штабс-капитаном что-то такое они учинили, за что его в Сибирь и отправили, а полковника, который хотел всё дело это тёмное замять, ещё и оскорбил смертельно по глупому буйству своего нрава. А племянник его как в Сибирь попал, этого я сказать не могу, небось дурень-дя-

дюшка и наплёл ему в письмах, что здесь золота да алмазов пруд пруди, вот сам тот сюда и попросился... В общем, всю молодость Лев Максимыч кутил, промотал, что его честные родители нажили, Бог его и наказал — всего он в конце концов лишился, пробовал, правда, после уже торговать китайским чаем, в гильдию купеческую записался, даже пароход арендовал и, надо сказать, сильно вдруг разбогател, дома два каменных выстроил, кольца чистого золота полог над его кроватью держали, с прииском ему, дураку, повезло, но натуру ведь не исправишь, снова всё спустил, дома продал, кольца те так в одном и остались — не смогли вытащить, больно крепко их в потолок загнали. Разорившись, стал нищий тюменский мещанин и свидетельство взял на поиски да на разработку золота и платины, но что-то здесь не повезло ему, он в обер-штейгереры попал, там и с твоим дедом познакомился, который был тогда молодой помощник управляющего, и дочь свою Лев Максимович за него выдал, дед-то твой, хоть я не люблю его, Господь меня, надеюсь, простит, но не признать не могу, не в пример своему тестю настоящий самородок, сирота казанская. Ссылные его русской грамоте научили, а уж местные наречия ему понимать сам Бог велел, ведь бабка его была, точно тебе говорю, минусинская татарка, как-то проговорился он, а может, наоборот, похвастаться захотел, мол, потомок он какого-то Хоран пига, великого хана тумена Хоорай, из которого потом все сагайцы пошли. То-то уж великие... Вот профессор Катанов — тот великий хакас, да, а про этого Хорана кто что знает, может, и вообще выдумал он красивую сказку, чтобы бедную свою родню возвысить?! — Бабушка Марианна опять осуждающе махнула рукой. — Предки его, мол, всё были высокие да светловолосые, такой вот древний народ здесь, в Минусинской котловине, жил, потом уж смешался он с пришлыми, и почернели все волосами, тогда мне так сказал, а теперь давно молчит обо всём этом. Отец-то его из потомственных русских служилых людей, и дети боярские среди них были. Таштып ставили, Бирюсинский станец, Шардатский

форпост, и простые конные казаки да пешие, как мужики крестьянствующие... Только многие из простых-то казаков давно переросли в управляющие да в священники выбились, а то и в казанские дворяне попали. — Бабушка опять осуждающе качала головой. — Но, в общем, всё равно, для меня они — казатчина-азиатчина! Не то что Силины. Кроме учителя киевского, все как один наши! И в Москве Первопрестольной жили! И мои деды-прадеды Чернышёвы — чиновники, и орловские Чубаровы, — тоже священники из однодворцев, и Барковы, и Покровские, и Ольфинские, эти тоже давно русские, хоть изначально вроде из шляхты, с которыми Силины породнились это по жёнам своим, и другие, кого не вспомнишь, а эти твои... ну, одно слово — казатчина-азиатчина!

— Это уже два слова, бабонька! — Юлия, досадуя на раскрывавшиеся семейные тайны, морщилась, точно от лимона. — И казаков ты не любишь, и Азию!

— А для меня это одно!

Даже талант свата к делопроизводству не прибавлял ему достоинств в глазах гонористой Марианны Егоровны, и материнский отец, платя ей той же неприязненной монетой, за её спиной звал её исключительно старухой Миримьянихой.

— И моей ноги у них век не будет! — Кукольная старушка укоризненно поджимала губы. — Сват, сват да не свят...

— Дедушка очень много знает, — снова пыталась заступиться за материнскую родню Юлия, — он из столицы выписывает книги, какая у него большая библиотека, не перечитаешь всех книг, а журналы ему пересылают даже через Китай.

— А всё от того, что кровь смешанная, скажу я тебе, он и к языкам восточным способный. — Бабушка говорила всё тем же критическим тоном, — Лев Максимович вон над китайским даже кряхтел, чтобы китайским чаем торговать, ну, разве так бойко заговорит, как с татарами твой дед? Ей-богу, толмач! И дядька твой, протоиерей, легко урянхайский выучил, даже по-арабски знает, а уж по-сагайски как говорит — точно

на русском. Сам Катанов, наполовину сагаец, наполовину кацинец, местным-то наречиям в Казани твоего дядюшку и обучил, чтобы тот в своём приходе понятные инородцам проповеди читал. А к чему им арабский, что Катанову, что дядьке твоему, скажи на милость? Ради миссионерства среди сагайцев, думаешь? Э нет! Это всё их кровь. Ойрат есть ойрат.

— Но сагайцы — не ойраты, а минусинские тюрки, бабонька, — смеялась Юлия, — их Майнагашев описал, мне папа объяснял, что ойраты — это западные монголы, а вот Павел Петрович в Иркутской семинарии учил именно монгольские языки, потому что так полагается.

— Э, милая, азиатчина и есть азиатчина! Тянет их всех к своей праматери Азии, а Европа хоть и привлекает, да всё чужими огнями светит. Ты погляди, как твой дед учительницу Кушникову ненавидит, а она культурная женщина, петербургская курсистка была, мать её — немка из каменец-подольских дворян, и сама она немецкий преподаёт...

— Да не потому он её не любит, бабонька, что она из Петербурга и что наполовину немка!

— А почему бы ещё? — Марианна Егоровна подозрительно прищурилась. — За что хорошую учительницу свёкру не любить-то? Да и ты туда же: Филарет с полгода назад договорился, чтобы она обучала и тебя немецкому, но ты отказалась наотрез. И с чего бы?

— Не буду я у неё уроки брать!

— Не понимаю. — Бабушка Марианна достала очень маленький шёлковый платочек с вышитой буковкой «М» и коснулась им морщинистого кончика носа. — С чего бы?

У бабушки всё было крохотное: жила она то у старшего сына, то у них и всегда привозила с собой крохотный самоварчик, крохотный чайничек, такие же очень изящные чашечки, точно для кукол. И сама, когда сидела в большом старом кресле, казалась совсем игрушечной старушкой, ноги её не доставали до пола и порой она ими по-детски покачивала...

МАРИЯ БУШУЕВА

— Из-за учительницы Кушниковой мама мучается, — всё-таки решилась сказать Юлия, — я однажды разговор их случайно услышала. Учительница просила отдать ей отца!

— Филарета?

— Да.

— И что мать твоё? — Бабушка не казалась удивлённой и спрашивала вполне ровным тоном.

— Мама сказала, что отдаст.

— Это что делается-то! — Голос забугрился, пошёл волнами. — Он же не вещь, ей-богу!

— Не вещь, — повторила Юлия глухо.

— Вот я их отстегаю обеих! Что делается! А Филарет-то мой, ну, агнец!

— Ладно, бабонька. — Юлия уже решила, что напрасно пересказала фрагмент подслушанного разговора, бабушка проговорится, и виноватой окажется она, Юлия, а вовсе не долговязая учительница Кушникова! — Лучше пойдём побродим по степи, и ты мне расскажешь ещё что-нибудь!

— Да уж пойдём, хоть проветрюсь после такого известия! — Сердившаяся, когда её называли по-просторечному Маримьяной, объединяя в одном имени сразу два: «Миримяна» и «Марианна», крохотная чопорная старушка, всегда носившая строгий серый костюм и покрывавшая голову тёмной бархатной шапочкой-наколкой, очень любила гулять по недалёкой степи и плела и там вязь семейных легенд, паря вместе с внучкой над змеиными сопками, то описывая белокурость и стройный стан своих орловских, разумеется, никогда не виденных ею прапрабабушек, то вплетая в зигзаги воспоминаний какого-то новокрещена, на дочери которого хотел жениться один из прапрадедов-священников... — Отец её, местный князёк, сам-то принявший русское имя, дочери не разрешил окреститься, шаман, видишь, ему местный запретил, да ещё проклятье грозился наслать. А полюбила она попа нашего так сильно, что заболела и умерла с горя, когда ему от-

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

казали. И он долго страдал. Красивая, наверное, была, хоть по мне остяки все на одно лицо.

— Они на минусинских татар похожи?

— Нет, на родственников своих, енисейских остяков. — Бабушка, остановившись, наклонялась и внимательно разглядывала землю и траву у своих ног. — Может, оттого-то с той поры и рождается у Силиных в каждом поколении один черноглазый черноволосый младенец, но никогда не выживает, ведь каждый младенец — это любовь... Вот та убитая любовь и отмирает уже два века...

— Так не бывает, бабонька, — возражала Юлия.

— Бывает, милая, всё в жизни бывает!

И снова разрывая нить, запутавшуюся в её памяти, она связывала её новым узлом неведомого прапрадеда, который написал икону, а она замироточила.

— Это в него у нашего Павлика талант к живописи, в него.

Юлия порой путалась в засохших переплетениях родовых стеблей и листьев. Вынутые из старинных страниц памяти, они тут же рассыпались, исчезая земной пылью в степной траве...

— Отец-то мой, канцелярский чиновник Чернышёв, сам попросился в службу в Сибирь. Написал он расписку за малограмотного купца на большую сумму денег, а тот возьми да сбеги от уплаты, нашли его — да под суд, а отца начальник его спрашивает, как тебя наказать за наивную твою доверчивость, может, в Сибирь поедешь служить, там и денег будет побольше, или уволить тебя, да на улицу? Он и поехал чиновником в Тобольск, заступиться за него было некому, знакомств с большими чинами он не вёл, и деревенька его подле Рязани досталась его сестре, так-так вот... Выходит, жизнь отца моего настоящая осталась где-то далеко-далеко, ушла в туман младенческих воспоминаний... забытая шкатулка с засохшими листьями русской берёзы, жизнь-то его... обрубленная ветка...

Бабушка Марианна вздыхала, сбавив шаг, и смотрела на далёкие облака, медленно встававшие над степью.

МАРИЯ БУШУЄВА

— И женился он здесь на дочке священника Зверева. Это моя мама, твоя прабабушка, ещё дед которого тоже священник был, видать, в семинарии больно баловался, вот и дали ему такую фамилию в наказание и назидание, а прадед, отец его то есть, матушка моя рассказывала, был вроде из Ельца, однодворец Чубаров, и вот орловскую Духовную семинарию окончил и диаконом стал, а вскоре и рукоположён был в священники. Дед мой, священник Зверев, в Иркутске ещё и Закон Божий преподавал да бурятов русской грамоте учил, как вот наш иерей Павел Петрович детишек минусинских инородцев обучает чтению, письму и Священному Писанию. С декабристом Мозгалевским был дед мой хорошо знаком, тяготел, видать, к ссыльным, ссыльные же — почти все образованные и умные были, это не как Лев Максимович — буян, а которые против царя пошли, за то их и выдворили в Сибирь, отчего Сибири было, надо сказать, большое благо. И детей они учили, и музыкантами становились, да и торговля у них шла хорошо. И дедова-то жена, между прочим, была вдовой умершего здесь ссыльного шляхтича, тоже политического. Это за первое ещё польское восстание, она к нему, как декабристка, в Сибирь, приехала, а он и году с ней не прожил, слабый здоровьем был, хоть от каторжного труда поляков чиновники наши, сметливые да сердобольные, обычно стремились освободить. Напишут, бывало, в бумагах, что ходит в кандалах и работает на руднике, а на самом-то деле возьмут себе в гувернёры. Дед мой его знал, и, когда тот скончался, стал вдове его помогать собираться обратно в Польшу, да у них любовь случилась, так она здесь и осталась и, чтобы с дедом моим обвенчаться, перешла сразу из католичек в православные...

— Что-то совсем запуталась я, бабонька!

— Это родная твоя прапрабабка.

— То есть твоя бабушка?

— Так. Э-эх. Сибирь-матушка, кто к тебе попал да сразу не выбрался, навечно к тебе прикипает!

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

— Зато в Сибири не было крепостного права, бабонька, — подавала обиженную реплику Юлия.

Её самолюбие сильно страдало, что её родина — место ссылок и царская колония.

Но реплика, точно пичужка, пролетев мимо бабушки, не коснулась её вовсе.

— А вот Евфимий Силин, — продолжала плести, как Парка, долгую нить рассказа бабушка Марианна, — за которого в двадцать лет я замуж вышла. Пение церковное русское сильно для меня хорошо звучало. Бывало, девочкой ещё встану у храма и слушаю, и у деда своего, священника, была я любимая внучка. Все молитвы, службы, литургии наизусть знала, брату своему Егору Егоровичу завидовала, это когда были детьми, что его в красивый парчовый стихарь оденут и дадут прислуживать костыльным у архиерея. Правда, пошёл он в Чернышёвых — чиновником стал, учился он в гимназии хорошо, науки ему легко давались, на меня же вот счёт, письмо да география, да длинные стихи, которые надо было заучивать, скуку только нагоняли. А сын его сначала в красноярской акцизной компании служил, правда, чинами не выдался, ленив больно, а сейчас вот делопроизводитель в епархиальном училище. Евфимий же, муж мой, твой родной дед, был сначала при отце своём, священнике, псаломщиком, потом диаконом и лишь перед смертью получил в наследство отцовый приход да так и не успел там послужить — лёгкие у них у всех слабые, так и у него...

В очертаниях вдруг быстрее поплывших облаков возникали и таяли парящие ястребы, а степная трава колыхалась от ветра, поднятого ещё копытами далёкой джунгарской конницы.

— В роду-то силинском, — повторяла старая Марианна, словно ящерка — то прячась от взгляда Юлии, то показываясь над сопкой вновь, — а все они светлые, сероглазые... так вот оно как — в каждом-то поколении, Евфимий рассказывал, рождался всегда один черноволосый, черноглазый ребёнок, уми-

равший во младенчестве, может, и точно, проклятье остяцкий шаман наслал за дочку свою, а может, как раз от того первого черкаса, митрополитом привезённого, может, и в него, хохлы, они часто чёрные да кудрявые, а вообще-то, милая, в каждом русском роду есть иль один ногаец, а то и сагаец. — Марианна Егоровна, сказав в рифму, хитровато улыбалась, точно ей удалось раскрыть чей-то намеренный обман.

— А которые из сибирских казаков — так и вовсе каша-малаша, и наполеоновские французы даже среди них были, что в плен попали, и калмыки местные — мелких мурз потомки, а те казаки, что пришли в Сибирь с Дону, кого только в жёны там себе ни брали, турчанок, знай, наворовали. Сибирь-матушка всех в русских переплавила, и много золотого народа оттого вышло, но и пустой породы немало, которая только дикость да грязь...

Бабушка иногда странно подпрыгивала на сопке, и тут же колыхалась возле её крохотных ног волнистая юбка.

— И фамилия-то нередкая: какой русский род ни копни, одного либо зятя, либо свёкра с фамилией оной найдёшь непременно. Да только силушкой-то своей управлять надо умом да сердцем... — Старушка-ящерка замирала, подняв голову к небу, где теперь неподвижно стояли редкие облака, казавшиеся Юлии размытыми отражениями древних менгиров.

— ...Первая-то моя дочка Магда с чёрными кудрями прямо и родилась, да не прожила и месяца. Тогда-то я поклялась: коли родится мальчик, станет он священником, как все Силины и как мой дед Стефан Зверев, а лучше, думала, чтобы стал монахом. В монашестве самая сердцевина православной веры. Молитва монаха мир очищает, оттого я хожу да езжу по святым местам. Вторым родился твой отец, Юля. Имя ему дали по святому Филарету Милостивому. Думала я, монахом станет, в архиереи или даже в епископы шагнёт, ведь ещё и в честь знаменитого московского митрополита, который самому Пушкину стихами ответил... Э-э, всё стирается из памяти с годами, вот и моё имя звучное «Марианна» поистёрлось, как дорогое кашпо. Теперь у меня

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

в доме такое служит лишь местом хранения булавок, ниток да напёрстков, и незаметно превратилась я в бабу Маримьяну! Но ты смотри, терпеть я не могу, когда меня так зовут!

Миниатюрная старушка опять возмущённо подпрыгивала на сопке, и тень её, тянущаяся по сухому ковылю, цепляясь за него и за острые камушки, шуршащие под ногами, становилась всё больше.

А два года назад то же случилось с младшей сестрой Юлии — черноглазой двухмесячной Наденькой. Младшие сёстры тогда плакали оттого, что у них отняли живую куклу, а брат Юлик, от рождения калека, пытаясь найти внезапно исчезнувшую мать, тревожно метался по дому, как маятник, равномерный ритм которого сбит внезапным ударом. Аритмия его шагов вдруг передалась сердцу Юлии — она вырвалась из дома и торопливо пошла к церкви, в которой отпевал младенца сам отец.

Золотистый купол качнулся перед её глазами, как лодка, но был удержан на месте невидимым канатом. Ветер пробежал по сухой листве, сметая её к ногам. Сердце стало стучать ровнее, и Юлии вдруг показалось, что когда-то всё это уже было: угаснувшая двухмесячная девочка, мечущийся по дому хромой брат, исчезнувшая мать... Она будто вспомнила, что точно так же стояла, глядя на золотой лист церковного купола, и почему-то боялась, что он вот-вот будет жёстко сорван внезапной бурей, и красно-багровое начнёт неистовую бесовскую пляску, яростно вплетая её сумасшедший ритм в минорную желтизну осени.

Отыскивали мать поздно вечером у степного костра далеко от села. С древней старухой-сагайкой, безмолвной, точно каменная Хуртуйах тас, сидела она, обратив застывшее лицо к огню, порывами падающему к сухой земле, как плакальщица, и, когда отец и Юлия подошли, не произнесла ни слова. Молчание её длилось ровно год. И никто в семье уже не верил, что душа её сможет вынырнуть из той глубины печали, в которую погрузилась.

МАРИЯ БУШУЄВА

Багряными отсветами степного костра мелькала и мелькала в их семье учительница Кушникова.

Все тогда жалели закованную в молчание матушку Лизавету, кроме старой Марианны Егоровны.

— Казачье упрямство, — говорила она, поджимая губы. — То-то горе! Сами еле-еле концы с концами сводят, а о слепом котёнке страдают! Правда, я сама-то едва умом не подвинулась, когда Магду потеряла, черноглазого первенца моего... А Надежда последняя у неё... Ведь годики уже... И как не было у них счастья с Филаретом, так и не будет, а виноват во всём дед твой — азиат. Ведь просил Филарет отдать за себя не младшую, а старшую дочь, Глафиру, которая сначала с родителями жила, а потом вышла замуж за моряка, он на море, правда, только ревматизм ног нажил, а теперь вот вроде прииском управляет. Отказал наотрез! «Нет, — сказал, — бери, младшую!» И что про что? Упёрся, и всё. Филарет ходил-ходил и согласился. А что было делать? Я-то бедная чиновничья вдова, вот он и женился. Небось думал голубь, поближе к Глафире будет. А та уехала вскоре.

Её крохотные ноги утопали в звенящей траве, где могли затаиться ядовитые змеи, но бабушка знала заговор, и Юлия бродила вместе с ней по жёлто-коричневым сопкам, ничего не опасаясь: ни одна змея не смогла проскользнуть сквозь мысленную бабушкину преграду.

— Казачье упрямство, только и всего-то.

Приезжал старый иерей отец Николай, сидел подле молчащей свояченицы, держа её похудевшие пальцы в своей узкой мягкой ладони.

— Ничего, ничего, — говорил он, — всё образуется, обет молчания добрые силы души укрепляет.

Юлия подходила, садилась с ним рядом. Замкнувшаяся мать вызывала у неё тревогу.

— И тихость чувств, и любовь к Богу, и усердие в молитве, — всё это есть у матушки, не оставит её Богородица Заступница...

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИ

А человек каждый — это прозрачный сосуд, Юлинька. — Седой иерей, как всегда, мягко и как-то застенчиво улыбался.

Улыбки у них с отцом Филаретом были очень схожи. И поглядывал из-под белых бровей на внучатую племянницу, только ещё вступающую на тропу юности, — что в сосуд налито, таково и лицо! Светлая душа у Лизаветы. Блаженны непорочные в пути, ходящие в Законе Господнем.

Юлия сердилась, ощущая и свою душу открытой, словно у батюшки был к её тайнику магический ключ, но сердце её всё равно отзывалось на общение со стариком какой-то светлой радостью.

А бабушка Марианна Егоровна всё качала и качала головой, как китаянка, чьё бледное личико, проступив на дне фарфоровой чашки и подмигнув Юлии, почему-то не радовало её душу, а скорее пугало...

— Казачье упрямство, только и всего!

Заговорила матушка Лизавета на Рождество, катаясь со снежной горки. Простудилась самая младшая из детей — Галюша, она лежала, окутанная красноватым облаком сильнейшего жара, и, когда доктор Иван Викентьевич Паскевич, давний знакомый отца, твёрдо пообещал: «Уж к Пасхе будет точно здорова!», матушка едва слышно прошептала: «Спаси Господи!»

Она и сама родилась утром в Рождество; крестивший её священник, будущий муж двоюродной сестры Филарета Евфимовича, тогда ещё девятилетнего мальчика, статный и седовласый иерей Иероним Покровский, впоследствии протоиерей городского кафедрального собора, усмотрел в дне её рождения указующий перст: или монахиней станет, или женой священника. И каждый раз на Рождество Юлии вспоминалась эта множество раз рассказанная ей и отцом, и бабушкой, и самой матушкой Лизаветой семейная история, потому светлый праздник слился для неё с милым и кротким лицом матери, даже казалось, именно в честь неё звучали радостные рождественские песнопения.

МАРИЯ БУШУЄВА

И даже белый рождественский снег, падающий на церковь, осаждая золотистые купола, смешивающийся с их весёлым звоном, становился как бы материнским, точно душа матушки Лизаветы, расширяясь, окутывала и колокольню, а потом, поднимаясь к небу, проступала через облака, снежным покровом обнимая землю. Рождество — это была она, только она...

В августовском Преображении, который в селе называли Яблочным Спасом, Юлии виделось тоже своё, особенное. Она всегда замечала, что старинные иконы при ярком дневном свете, обнажающие рукотворность, удивляющие простотой красок и часто каким-то вроде совсем неправильным расположением частей изображения, при неровном свете свечей таинственно преображаются, окутанные фимиамом, точно оживают, отделяясь от рукотворности, от деревянной доски, на которой воплощены, и, возможно, благодаря намеренной неправильности расположения именно в зеркале души призванной таинственно преобразиться. Лики святых начинают проступать уже не на деревянных досках, а как бы на самом колеблющемся пространстве церкви, пристально глядя прямо в сердце... Это оживание и мистическое преображение икон Юлии как раз и виделось в августовском празднике.

Отец же более всего любил светлые пасхальные службы, к которым загодя готовился, радуясь, если дети помогали ему.

— Пасха наполняет душу надеждой, — как-то сказал он, — и сама душа становится светом и звоном...

Перед Пасхой дети старательно украшали церковь, порог которой верующий должен переступить с трепетом, казался Юлии просто продолжением её собственного дома. Но всё же она знала, в отличие от домашних предметов, каждая вещь даже в сельском храме, будь то круглый дискос или серебряный старинный потир, покровцы, чаша для освящения воды с тремя свечами, дымящееся кадило — были не просто необходимой для проведения службы знакомой утварью, но и некими навечно застывшими в янтаре времени ключами к той мистерии Таинств,

которая пробуждённая верой вновь оживала на цветном экране янтарной тени каждого привычного церковного предмета.

— Дискос круглый, а круг — это непрерывное движение жизни, сама вечность, потому дискос и есть символ Церкви Христовой, — отец точно снимал с предмета его бытовую оболочку, пропылённую от долгого и частого употребления, помогая высветиться той его сути, которая и обладала протяжённостью сквозь время. Напоминает он и о Тайной Вечери. А вот потир — это святая чаша, которую дал Иисус на Тайной Вечере своим ученикам.

Православная символика была красива, пугали Юлию только «кровь и тело Христово» — ей совсем не хотелось причащаться таких странных даров.

Из всех церковных предметов сильнее всего её восхищало старое, ещё дедово, кадило, двойной серебряный сосуд на цепочке для воскурения благовонного дыма — каждения.

Отец порой разрешал ей зажигать древесные угли, на которых сгорали кусочки ладана, распространявшие таинственно преображающий мир церкви благоуханный дым, чуть похожий на запах степного чабреца.

Даже цвет одежды, в которой совершалось богослужение, имел свою символику: белое облачение начала пасхальной службы означало Божественный Свет воскресшего Христа, а красный цвет пасхальной литургии — победу и торжество жизни.

— Зачем нужна такая старинная одежда? — как-то спросила Юлия отца.

Она стеснялась его будничной чёрной рясы, а праздничный парчовый стихарь воспринимала как театральный костюм — в похожих расхаживали по сцене оперные бояре.

Отец стал долго и грустно объяснять, что священник не волен в выборе своей одежды, потому что служит не себе, не жене, не детям своим, но Богу. Даже крестьянин, переехав в го-

род, может надеть городской костюм, и купец сменить сапоги на ботинки, хоть костюм у каждого слоя общества свой, однако переход от одного яруса к другому открыт, пусть и требует умственного усилия. Но крой костюма или фасон женских шляпок меняется, всё в мире подвержено изменению и распаду, оттого-то церковный ритуал должен быть неизменным. Священник служит вечности, которая есть мир Горний, и покрой одежды его тоже не меняется веками, она ведь и отделяет его от суеты сует, от жизни брэнной, показывая, что мир Божественного не подвластен смерти...

— Наверное, так жить тяжело?

Отец не ответил.

Юлию поражало, что мать внешне очень приветливо принимает у них в доме учительницу Кушникову. Та приходила к воскресному обеду, приносила всем большой пирог с яблоками или ягодой, испечённый хозяйкой-хакаской, у которой Кушникова квартировала, а для отца столичный журнал или какую-нибудь книгу.

Обычно матушка Лизавета сажала за общий стол и кухарку Агафью, к чему Кушникова относилась вполне терпимо и всегда вежливо благодарила её за вкусно приготовленную пищу.

Однажды она даже вступилась за Агафью, когда гостившая в доме сына бабушка Марианна отказалась обедать, сказав обидное: «Я с рабой за стол не сяду!»

— Вы, извините, настоящая ретроградка! — щёки учительницы Кушниковой заалели, глаза сверкнули. — Вы оскорбляете человеческое достоинство своим архаичным к человеку отношением!

Отец сутуло встал из-за стола, извинился перед Агафьей, относившейся к батюшке с любовной преданностью, обратно пропорциональной её ненависти к его матери, и, не спросившись у жены, ушёл с Кушниковой.

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— А ты что смотришь, соломенная вдова? — возмутилась тогда Марианна Егоровна. — Какая-то нищая курсистка ведёт себя в твоём доме как хозяйка и твою свекровь ещё имеет право отчитывать, а ты сидишь дура душой!

— Я монашествую, — тихо сказала мать, — брат мой Володя отказался от половой жизни, приняв на себя подвиг девства, и я за ним следую. Он — великий человек!

— То ты год молчальницей была, — совсем вознегодовала Марианна Егоровна, — а теперь ещё из семейной постели скит делаешь!

Юлия чувствовала, что и отец понимает: непроницаемый для мирской жизни купол веры над его женой воздвиг её родной брат — фанатичный кафедральный протоиерей. Он окончил семинарию и прослушал вольнослушателем курс в Казанском университете и, мечтая с юности о журналистике, уже будучи священником, публиковал в газетах и журналах свои статьи, скрываясь за псевдонимом. Знаток древней истории Минусы, попробовал он себя и в писательстве, издав повесть «Абис».

Сильнейшее устремление к просвещению Сибири притягивало его к лучшим людям края: он дружил с учёным-геологом Шнейдером, родственник которого Шепетковский был когда-то красноярским головой. Для крестьянина-философа Бондарева, состоявшего в переписке с Львом Толстым, делал, будучи ещё двадцатилетним, переводы с французского, часто встречался и с талантливым этнографом Степаном Майнагашевым, с которым был знаком ещё по Красноярской духовной семинарии.

— Дурной пример заразителен! — вдруг, перестав негодовать, фыркнула старушка.

Юлия не поняла — то ли это смех, которому она не дала выплеснуться, то ли возмущённое «фу».

— Братец твой явно в архиереи метит, при живой жене монашествует, точно вдовец, а это грех, грех, она, бедная, всё это терпит! Для высокого церковного чину и монашеский постриг принять собирается, а ты-то куда?! Только Филарета мучишь!

Жить надо по-человечески, а хочешь быть монахиней, ступай в монастырь!

Отец довольно часто уходил побродить с учительницей Кушниковой в степь, проходя сквозь ряды любопытствующих деревенских окон, точно сквозь строй, с застывшей мукой на лице. И Юлия, даже в отдалении от отца, чувствовала, что, выйдя из села на просёлочную дорогу, он сперва ощутит радость окончания пытки, а потом долго ещё будет возвращать себе священнический образ, поскольку, не сделай он так, сомнение в собственной чистоте недобрыми взглядами напластовавшееся на его сутулую спину, пригнёт к земле и его душу.

Юлия догадывалась и о том, что отец гуляет с учительницей Кушниковой только по открытому пространству степи, не уклоняясь ни на шаг в сторону леса намеренно, чтобы не дать древесной шепчущей тьме окружить его сознание и пробудить силу древних инстинктов, подтолкнув их к прорыву, как Адама и Еву к злополучному яблоку. Прозрачность пространства охраняла его почти столь же сильно, что и молитва. После такой прогулки отчаявшаяся пробиться через его нравственный самозапрет учительница обычно не появлялась в их доме неделю, чтобы опять, с пирогом в руках, а порой и с полусухим букетиком степных цветов явиться к воскресному обеду.

В один из таких дней она познакомилась с приехавшим из Петербурга Павликом. Уже окончивший курс живописных наук и ставший молодым мужчиной Павлик, однако, не утратил наивной голубоглазости и розовощёкости. Такими же безмятежно-светлыми были все его пейзажи.

— Подарите! — задержав в артритных пальцах его зелёный луг, попросила учительница Кушникова. — У вас, Павел, однако, талант!

Розовощёкость рассыпалась на неровные красные пятна в контраст к внезапной сильнейшей бледности отца. Если бы Юлия оказалась сейчас на его месте, она бы вскочила, взяла скрипку и доказала безбровой кокетке, что талант есть не

только у приехавшего Павлика! Но ревность сковала отца: он ещё больше сгорбился, опустил глаза, чтобы не видеть оживлённого лица учительницы.

В дневнике сознания появилась новая запись: все чувства, которые испытывают люди, в сущности, одинаковы, набор их постоянен и соединённые этими одинаковыми чувствами, точно каналами, по которым потоки чувств перетекают от одного человека к другому, люди похожи на лес, корни которого, питаясь едиными соками, намертво переплелись. Или на систему ирригационных каналов, сохранившихся в Минусинский котловине и насчитывающих три тысячи лет. Но оттого так опасна взбудораженная толпа: чувство разрушения, несущееся по каналам единой системы, накопив колоссальную мощь, прорывает ограждения и вырывается страшным потоком, сметающим всё на своём пути!

Юлия была так горда своей «теорией чувств», что не удержалась и поделилась ею с дядей Володи.

— Но если это чувство — любовь к Богу? — спросил он. — Рассказывают, что во время проповедей Иоанна Кронштадтского иногда под куполом собора точно огонёк загорается, один, потом второй, третий — и внезапно вспыхивает гирляндой единая цепь, объединяющая всех молящихся в соборе!

— Может, и Святой огонь в Иерусалиме возникает так? Явление электричества, которое источником имеет человеческий магнетизм?! С другой стороны, существует ли такой магнетизм...

— Господи, спаси и помилуй, это не девочка, а какое-то горе от ума! — услышав конец их беседы, воскликнула встревоженная мать. — Все мои дочери как дочери, но Юлия!

Дядя Володя тут же вступился за племянницу, но как-то обидно для неё, подчеркнув её юный возраст и «будоражающие инстинкты».

— И огоньки эти, — пробормотала Юлия, — только отсветы свечей, вот и всё!

МАРИЯ БУШУЄВА

— Все мы отсветы свечей, вот и всё, — эхом отозвалась матушка Лизавета.

«Нет, ни с кем нельзя делиться, — вечером думала Юлия, чуть не плача. — Тютчев прав: молчи, скрывайся и тай».

По далёким волнам степных курганов гулял ветер, донося до села горьковато-сладкий запах разнотравья: ковыля, чабреца, полыни, пырея, типчака, овсеца, лапчатки, мяты, — запах, настолько любимый Юлией, что, втянув его в себя каждой порой кожи, она могла ощутить себя счастливой, несмотря на любые огорчения. И сейчас, когда запах трав проник в комнату через открытое окно, Юлия села на постели, потому что её озарило: у неё есть друг, с которым она всегда может поделиться и он не предаст её, не посмеётся над ней и не выкажет взрослой снисходительности, это — степь...

Назавтра она продолжила свои записи, начав пользоваться не только страницами души, но и клетчатыми листами тетрадки, уже зная, что теперь никто о них не узнает.

«Но одно и то же чувство, — писала она, — вызывает у каждого человека своё действие, по-разному влияя на разных людей: например, для кого-то ревность — двигатель жизни, для кого-то — паралич воли. И потому, если мы примем чувство за основное человеческое свойство, мы обнаружим, что человека (и людей вообще) нет! — есть только волны чувств».

...Волны реки, волны степной травы...

В отличие от семей казаков, крестьяне-ссыльнопоселенцы, немногочисленные старожильческие жёны и их дети, многие из которых имели уже явственные остяцкие или монгольские черты, — весь этот сельский, пришлый в Сибирь люд, часто совсем не по-доброму относился к красивому священнику, из окон чьего дома порой доносились звуки скрипки или романсы, и с неохотой посещавший церковь во все иные православные праздники. Пасху тоже любили: красить яйца, светить потом их цветные скорлупки, скрывающие жёлтую сердцевину — сим-

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

вол постоянного возрождения, о чём, разумеется, они и думать не думали, светить и только что вынутые из печей толстые куличи, которые они закутывали белыми платками, чтобы в них сохранялся остаток тепла. Было народу весело.

Церковный двор в канун Пасхи становился полон, и Юлия видела, что отец Филарет, сутуловато подходя то к одной сельчанке, то к другой, как-то остро и радостно ощущает эти минуты служения, своё посредничество между двумя мирами — Горним и будничным, бренным.

Пасхальная литургия казалась Юлии волшебной. Небольшой церковный хор, в котором на Пасху пела и матушка Лизавета, и сестра Вера, и приезжавшая на Пасху подруга Муся Богоявленская, и сама Юлия, звучал чисто и красиво. А Юлии к тому же иногда дозволялось и дирижировать: в епархиальном училище давались азы музыкальной грамоты. Братья прислуживали, выполняя мелкие поручения отца и старого, но ещё очень видного черноволосого диакона Никодима Пузыревского, относившегося тоже к потомственным клирикам.

Юлии больше всего нравились дрожащие в руках прихожан огоньки, полуночный ход вокруг белой каменной церкви и взволнованный возглас отца: «Христос Воскресе!» Первым этому радостному известию откликался старый пономарь, красноносый семидесятипятилетний крестьянин Трифон, потом диакон Пузыревский, и вслед за ним толпа подхватывала: «Воистину!»

Колокола звучали ясно, высоко, точно не на колокольне, а в самом небе.

На следующее утро ставили столы с едой, приходили Веселовские, обязательно заезжал к вечеру Павел Петрович, празднично парчово-атласный, и маленький хромой Юлик трогая красивую ткань, конец которой спускался к полу, с надеждой спрашивал:

— А на Юлика наденут?

МАРИЯ БУШУЄВА

— Отойди от деда Павлина, — приказывала кукольная Марианна Егоровна, — не трожь ризу!

— Не отойду-уу-у! — упирался он.

— Казачье упрямство! — сердилась старушка, тут же угощая подбежавших к ней младших девочек горячими пряниками. Она уже улыбалась и Юлику и, крестясь на икону, сама шла пробовать испечённый Агафьей сладкий пирог.

Порой через сны Юлии прокатывались какие-то массивные жёлтые колёса; катились они вниз, с горы и тонули в извилистой бурной реке, из бурлящих волн которой начинал вдруг проступать чёрный крест. Юлия рассказала как-то сон бабушке Маримьяне, давно мысленно отделив бабушку Марианну, порой с гордостью вспоминаящую каких-то мифических орловских прапрабабушек и гонористую бабушку — вдову польского повстанца, от старой Маримьяны, путешествующей, по-монашески повязав голову чёрным платком, по русским святым местам и умевшей растолковывать любые сны. Конечно, и на сей раз бабушка быстро и многословно объяснила: жизнь, мол, девяностотрёхлетнего Льва Максимыча вот-вот закатится, а следом за ним и жизнь разбогатевшего его зятя — но не своей смертью кто-то из них умрёт...

Она припомнила старого попа Копосова, которому снилось, как загорелись окна в его доме, а вскоре он заболел чахоткой, хорошо, сын у него такой умный да смирный, взял сразу отцовый приход, тем и жизнь старику продлил, не дал ему утруждать себя службой и угаснуть раньше времени, они вот с Филаретом чем-то похожи: оба тихие да честные... Припомнила и другого знакомого силинской семьи — иерея из казаков Байкалова, о котором, уже совсем вроде и не кстати, рассказала целую историю, неожиданно завершившуюся тоже сном:

— И приснилось ему как-то, что приход его водой залит, он эту воду всё норовит как-то собрать, а она сквозь его пальцы течёт, и вдруг — раз! — и вместо воды цветы, кругом цветы! Это

вот к чему было: прихожане его, качинцы, ну никак не хотели креститься, а он всё норовил их собрать вместе, нет, то кочуют, то ещё чего, совсем он было отчаялся, да вдруг как-то на Пасху приходит в церковь, а двор церковный — негде шагу ступить. Пришли все качинцы, приписанные к его приходу и сами попросили окрестить их! И кухарка твоей бабушки Александры у него же тогда окрестилась.

Юлия обеих бабушек равно любила, хотя к Александре Львовне чувствовала почему-то большее уважение: была в характере материнской матери какая-то однонаправленная молчаливая стойкость, хотя взгляд её, всегда устремлённый куда-то за пределы каждодневной озабоченности, казался нездешним. Юлия бы, наверное, почти не удивилась, узнав, что вести ей приносит скачущий по горным отлогам призрак древнего всадника, не того ли, о котором, переведя узкий взгляд с портрета Иоанна Кронштадтского в окно, в сторону Саян, где вилась и туманилась граница, говорил дед Иван Иванович задумчиво: «В самой Библии сказано, победит жёлтый конь», — весьма произвольно толкуя «Откровения Иоанна Богослова». И, едва дед произносил эти странные слова, на вершины сине-жёлтых гор наплывала облачная монгольская конница.

— Казачье упрямство, только и всего! — Маленькая старушка, заклинательница змей, всё качала и качала головой, как китаянка на дне чашки — и чёрная накладка под взглядом наклонившейся за сухим цветком Юлии взлетала выше парящей степной птицы, а потом снова опускалась, чтобы, в такт мелким шажкам покачиваясь на тёмно-русых волосах, чуть серебрившихся под стальным степным солнцем, наконец совсем раствориться в потоке света.

Почему-то всё чаще Юлию охватывали то ли тревога с оттенком уныния, то ли уныние, но какое-то тревожное. Чем старше она становилась, тем меньше (она вдруг как-то отчётливо это осознала) ей хотелось быть дочерью священника.

МАРИЯ БУШУЕВА

Юлия стеснялась отцовской рясы и ненавидела хватающих за её подол грязными пальцами нищих, всегда возникавших у церковных ворот в дни двенадесятых праздников. Ещё ей было мучительно жалко маму — матушку Лизавету, которая с кроткой и какой-то жалкой улыбкой принимала подношения прихожан за требы, кем-то приносимые с благодарным теплом, но кем и с почти нескрываемым раздражением.

Вот служил бы папа врачом, как его знакомый доктор Паскевич, теперь зачастивший к ним, а раньше приезжавший редко, раза три или четыре в год, и всегда первым делом внимательно осматривавший и прослушивавший всех детей и взрослых, даже кухарку Агафью, и только после того садившийся за стол пить чай. Доктор так хорошо пел вместе со старшей сестрой Верой русские романсы, что подпевать им начинала вся семья, и, чтобы послушать ладное пение, останавливались возле раскрытых окон поповского дома случайные прохожие. А как выразительно декламировал доктор стихи любимого им Фета!

Узнав, что Вера выходит замуж за племянника хакасского бая, русского по матери, даже образование получившего в Петербурге, Иван Викентьевич с грустью признался, что опоздал — оказывается, он мечтал на Вере жениться, хоть был и старше её на восемнадцать лет.

— Ну, ничего, — добавил доктор с лёгкой улыбкой, — уже подрастает Лулочка (так он звал Юлию), — я и её люблю, правда, пока больше по-отцовски.

А жених Верочки, ничего не скажешь, красив!

— Чудесный человек доктор Паскевич, — часто говорила матушка Лизавета, — вот ему бы в священники.

— Так он матерьялист, — возражала бабушка Марианна Егоровна, — а значит, неверующий!

Отец доктора был потомственным дворянином и штаб-лекарем, служившим в Иркутске. Лет десять назад познакомил отца Филарета с Паскевичем дядюшка Павел Петрович, кото-

рый, учась в Иркутской семинарии, лечился у него, тогда практикующего студента, от воспаления лёгких. Юлии Иван Викентьевич очень нравился, и её, конечно, задело, что, оказывается, тот стал так часто у них бывать из-за своего серьёзного увлечения сестрой Верой. Правда, он уже не так молод... Но почему Юлии всё-таки не выйти за него? Ведь, в конце концов, сестру он забудет! Стать женой врача разве плохо? Но лучше бы вообще родиться не в Сибири и жить, ведать не ведая, что существует где-то далёкие дикие горы, пугающие детей менгиры и невообразимые морозы!

Орловских прапрабабушек Юлия почему-то не могла ярко представить, может, и оттого, что русская Орловщина не казалась ей столь романтической, как маленькая гордая Польша. А вот бедную вдову мятежного поляка, бабушку Марианны Егоровны, она видела явственно: такая узколицая, с тёмными локонами вдоль бледных щёк. И что заставило её первого мужа, этого глупого девятнадцатилетнего офицера, бунтовать? И почему она, овдовев и выйдя вскоре замуж за русского священника, не уехала вместе с ним на Родину, а осталась здесь, на окраине мира?! Юлия мысленно срывала со стены портрет прапрабабки, темнеющий в просвете родовой истории, пересказанной Марианной Егоровной, и топтала, топтала, топтала! Чего им там, в изящной своей стране не доставало?

Бабушка Марианна говорила: свободы им наш царь не давал. Чушь! Дед прав: монархия — это всего лишь порядок, а любой бунт — это просто выплёскивание нерастраченной на полезные дела дурной энергии, та самая, скопившаяся в единой системе человеческих чувств, сила разрушения!

Кружилась бы сейчас Юлия на балах... Она, подобно многим юным девицам, представляла себя в белом платье с бледно-розовым цветком в волосах. А не ходила вместе с матушкой Елизаветой по бедняцким домам, раздавая пасхальные подарки, но встречая не только радостные улыбки детей и взрослых, но порой и недобрые быстрые взгляды. Отец в разговорах с же-

ной объяснял эту странную неприязнь некоторых прихожан просто: не по своей воле попали они в Сибирь, и священник для них — в каком-то смысле та же кабальная власть, которой как бы нужно отдавать дань.

— А для многих хакасов, — прибавлял он, — все мы навсегда не русские, а казахи, то есть казаки-завоеватели, знаешь, как приговаривает хакасская женщина, разлив молоко, а разлить молоко считается у них очень плохой приметой: «Пусть не мне, а казачке!» Редкие из хакасов последовали сердечно за аскизским князем, который так сильно уверовал в Иисуса Христа, что церковь на свои средства стал строить. А то, что священник и крестит, и венчает, и провожает в последний путь, у сознания неразвитого только зависть пробуждает: мол, почему это он приближён Таинствам, а не я? Чем он лучше — так же пьёт да ест... Такие же портки носит, а порой и победнее!

А отец улыбнулся и прибавил смущённо:

— Матушка, что делать, право, не знаю, нужно бы отдать в починку мои невыразимые, — так отец интимно и полушутя называл свои кальсоны, — а как-то неловко Агафье...

— Я почию, — отозвалась мать.

Порой рассказы бабушки Марианны Егоровны перетекали в сны Юлии, и через несколько дней грань между сном и рассказом совсем стиралась, тогда отцовское будничное служение начинало ей казаться всего лишь театральной игрой в каждодневном спектакле, поставленном по великому, но уже почти забытому и стёршемуся от многократного повторения вечному сюжету, который всё-таки снова оживал, заполнялся красками и звуками, но теперь только в воображении Юлии, дополнявшей тяготевшие к житийному стилю рассказы бабушки романтическими деталями.

...Они плыли по тёмной реке, над которой стояло хмурое небо, сквозь него едва пробивалось северное солнце, кое-где по берегам ещё виднелся чёрный не стаявший снег и замёрз-

шие остяки в страхе и почтении взирали на светящееся пламя седых волос над головой митрополита Филофея и на невиданное белое облако его рясы, вставшее, как колокол, над подплывающей к берегу лодкой.

Филофей Лещинский, человек одарённый и образованный, был и первым тобольским режиссёром: малороссу пришлось, и, надо сказать, с удовольствием, поучаствовать в поставленных им спектаклях. Но мистерия, срежиссированная фанатичной верой Филофея, мгновенно стёрла из памяти учителя приятные воспоминания об обращённых к нему зрительских лицах. Музыкой в мистерии служил ветер, а декорациями — небо и вода...

Позже на Филофея было покушение — местные князьки и шаманы, защищая своих древних идолов, хотели убить его, но в тот раз потрясённо взирая на митрополита, точно на самого Господа, язычники, как дети, легко отдали своих деревянных божков. И эта сцена — подплывающая к берегу лодка, узкоглазые остяки, светящееся пламя седых волос, поверженные идолы — долгие годы снилась и самому тобольскому учителю-миссионеру, и его внукам, и его правнукам. А прадед Юлии порой видел боковым зрением странное белое облако, которое сопровождало его, пока поднимался он по холму и ветер трепал его чёрную рясу, и растворялось оно всегда возле ворот Покровского собора, где служил он настоятелем...

Что отмирало в каждом поколении Силиных вместе с черноволосыми невинными младенцами? Генная память о тёплой Малороссии или архетипный страх первых остяков, проникнувший по воле старого шамана в сердце окрестившего их Тобольского миссионера, страх того, что они не смогут выжить как народ в связи с приходом на их землю русских и обречены будут исчезнуть?

Юлия часто задумывалась над смыслом, скрытым жизненной суетой от обычного взгляда, всего лишь скользящего тенью по тонкой поверхности событий на разбегающихся плавунах ощущений. Не умом, а каким-то сердечным невидимым

прибором угадывала она символику за пыльным стеклом быта, и воображение её рисовало тайные знаки на полотне ежедневных забот большой священнической семьи, трепещущей, как пламя, на ветру внезапной отцовской страсти к учительнице Кушниковой.

Юлии нравилось искать иной, отличный от обыденного, смысл явления ещё и потому, что он прибавлял к реальности, часто скучной и почти невыносимой, глубину не оформленной в слова интуиции, уводящей за пределы конкретного жизненного опыта и тем как бы расширяющей пространство жизни. Смутно мерцающие, точно золотые россыпи во глубине сибирских руд, скорее угадываемые, чем осознаваемые символы человеческого бытия, которым служил отец, и свою собственную жизнь считавший только символом священнической жертвенности, прибавляли к имеющейся видимой трёхмерности, ещё одно — измерение, существовавшее, как ни странно, даже в шаманской мифологии. Дядя Володя восхищался профессором Казанского университета гением Лобачевским, возможно, именно за то, что его новая геометрия намекала как раз на тайное наличие других смыслов, способных открыться за неожиданным поворотом обычной просёлочной дороги.

Бабушкины семейные истории служили тому же: всё переставало казаться существующим только здесь и сейчас, а приобретало протяжённый сквозь пространство и время глубинный смысл уже родовой символики. Передавала Марианна Егоровна легенды и были мужниного рода увлекательно, часто внося в них мифологическую засюжеченность, а романтические детали уже добавляла её, Юлии, собственная фантазия.

«Видимо, бабушка всё-таки любила мужа, — думала она, — если так хорошо помнит всё, что он рассказывал ей зимними долгими вечерами...»

— А отец-то мой, я тебе говорила, был из потомственных чиновников Чернышёвых, правда, большими чинами они не выдались, но зато где только ни служили: и в Москве белока-

менной ещё до Петра Первого... И попов среди них отродясь не бывало...— добавляла вредная крохотная старушка и вздыхала и тут же сухонькой рукой крестилась.

— А наш-то малоросс стал яро помогать Филофею в крещении остяков и вогулов, и в том деле благом так преуспел, что митрополит сообщил о его помощи аж царю Петру Первому и имел от него благосклонное указание: и самого помощника «из черкас», и его потомков определить отсель в духовное сословие. А ещё от митрополита Филофея получил он икону в дар, привезли её из Свенского монастыря. На обратной стороне изложили все родословные росписи, а потом, знаю, Евфимий рассказывал, появилась ещё и приписка, сделанная в 1751 году уже его, малоросса этого первого, внуком: «Дед мой по указу Петра Великого просветил святым крещением северной страны идолопоклоннических народов сот до семи человек, почему в награждение для утверждения православия велено ему старатца детей своих удостоивать в чин священнический».

— Как ты помнишь всё, бабонька?

— А что ж тут такого необыкновенного — это ж тебе не геометрия!

— А я люблю геометрию, — подавала реплику Юлия, улыбаясь чуть насмешливо. Но бабушка Марианна, заметив улыбку, совсем не сердилась.

— Потом на иконе этой про Силиных всё пращур наш написал, — добавляла она. — А вот нищий прорицатель, старик-монах, живущий из милости при митрополичьем доме, предрёк: «Через два века разбросает ветер сей славный род, как яблоки с древа...» Только митрополит-то сам потом постриг принял, стал схимонахом Фёдором, он и утешил: «Была бы вера крепка, из семени новая яблоня взрастёт».

— Это притча, бабонька?

— Нет, быть... Так мне твой дед Евфимий Петрович рассказывал. А князьки остяцкие, между прочим, тогда за дорогой кафтан да за новые сапоги крестились! Свёкор мой Пётр Алексан-

дрович, он даже с Географическим обществом переписку вёл, сильно инородцев любил, всё их сказки да легенды переписывал, обычаи изучал, языки их понимал. Где-то у нас сохранилась его тетрадка с какими-то языческими значками да перерисованными его же собственной рукою деревянными идолами. Оттого и сыновья его — Павел да Николай — всё в мартьяновский музей древности всяческие ими найденные носят, а Павел Петрович, тот даже и в журнале свои заметки про сагайцев и кацинцев публикует.

Бабушка умолкала и замирала в кресле. Только чёрная наколка на её седых волосах чуть поддрагивала листом догоревшей бумаги, которая, вот-вот рассыпавшись и вмиг разлетевшись, осядет лёгкими чёрными хлопьями на белом снегу забвения.

Щель, сквозь которую проникала в сердце Юлии какая-то смутная тревога, а порой и уныние, находилась именно в душе отца, к несчастью, ощущающего себя далёким священническому призванию. Сквозящий из щели узкий холодок порой делал странный изгиб, чтобы задеть и её, Юлию.

После первого года горячей веры и вдохновенного служения явилось отцу сомнение, привнесённое в его душу Марианной Егоровной, по воле которой он и выбрал духовное поприще, однако часто ею же и низводимое до обычного заработка ради хлеба насущного, причём заработка невеликого. «Другие-то живут получше, — сокрушалась она, — а ты, Филарет, вечно беден,мышь церковная, ей-богу, и то тебя побогаче будет!»

Отец молчал. Почитая свою мать, он за всю жизнь не сказал ей ни одного резкого слова. Молчал он и когда Юлия читала вслух всей семье бабушкины письма: «...теперь опишу, как я себя чувствовала в Минусинске. Я там была дорогой гостьей у 5 племянников. Жила у Сюты, ходила к Нинке, она хорошо живёт. Ходила к Готе, к Насте и была у Мали и потом у знакомых в 6 домах. Всего в 11 домах была. У Мамонкиных, у Бобли-

шевых, у Бороновских, у Подюнчихи, у Васильевых, где стояла Клаша Смирехина, у Марусиных свёкров раза 3 была... Хорошие люди и все живут, можно сказать, богато. У Егора Алекс. квартира шикарная, а у Ендингера идёт табачная фабрика, вечером считают деньги с Марусей. Ну, я столько денег не видывала в жизни своей, тысячами ворочают... Нина тоже живёт хорошо, муж её в департаменте. Жалованья нынче получают большие, а у Токаревых сын Алексей служит в банке...»

Святость православия Марианна Егоровна находила только в русском монашестве, особо в русском старчестве, которое называла славой Церкви, да ещё в старинных иконах, ради которых и в память о муже совершала нередкие паломничества. По всей епархии шла молва о схимонахе Филарете, настоятеле Знаменской обители, в которой хранилась Абалакская икона Божьей Матери. Марианна Егоровна ездила и туда, а после опять сказала: «Вот, был бы и ты монахом, Филарет... Имя-то дали тебе такое ведь при рождении, а не как этот... Фёдор, кажется... Человек святой... умнейший!»

Побывала она даже в Киево-Печерской лавре, но вот белое духовенство не сильно жаловала и вечно критиковала:

— Это ж тебе не воевать, — говорила она, поджимая тонкие губы, — и не чиновником спину гнуть, как Гаврилкин, исправник ваш, и не с заразой дело иметь, как доктор Паскевич. Правда, хороший иерей — тот же врач, только души, а не тела, но сам-то он перед паствой своей обязан быть вовсе безгрешен, чтобы стать небесным ловцом человеков, а один поп — глуп, другой — как наш Павел Петрович, хоть и сильно умён, но, скажу я тебе как на духу, больно корыстолюбив и славу мирскую любит, да...

— Любой священник — всего лишь инструмент музыкальный для исполнения на нём Божьей воли, — тихо возражал отец Филарет, — просто, если инструмент хорош, звучит он чище, а значит, лучше Божье Слово до людей доносит. Но когда хорошего нет — и на неважном инструменте сыграть можно: чуткое ухо музыку небесную и на нём распознает.

МАРИЯ БУШУЄВА

— Что по мне, я бы в священники допускала только самых чистых душою, таких вот, как ты сам и есть! — не соглашалась Марианна Егоровна.

— Не таков я. — Отец грустно смотрел в окно на поднимающуюся пыль: кто-то проскакал мимо на лошади. — Пойду, пора к вечерне.

— Папа усомнился в Христе, — прошептала Юлия, когда за отцом Филаретом закрылась дверь. — И я...

— Типун тебе на язык, глупая! — рассердилась Марианна Егоровна. — Не сомнение это у него, а с Богом самим исповедальный разговор!

Юлия угадывала за словами бабушки, критикующей клириков за любой, пусть самый малый проступок и жалующейся на скудный заработок сына, припрятанный даже ею от самой себя, вечный закон обычного обывательского приспособления, гораздо более живучий и аксиоматичный, чем теорема честного духовного служения в вакууме своего сознательного неверия, над которой мучилась душа отца. И ощущала интуитивно: отец не только и не просто зарабатывает семье на пропитание своим священничеством, но отстоит от обыденности и несёт служение, как крест, намертво прибитый к его измученному сердцу.

Внезапное осознание того, что он вынужден прожить чужую жизнь, уронив свою как не развившуюся в росток почку в глубокие пески памяти, тянущиеся через столетия от его пращуров до неведомых потомков, и заменив свою отдельную жизнь протяжённостью символа, привносило в каждый миг его радости каплю обречённости.

«Источник света утерян», — думала Юлия, приближаясь к своему шестнадцатилетию и с болью наблюдая, как душа не ушедшего из семьи отца теряет свою золотистую пылцу, но тень источника всё норовит возвратиться к нему, слиться с ним в своём обратном движении — не оттого ли в отце так явственна тоска по другой жизни? И отношение отца к своей жизни как к чему-то почти чужому в своей случайности попадания в эти

обстоятельств, которые он вынужден и принимать и терпеть, усиливало обострённое и так у Юлии от рождения ощущение временности всего происходящего, присущее многим добровольным или вынужденным переселенцам, их внукам и правнукам, лишённым необходимого чувства крепких земных корней, правда, порой взамен при сильнейшем душевном усилии получавшим силу корней духовных.

Служить честно, стараясь быть честным во всём и всегда, но не Богу, а вере как таковой, полагая её спасением от озверения и падения человеческой души, великой силой противодействия распаду, той таинственной силой, которую дядя Володя называл «вечным одухотворением всего земного». Не имея возможности даже самой себе объяснить угадываемое понимание, Юлия чувствовала, что постоянным молчаливым самоистязанием отца Филарета была не столько отринутая им любовь к учительнице, сколько это мучительное душевное противоречие. Лишь порой сильнейшее усилие по преодолению собственного сомнения выталкивало его душу из скудного помещения обывательской приспособляемости, из страдальчества несостоявшейся любви в светящееся пространство Литургии. Лицо его тогда на мгновение озарялось, и Юлии казалось, что это свет веры, которая вела его в самом начале священничества. Не оттого ли старшая дочь, Верой и названная, так красива, а Юлия — дитя зародившегося сомнения, исказившего черты лица старшей сестры до получения некрасивости? А может, красота детей объясняется просто: любовью или нелюбовью родителей друг к другу в момент зачатия? И Юлии была случайно приоткрыта дверь в жизнь в тёмную минуту родительского сердечного диссонанса?

И в дневнике появилась ещё одна запись, снабжённая несколькими вопросительным и восклицательным знаками: «Ясно одно: струя когда-то славного духовного рода, вскипев и вспыхнув последним всполохом (этот всполох — папин дядя Николай Петрович), отбрасывает нас, нынешних потомков, как слабую

МАРИЯ БУШУЕВА

свою тень, если имеющую какую-то силу, то всего лишь силу выживания в человеческом лесу, ведь именно от латинского слова, означающего лес, образована наша фамилия! Так неужели мы рождены не для жизни, а только для выживания?!»

Матушка Лизавета часто смотрела мужу вслед, когда, сняв рясу и надев обычный гражданский костюм и шляпу, уходил он со своей любимой собакой по долгой дороге пограничного села. Жене, наверное, тогда казалось, что муж не вернётся, и она или начинала метаться по дому, точно стряхивая с себя сор опасений, либо же, наоборот, застывала у окна, замороженная сильнейшим страхом. Чего она боялась больше? Обычной нужды, того, что останется с детьми без средств к существованию? Или необходимости выйти из-под прозрачной, но, казалось, нескрушимой сферы? Фанатичная религиозность матери порой даже печалила Юлию. Через веру было сложно пробиться, а так хотелось своей душой прикоснуться к материнской душе. Несмотря на восьмерых детей, и отец, скорее всего, ощущал рядом не любовь жены, а лёгкую прохладу идеально гладкой невидимой поверхности и чаще видел не живую улыбку земной женщины, а скользящий по дому светящийся вертикальный туннель, в конце которого в центре сияющей сферы колыхалось и мерцало лицо Небесного Жениха. «В лицо это должны верить, — однажды записал отец Филарет в тетрадке, куда обычно переписывал только ноты, — и я, священник, обязан эту веру стойко утверждать, преображая своим служением лицо в лик. Но для меня самого и лик — всего только Образ, вокруг которого воздвигается театр Церкви, где главная цель каждого действия — упорное направление человеческой души в сторону подражания этому Образу, в сторону построения своего духовного естества по его подобию. Однако в моей собственной душе Образ теряет свою зримость, растворяясь, как колокольный звон в гудящем ветре русско-сибирских пространств, уводящих во внезапную тишину. И сквозь ватную эту тишину начинает про-

бываться любимое моё «Свете тихий»... Звучащее пространство, призванное воспевать Образ, в душе моей отделилось от первоцели и само стало Богом».

Юлия, наблюдая за молящимся отцом, так сильно любила его в эти минуты, удивительно красивого и печального, так сильно сочувствовала ему, что могла ощущать его чувства как свои и даже будто и думала его мысли... И много позже была потрясена, открыв эти отцовские записи и найдя его мысли, прочитанные ею, почти девочкой, только не на бумаге, а в его сердце.

— Искушила отца Филарета напасть, — как-то промолвила кухарка Агафья, кинув выразительный взгляд в сторону учительницы Кушниковой.

Матушка Лизавета вздрогнула от её слов и уронила графинчик с вишнёвой наливкой. Он разбился.

Этой горькой, подсмотренной любви обязана была Юлия и не менее горьким открытием: заглянув в образовавшийся обугленный просвет, она обнаружила за серыми стенами ещё одну стену, такую же серую и долгую, упирающуюся в другую стену, за которой проглядывала перпендикулярно к ней прилаженная ещё одна стена, что заставляло предположить наличие за дырой непрерывного и запутанного лабиринта.

Отчаянье человеческой страсти, способной прожечь в стене отверстие, оказывалось цугцвангом: либо душа человека, станцевав танец страсти, падала подёнкой на дно обыденности и превращалась в личинку, либо, прорвавшись через образовавшийся просвет, начинала свой долгий путь по серому лабиринту, не ведая сколь он долг и куда он ведёт... Так поняла урок учительницы Кушниковой шестнадцатилетняя Юлия, любившая шахматную игру.

Спасительную помощь Ариадны Юлия неосознанно отвергла сразу: кто может протянуть ей конец волшебной нити?

Сёстры? Младшие — очаровательные в своей детской непосредственности, ещё прыгают и резвятся в замкнутом и защищённом мире детства. А старшая вышла замуж...

Братья? Евгений учится в семинарии, но думает только о сцене. У него прекрасный голос; Борис, красивый, высокий, голубоглазый, вслед за братом матери — офицером, собирается стать военным и в следующем году будет поступить в Омский кадетский корпус. Самый маленький брат Юлик — калека. У него от рождения не разгибается чуть согнутая в локте рука и одна ножка много короче другой. Юлик — её второе отражение, потеснившее ангельский облик старшей сестры к самому краю материнского зеркала, отражающего все подводные семейные течения. Однажды по его тусклой поверхности вместо красивого зеленоглазого лица матушки Лизаветы проплыл безбровый облик учительницы Кушниковой. Тогда Юлия вздрогнула и оглянулась: позади стояла мать.

Впрочем, объективность любого лица Юлии тоже неосознанно поставила под сомнение после драматического эпизода, происшедшего с ней и её подругой Антонидой Лизогуб, один из предков которой, украинский полковник, был отброшен в Сибирь на полвека позже гетмана Многогрешного, но по сходному обвинению. Возможно, именно какое-то смутное генетическое воспоминание о Малороссии соединяло Юлию и Лизогуб: где-то на дне их прапамяти кудрявый книжник и усатый вояка, встретившись на июльской дороге, неприязненно оттолкнулись, как разгорячённые металлические шары, чтобы вновь скатиться и стукнуться друг о друга уже в Сибири. И отголосок металлического удара до сих пор звучал и в душе Юлии, и в душе Антониды.

Раненый выжил, но след шаманской стрелы пронизал неровными стёжками постоянной тревоги священнический род, растворивший в русской родовой реке и вольный украинский порыв, и гордый польский бунт, и горькую остояцкую слезу...

Только Юлии порой снилось бескрайнее, угрожающее, молчаливое пространство мрака и слабый огонёк одинокой церкви, пунктирно движущейся навстречу её взгляду, то появляясь, то исчезая за чёрно-белыми холмами. Сжавшись над книгой, Юлия слышала вечерами, как превращается в тоскующую му-

зыку скрипки горькая страсть к одинокой учительнице. Часто вместе с отцом музицировал и его друг, учитель математики Степан Веселовский.

— Вам бы, батюшка, в музыканты надо было пойти, а не в попы, — сказал как-то один из его прихожан, наблюдательный сагаец, ещё прадед которого принял православие, приходясь то ли внуком, то ли правнуком князю Амзору, на свои средства построившему первую православную церковь в Аскизе.

— На всё воля Божья, — услышав его слова, отозвалась матушка Лизавета, стоявшая неподалёку.

— Ерунда! — Так подумала Юлия. И повторила мысленно трижды: «Ерунда! Ерунда! Ерунда!»

— Яблоки от яблони порой далеко катятся, а порой и гниют...— Сагаец усмехнулся, и Юлии показалось, что он умеет читать мысли.

— Было бы дерево крепко...— опять отозвалась мать.

Лизогуб — красивая, объёмная тёмнобровая девица, собирала открытки с фотографиями актёров и писателей. Она с ума сходила от красавчика Леонида Андреева, который то позировал рядом с писателем Скитальцем, то улыбался рядом с пролетарским культом — Горьким. Вообще Сибирь звучала и гудела отголосками многочисленных ударов, отбросивших в дальний край тысячи таких же шаров судьбы, и Юлия несмотря на какой-то молчаливый семейный запрет на тему отличия их Родины от России, всегда смутно слышала этот гул, который, складываясь в Уральские горы, образовывал границу между миром свободных столиц и колониальным пространством Сибири.

Сочувствуя отцу в его затаённой страсти, просвечивающей сквозь его рясу, как пламя сквозь ладонь, и стремительно выжигающей в его душе чёрное дупло, Юлия, всё-таки, стыдясь самой себя, считала его неправильным священником, особенно по сравнению с добрейшим стариком-иереем отцом Николаем или с дядей Володи, вступавшим с отцом в яростные споры.

С волнением слушая эти споры, затаившись в своей комнате и подсматривая иногда в дверную щель, по рябому мельканию которой можно было угадать, что кто-то из спорящих движется по комнате, пытаюсь движением утрамбовать до убедительности свои аргументы, она соглашалась то с одним голосом, то с другим, и они при полузакрытых глазах вдруг обретали цвета, отчего весь спор начинал напоминать горячий цветной танец. В разговоре с отцом, тихая речь которого, оттенков светлой охры, всегда тяготела к кусающему себя самого интеллигентскому сомнению, слова эрудита-протоиерея, опиравшегося то на латинские, то на французские афоризмы, звучали гораздо убедительнее. Его вспыхивающая алыми, синими, зелёными брызгами безупречная логика явно побеждала.

Часто к отцу и дяде присоединялся ещё и ярко-синий голос учителя Веселовского, который гневно осуждал царизм, глушащий все сибирские золотые ростки своим властным корыстолюбием. И тогда по синему бежали ярко-красные переливы.

— Шапов, а затем Потанин и Ядринцев, сравнивая нынешнюю Сибирь с её возможным потенциальным развитием, полагали её положение бедственным! Мастеровые Алтайя были закабалены хуже крепостных крестьян, а ведь алтайские заводы были с 1745 года собственностью кабинета!

Сначала работников привозили с Урала, а потом взяли и просто приписали к заводам часть обычных небогатых городских обывателей, которые тут же потеряли все свои сословные преимущества, из свободных людей став почти что каторжанами! Сам посуди, на рудники отправляли работать заводских детей с семи лет! Так относится царизм к человеку!

— Но всё-таки, Степан Степанович, вся остальная Сибирь, то есть огромная территория, фактически никогда не знала крепостного права, — гудел дядя Володя, — приписные крестьяне и каторжане — тёмные пятна российской колонизации, однако вся рабская сеть крепостного права до Сибири не доползла!

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— Инородцев казаки покупали и продавали, записывая их себе в работники!

— Э нет, не всё так дурно! Не прав ты, Степан Степанович, такие случаи — единичны, а сейчас инородцы больше прав имеют, чем мы с тобой: через границу передвижение у них свободное без всяких паспортов. Это из уважения к их вековому кочевому образу жизни, рекрутов из них не берут, жёны и дети, их провожая, не рыдают. Это русский солдат — пушечное мясо! Да, конечно, попытки закрепить своих дворовых, и, между прочим, не только остяков или калмыков, принимались сибирскими первопоселенцами, но безуспешно! Причём и такие случаи всё-таки были редки. Не прижилось в Сибири крепостничество — дух воли его уничтожил на корню. А работники, которых потом держали сибирские зажиточные казаки и обыватели, всегда могли наняться к другому хозяину или начать жить свободно, занимаясь любым ремеслом. Заводы и рудники Алтая — остров государственной кабалы в океане воли...

— Вот-вот, Владимир, — кивал отец Филарет. — Воля — это в Сибири и есть самое ценное, такое же, как богатство её недр. Так и народ здесь говорит: «Царь далеко, а Бог высоко!» Если бы Сибирь вовремя эмансипировалась — давно стала бы второй Америкой.

При делении минусового числа (отцовское неверие) на число правильное (материнская вера) всё равно получается минусовая дробь. Так Юлия оправдывала и своё «неправильное поведение», почему-то упуская из виду, что, не подслушивай она, а выйди к спорящим открыто, вырази свой интерес, они радостно воспримут это как доказательство общеродовой разумности, проявившейся в дочери и племяннице. Но разве так сильно привлёк бы Юлию спор двух священников и учителя, не будь он как бы запретным?

— Отделять Сибирь нельзя! — возмущался дядя Володя. — Только Сибирью будет сильна впоследствии Россия! Ломоносов был прав!

МАРИЯ БУШУЄВА

— Можно дать Сибири почти полную самостоятельность, но в рамках российской государственности, — соглашался отец.

— Ну, так-то правильнее! Полное отделение, как церковный раскол: его следствие — невинные жертвы и трещина единого русского мира, а главное, изгнание лучших, ведь протопоп Аввакум — это алмаз русской духовной культуры! А вообще-то, Степан Степанович, ты во многом прав: царизм совершил ошибку, превращая богатейшую Сибирь в место ссылки: посадишь ветер, пожнёшь бурю! Помяни моё слово, придёт время — перенесут столицу, как Пётр сделал, за Урал! А то, не ровен час, отхватит Сибирь у нас или Америка, вовремя от Англии эмансипировавшаяся, а того проще — многочисленный Китай, который тут же вспомнит Джунгарию и государство кыргызов!

— Австралия вон как быстро развивается, — пыхтел трубкой Веселовский, — а ведь это страна бывших каторжан. Но тебе, Владимир Иванович, дорога в депутаты — ты кого захочешь в чём угодно убедишь! Недаром слывёшь Златоустом. Проповеди твои, знаю, имеют сильнейшее воздействие, люди плачут, многие исцеляются.

— Об отце Владимире идёт молва как о святом, — вдруг светло-голубой луч. Это голос матери.

В пространстве повисла пауза, отделяя предыдущую часть спора от последующей каким-то мгновенным временным провалом — луч сделал полукруг и исчез в нём.

— Культура Сибири — исключительно культура ссыльных, — подал реплику отец Филарет.

— Ну, это ты под влияние моего свояка — пана Галчинского попал! — возмутился горячий протоиерей. — Тебе ли — потомку долгого духовного рода, считать культуру Сибири исключительно ссыльной? Твои же предшественники составляли первые переписи, учили грамоте, переводили Евангелие на местные наречия, вся культура Сибири XVII—XVIII веков, в сущности, была церковной. Митрополит Киприан оставил «Синодик Ер-

маковым казакам», архиепископ Нектарий «Есиповскую летопись», «Повесть о городах Таре и Тюмени», а театр Филофея Лещинского, в котором твой прародитель участвовал в качестве певчего? И вертеп, который появился здесь благодаря духовным школам?

— Но мало ли было неграмотных попов?

— А Словцов — историк Сибири, вышедший из духовного звания? Или химик Менделеев?

— Всё это капли в море.

— А культура служилых людей?! Один Ремезов, картограф, историк, архитектор, чего стоит! У нас ямщик, обычный ямщик, мог написать «Сибирский хронограф»! В России же ямщик тогда грамоты не знал! И дворян таких в России было немало! Мало чем отличавшихся от крепостных мужиков по уровню своей образованности. Ты вон классиков перечитай! Только унижительную для культурного человека презрительность к народу и сохранивших! А здесь король не одряхлевший помещик, а сильный и предприимчивый купец. Возьми Сибиряковых, Бутиных или наших Кузнецовых — пообразованнее они многих дворян! Многие потомки шляхты по всей Восточной Сибири только торгуют да стригут! А они финансируют науку, морские исследования и экспедиции, дают деньги на гимназии. А Гадалов, у которого появилось в доме электричество раньше, чем за Уралом! Они попечители всех учебных заведений! Кстати, и мой отец стал попечителем училища в Минусинске.

— И всё ж таки самое мощное культурное влияние здесь исключительно от декабристов и тех же ссыльных поляков, которые учат, печат, исследуют, а не только, как ты выразился, торгуют да стригут!

— Ты ещё скажи — от шведов. Одно время каждый пятый житель Тобольска был пленный швед, мать моя считает, что и в нас примесь их пленной крови, все мы рослые, крупные, стоит глянуть только на вашего Бориса! Настоящий северный

МАРИЯ БУШУЕВА

тип наружности. Некоторые из шведов, приняв православие и русские имена, пополнили сибирское военнослужилое сословие, а порой и даже священниками становились.

— Вот ты как раз моё-то мнение и подтверждаешь: культура ссыльных влияла и влияет на Сибирь очень сильно.

— Но...

— Но вечно здесь будут мучиться каторжане, а господствовать всегда будет разбойник, наживаясь на убийстве несчастных бродяг-горбачей или на привычном грабеже!

— Разбойник везде таков.

— В Америке тот же разбойник, истреблявший местное население с гораздо большей жестокостью, чем это было у нас в Сибири, и тот уже окультурился, ощутив патриотическую гордость за свою процветающую страну, а наш ощущает себя на пространстве Сибири как временный хищник, ни за что здесь на отвечающий!

— Нет, — качал головой протоиерей, — посмотри на меня, Филарет, я же есть настоящий новый русский человек, соединивший в себе Европу и Азию, и я говорю тебе — судьба России и Сибири только в единении, но процветание возможно исключительно при освобождении сибирского самосознания от навязанной ему периферийности.

Чеховское «В Москву! В Москву!» — вот, что губит сибирское саморазвитие, принижает сибиряка, унижает его как личность, гнёт к земле его духовные порывы! И не даёт ему ощутить уникальность своей территории — слиянность культур Европы и Азии!

— Нет ничего здесь ценнее воли, — опять повторил отец.

— Что воля, что водка, — вдруг усмехнулся дядя Володя, — так мой отец говорит. Порядок нужен. Только порядок. И если без кнута порядок невозможен — нужен и кнут.

— Ну уж, позвольте! Это как раз крепостническая точка зрения, — возмутился Степан Веселовский.

— В разумных пределах, конечно...

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

— Нет, Володя, — сказал отец, — не соглашусь я с тобой, и не тебе, организатору обществ трезвости, об этом говорить: только что помянул ты протопопа Аввакума, так вот, самые богатые, самые культурные крестьянские сёла — это сёла староверов, которые сами есть государство в государстве. И когда их, к примеру, начали насильственно приписывать к заводам Алтая, появилась в староверческих сёлах даже водка, которую, между прочим, до XVIII века на Руси вообще не знали! Неволья для истинно русского человека, да и для любого другого, абсолютно губительна, как губительно для народа безверие — всё это и толкает к протесту, к бунту, к разрушению, к гибели. Сибирь только тем и ценна, что здесь всё-таки есть воля. И в этом самая большая загадка Сибири, её противоречие. Попадание в сибирскую вольницу было для тысяч людей принудительным — это была их неволя! Порой к цели ведёт дорога, идущая прямо в противоположном направлении...

— Батюшка Филарет, — войдя, обратилась к нему Агафья, — учительница пожаловали...

— За мной тоже толпятся мироносицы, — ироничноотреагировал на сообщение Агафьи дядя Володя. — Прохода от них нет.

«Порой к цели ведёт дорога, идущая прямо в противоположном направлении», — записала Юлия.

С Лизогуб они вместе учились в красноярской гимназии. Преподавательница словесности, художая элегантная дама, как-то, войдя в класс, поинтересовалась в присущей ей манере говорить обо всём чуть иронично: «И кто у вас первая ученица? Конечно, Лизогуб?» Юлия под партой сжала пальцы так, что они побелели.

В епархиальном училище, где до этого Юлия обучалась, всегда первой ученицей признавали только её! Но из училища Юлию исключили за поведение. В озорстве ей не было равных!

МАРИЯ БУШУЕВА

Чтобы не сдавать экзамены, она могла нарисовать на себе синим карандашом синяки, введя в заблуждение рассеянного старичка-доктора и солгав ему, что упала с карусели. А в ученическую форму однажды напихала подушек и вывесила в классе получившееся чучело епархиалки, закричав на всё училище, что повесилась одна из учениц, и вызвав, конечно, страшный переполох.

Ей нравилось сотрясать ровные качели будней, стряхивая с них вместе с пылью и ставшие фальшиво-гладкими обезличенные человеческие чувства. Ведь её любимым поэтом на всю жизнь уже был молодой Владимир Маяковский, переписанные в тетрадь стихи которого дал почитать ей светлокудрявый Павлик.

И всё Юлии сходило с рук: в городе знали её родного дядю — кафедрального протоиерея, знаменитого своими проповедями, своей издательской деятельностью, организацией библиотек, борьбой с пьянством. Он сам писал и публиковал в собственном церковном издательстве брошюры, разъясняющие вред зелёного змия. К тому же Юлия была одной из лучших учениц!

Но как-то раз она вылезла через чердак на крышу жилого корпуса епархиального училища и, обрядившись в белую простыню, устроила при полночном свете полной луны пугающее обывателей завывание. Она жестикулировала на железной сцене, точно дирижёр, и автоматически передвигалась в такт своим диким руладам. Она чувствовала страх и восторг, вдруг мгновенно догадавшись, почему её так влекла поэма Лермонтова «Демон»: «Печальный Демон, дух изгнания, летал над грешною Землёй...»

Весь город был виден с крыши, и слабое свечение маковок огромного кафедрального собора, точно раненый белый голубь, едва трепыхалось на центральной площади. Казалось, город можно было весь вобрать в ладонь и потом заново просыпать на землю, не задумываясь о былом порядке...

Но вдруг Юлия остановилась: её пронзило воспоминание о матери, которая почему-то заплакала, провожая дочь в город. Зелёные, сверкающие слезами глаза матушки Лизаветы возникли так явственно, словно звёзды ночного неба, приблизившегося к лицу Юлии. В душе задрожала и затуманилась лента Саян, которую было видно в окно дедовского дома...

О странном событии сообщила местная газета, в которую подала сообщение кузина городского головы Красноярска чиновница Куприянова, принявшая фигуру в простыне, двигающуюся по крыше епархиального училища, за привидение. Однако бойкий писака-журналист докопался до истины, и дяде Володе пришлось срочно устроить Юлию в городскую гимназию. Не имея своих детей, он относился к умной, но озорной племяннице как к родной дочери, тут же выделил ей комнату в своём большом красного кирпича доме и прислуживавшую девушку — Сешу, которая была праправнучкой кузнецкого воеводы Синявина, оставившего благодаря своей невенчанной кыргызкой жене целую деревню потомков — Орешково.

Так сибирская ирония легко меняла сословия, порой приписывая бывших столичных дворян к крестьянам-ссыльнопоселенцам, а бывших крестьян, поработавших не только сохой, но и кистенём на Сибирском тракте, наделяя миллионными состояниями, дворянством и петербургскими особняками.

Вместе с дядей Володией жила его жена, добрая, рано постаревшая брюнетка, Екатерина Юрьевна, закончившая, как и учительница Кушникова, Высшие женские бестужевские курсы в Петербурге. Именно напоминанием о Кушниковой она и не нравилась Юлии. В её присутствии нос выступал вперёд, как настырный нувориш, которому приятно восторжествовать над бедняками-соседями из привилегированных сословий.

— Говорю тебе, Филарет, не умеешь ты жить, — всё сердилась на сына бабушка Марианна Егоровна. — Брал бы пример со Знаменского монаха, тёзки своего. Обитель его процветает, паломников туда идёт уйма. Или вон дочь надворного совет-

МАРИЯ БУШУЕВА

ника Лаврентьева мне поведала, за что твой дядюшка Павел Петрович набедренник получил. Муж-то её, четвёртый сын миллионщика Кузнецова, который художнику Сурикову помог, всё это в Красноярске помнят. Тоже прииск у него, да и театр такой — спасу нет, а тут с девкой-крестьянкой загулял, прижил там детей, опоили они его каким-нибудь шаманским зельем, ей-богу, до того с ума сдвинулся, что от своей родной дочери стал отказываться: «Не от меня она, супруга моя, дочь надворного советника, потомственного дворянина, мне изменяла». Та в суд подала, в Духовную консисторию. Тянулось дело, тянулось, дочь её признали законной, а он свидетелей аж девять человек нашёл, заплатил им, конечно, да водкой напоил, чтобы они его оговор подтвердили, но суд признал, что жена невинна, дочь его собственная, а кроме прочих свидетельствовал против неверного мужа, что он с крестьянкой-то жил-поживал, наш Павел Петрович. Ведь он был духовник кузнецовский — и не без выгоды для себя свидетельствовал. За награду, ей-ей.

— Он просто честный, вот и всё, — тихо сказал отец, отчего-то грустно глянув на Юлию, — что знал, то и сказал. И духовником-то ему лучше было быть, чем против свидетельствовать. Но правду говорить — долг духовного пастыря.

— В благочинные он метит!

— Быть благочинным тяжело, обязанностей много и постоянные поездки по епархии.

— А я думаю, бабушка права, — подала голос Юлия, — отец Павел мечтал бы в архиереи попасть!

— Прекрати, Юлия, сейчас же! Дядя Павлин служит и живёт по вере!

— Ну, уж ты и закинула его на вершину горы, — усмехнулась Марианна Егоровна. — И не монах же он, забыла, что ли, а семейный.

Юлия знала: отец никогда не кричит и не наказывает детей иначе чем строгим взглядом, от которого становится на душе

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

как-то мучительно, точно скорбно, значит, сейчас он и в самом деле очень рассердился. И поспешила переменить тему:

— Ко мне подруга приедет на каникулы, Антонида Лизогуб, можно?

— Лишний рот. — Бабушка сморщилась, но тут же прибавила: — Однако дружеское расположение важнее, верно? Хотя и имя у неё такое нелепое, точно оглобля.

— Пусть приезжает, — разрешил отец.

Юлии очень хотелось показать Антониде Лизогуб мать, казавшуюся всем силинским детям необыкновенной красавицей. Муся Богоявленская, любимая подруга Юлии, тоже восхищалась Лизаветой Ивановной. Правда, Муся была очень доброй — ей и нос Юлии совсем не казался безобразным. «Обычный, ну, чуть широковатый, — утешала она подругу, — он тебя совсем не портит. Ты вот посмотри на портрет графа Льва Толстого, у него-то нос так нос! «Оттого-то он и с Церковью воевал!» — Юлия сама удивилась такому странному выводу, а Муся расхохоталась. Точно колокольчики зазвенели.

Когда всей семьёй ставили домашние спектакли, режиссировал дядя Володя, а управлял небольшим семейным оркестром отец, приглашали участвовать в спектаклях и Мусю. Одарённая музыкально, она прекрасно пела — иногда и в церковном хоре городского собора, где как раз служил протоиереем дядя Володя, а иереем Мусин отец.

И Юлия, уже равнодушная к службе, присыпанной семейными бытовыми неурядицами, но по-прежнему любившая православные песнопения, иногда тоже вместе с Мусей пела в городском церковном хоре самое своё любимое — «Жертву вечернюю», оттеняя своим не очень сильным, но приятного мягкого тембра голосом, восхитительное сопрано Муси.

Слух у Юлии был абсолютный, да и артистизмом бог её не обделил, но поскольку в домашних спектаклях, которые раньше

МАРИЯ БУШУЕВА

были лучшей частью их семейного отдыха, ей обычно доставались роли старух или свах, она, пожалуй, к своему стыду, была даже рада, когда новая затянувшаяся пьеса, в которой главные роли исполняли отец, мать и учительница Кушникова, внезапно положила конец их театрално-музыкальным вечерам. Но подруга Муся об их семейном пении очень тосковала.

В противоречии между материнской красотой и появлением в семье учительницы Кушниковой, заключался для Юлии, как ни странно, тайный намёк на её собственное возможное счастье. Так невротический страх ищет опору в навязчивом действии или почти абсурдном утверждении, противоположном по значению первичному источнику опасения. И Юлия, безумно боясь, что из-за хозяина лица — носа, никто её не полюбит, нашла самоутрачение в теории противоположности: если мать красива, а отец её не любит, значит, её, Юлию, которая некрасива, муж, наоборот, будет любить обязательно. Это «наоборот» выдвинулось в знаки судьбы, подталкивая к словам и поступкам, всегда всему и вся противоречащим — причём противоречие было первично и неважно, к чему оно относилось.

Недавним подтверждением «наоборотной теории» стала встреча с учительским сыном Алексеем Беспаловым, подарившим Юлии первый в её жизни цветок. Они гуляли вечером по красноярским улицам, и Алёша, перепрыгнув через невысокую ограду центрального сада, сорвал влажную розу и протянул ей. Жаль, но больше они не виделись: он уехал на учёбу в учительский институт. И засохшие лепестки розы как-то высыпались из альбома, в который Юлия переписывала любимые стихи, правда, сентиментальным лепесткам вряд ли соответствующие:

Послушайте!

Ведь, если звёзды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— Талия у мамы 47 сантиметров, рост — высокий, волосы — густые, тёмно-русые, — гордясь, рассказывала Юлия подруге.

Оспинки, портившие лицо матери, красивое, чисто русское лицо, лишь зелёный цвет глаз выдавал примешавшуюся струю азиатской крови, Юлией совсем не замечались. Эти отметины грядущих трагедий резко отпечатаются потом на серой коже времени и свинцовыми ямами разрастутся по долгим дорогам двадцатого века, по которым разбредутся, рассыпятся, распадутся, раскатятся все Силины...

И в трёх крохотных, едва заметных ямках, оставшихся у Юлии на лбу от неприятной детской болезни, старуха-гадалка, пришедшая как-то с табором цыган к ним в село, усмотрит знаки судьбы: «Потеряешь трёх близких своих, есть у тебя дядька знаменитый, он далеко уедет и там вскоре страшную смерть примет, вижу его у чёрной стены, вижу кровь, и жену его те же звери растерзают, слышу страшный их рык, а отца твоего уже не так долг путь, а кто третий — не знаю, только старый вроде, сильно светлый человек, глаза мне слепит, как солнце, не могу лица разглядеть, только вижу, что мученик... в церкви будут его как святого потом славить... Но сама-то будешь жить долго... почти сто лет... — Старуха улыбнётся, и сверкнут её совсем молодые зубы. — Про себя думаешь, что ты несчастливая, а ведь наоборот!»

Табор через час снимется и пойдёт, пыля, вдаль. И в разноцветных лохмотьях будет трепыхаться на ветру это вечное «наоборот»: «...но сама-то ты счастливая...»

И только путанный лабиринт судьбы, который обнаружила Юлия, выглянув в прожжённую страстью дыру, порой будет всё-таки проступать из-под пепла и осколков, на миг зажигая на ушедших под землю стенах огоньки светящейся подземной нитью. Сын епархиального старичка-врача, которого обманывала Юлия, рисуя на теле синяки, станет профессором в медицинском институте, в котором будет учиться дочь старшей сестры Веры, муж которой хорошо знаком с театралом Кузнецовым, загу-

МАРИЯ БУШУЄВА

лявшим с крестьянской девицей, выдаст свою племянницу за внука владелицы гимназии Рачковской, чей предок, тобольский сын боярский, когда-то жил по соседству с учителем-малороссом, вырванным неистовым Филофеем из Киева. Старший сын дяди Валериана и пани Гарчинской встретит уже в Шанхае дочь минусинского Ендингера, про которого писала в письмах бабушка Марианна Егоровна, женится на обедневшей девице, чтобы, овдовев, через несколько лет вернуться в Россию и сгинуть на Соловках, оставив сиротами двух маленьких сыновей, а третья, младшая, сестра Юлии Люба, превратится из хорошенькой глазастой девочки в измученную, очень некрасивую девушку, словно её лицо, закодированное именем, станет зеркалом, которое отразит всю драму смерти родительской любви. Ей придётся скитаться по свету, работать посудомойкой, где вместе с ней станет драить пролетарские тарелки бывшая чиновница Куприянова, та самая, из-за которой Юлии пришлось перейти из епархиального училища в гимназию, а потом Люба будет вынуждена наняться в няньки и наконец, выйдя замуж за Василия Бондаревского, нищего узконосого потомка обедневшей шляхты, уедет жить на Украину и там, возле белой мазанки в саду, среди чёрных корней, закопает она со страху доставшиеся ей семейные фотографии: дядю-протоиерея, дядю — царского офицера, священника-отца и портрет красивой девушки-епархиалки с пушистой косой — Муси Богоявленской... И замкнётся родовой генетический код, закроется навсегда линия киевско-тобольского миссионера, как замок, к которому уже не подобрать ключа.

По вытянувшейся физиономии Лизогуб, заметившей только вмятины на нежных щеках, Юлия вмиг поняла: они видят разное! И чуть не умерла от стыда и жалости к матери. Для неё, Юлии, лицо её матери красиво, для Лизогуб — оно обезображено оспой!

Вбежала в комнату семилетняя сестра Галюша, девочка с фиалковыми глазами, как называл её Иван Викентьевич Паскевич.

ЮЛИЯ И ЩЁТИНКИН

— Какая хорошенькая. — Лизогуб улыбнулась лениво и снисходительно.

— У нас в гостях был на прошлой неделе алтайский художник Гуркин, — сказала мама тихо, — он был здесь проездом, сделал набросок Галюшиного портрета, а ведь он пейзажист, портретов почти не пишет...

И Юлия поняла: мама неосознанно пытается спрятать свои уродливые оспины за фиалковую прелесть младшей дочери.

— А совсем младшую, Калю, Калерию, наш друг — доктор Иван Викентьевич — зовёт льянным ангелом...

Матушка Лизавета улыбалась, но в её глазах светились слёзы.

Конечно, Юлия тут же Лизогуб возненавидела! Застравшие на перекрёстке давних дорог уса́тый полковник и кудрявый киевский книжник наконец разминулись в истории: взгляд ненависти, брошенный полковником, вернулся к его прапрапраправнучке. Пока Юлия будет учиться в одном классе с Лизогуб, они ещё будут какое-то время видеть друг друга — книжник и полковник, порой оглядываясь и отмечая, что фигура другого становится всё меньше и вот-вот исчезнет совсем, но вскоре две траектории, выплеснув последнюю энергию связи, разбегутся в разные стороны, чтобы уже не встретиться никогда. Лизогуб выйдет замуж за работника датского посольства и уедет из России навсегда.

Страдая за мать, Юлия долго плакала ночью. Но к утру ей стало легче и в дневнике появилась ещё одна запись:

«Проявленное всегда искажено непроявленным: восприятие меняет предмет и явление, потому нельзя сказать, что нечто, к примеру, твоё собственное лицо, объективно существует».

После этого вывода жить стало легче. И Екатерина Юрьевна, жена дяди Володи, стала казаться Юлии вполне добродушной немолодой дамой.

Однажды Юлия сильно огорчила мать. К ним приехал Павел Петрович. Награждённый уже кроме скуфьи, набедренника и серебряной медали обещанным архиереем орденом, он вот-вот должен был получить новое назначение: в кафедральный собор Тобольска. И ему очень хотелось скорее туда отправиться. Ожидание, составлявшее содержание его нынешнего существования, делало его нервным и нетерпимым, направляя душевное напряжение на жестокую борьбу с шаманами. Одно время заведовал он церковно-приходской школой, считаясь, кстати, в епархии одним из лучших учителей Закона Божьего, но дети коренного населения сильно его боялись, хоть и общался он с ними на их языке, а русские ученики — ненавидели: пример Иосифа Волоцкого, полагавшего, что утверждать веру нужно огнём и мечом, вдохновлял отца Павла всю жизнь.

— Вот, Юлия, будешь лгать, — а Юлия, разумеется, порой лгала и, услышав его слова, вздрогнула, — Бог не наградит тебя бессмертием в Раю, а низвергнет в Ад!

— Я не верю в бессмертие. — Юлия, глянула на отца Павла исподлобья.

— Адам и Ева были бессмертны, пока не совершили грехопадение!

— Нет, это неправда! Адам и Ева просто стояли в своём развитии на уровне животных и как животные не ведали, что жизнь конечна!

— Ересь! — Отец Павел сузил глаза, сжал губы.

— Их природное незнание было их бессмертием!

— Ересь! — повторил он.

Но Юлия почувствовала, что край его души, озабоченной материальным и сугубо земным, явно задет и медленно начинает скептически колыхаться в такт словам Юлии. И отец Павел не знает, как избавиться от этого постыдного колыхания.

— Если верить в легенду, — продолжала Юлия упрямо, — надо будет принять, что познание всё от Змия — тогда и на-

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

уки не должно быть, ведь наука пытается понять, кто мы такие — люди!

Юлия встретила с дядей Павлом взглядом и поняла — он бессознательно уловил: девчонка догадалась, что ей удалось запустить в душу деда-ортодокса ветерок сомнения. И вознегодовал яростно

— Лизавета! — Отец Павел захрустел костяшками пальцев, гневно глядя на мать Юлии, привычно кутавшуюся в шаль, чтобы спрятаться в невидимом коконе невосприятия. — Даром слова твоя дочь пошла в твоего брата Володимера, минусинского и красноярского златоуста. — Дядя Павел родственнику-протоиерею несколько завидовал. — Но в него же и червоточинной. Разве можно в своей церковной газете публиковать статьи, критикующие помазанника Божьего — царя? Или елеем поливать память смутителя Толстого иудаиста Бондарева! Вы — раскольники! Отступники! И прихожан Володимер прельщает хитроумным внушением, а не верой Христовой! А ты, — дядя повернулся к племяннице и как-то пугающе один глаз, — ты — маленькая ведьма! Я-то помню, как в трёхлетнем бесовском неразумении ты порвала Евангелие! Тьфу на тебя! А ещё крест носишь! Больше в вашем доме моей ноги не будет!

— А крест — это самый тёмный символ христианской истории — ведь на кресте мучился и страдал Христос! — выкрикнула Юлия, едва сдержав внезапно подступившие слёзы.

— Крест не только символ мученичества сына Божьего. — Сердитый старый иерей застыл в дверях. — Но и его воскресения. Смертью смерть поправ, даровал он всем нам веру в бессмертие!

— Так выбрали бы как символ что-то другое, крылья или просто фигурку Иисуса. Вот как буддисты делают...

— Прав Анашевский, прав! Сильнее всего бесы искушают священнических детей! — выдохнул в бессилии отец Павел.

С ректором Красноярской семинарии Анашевским отец Павел был не просто знаком — их объединяли и похожие взгляды

на нынешнее состояние православия, и почти братская дружба. И сейчас Павлу Петровичу, видно, самому не понравилось, что дорогое имя сердечного друга и покровителя пришлось сделать аргументом в споре с этой неразумной, своенравной, некрасивой девчонкой! Лицо его оттого сморщилось как-то плаксиво, а когда снова разгладилось, выражение его было уже не родственным, пусть и сердитым, а чужим, далёким. Но, решив всё-таки быть честным до конца, Павел Петрович прибавил:

— Это сказано им в связи с поведением моего младшего — Гавриила, который заявил недавно, что жизнь лишена смысла. И даже ответ митрополита Филарета нашему гению Пушкину ему прочитал.

Юлии захотелось съязвить, но имя митрополита её удержало: так мучительно нежно любила она своего отца.

Как ни странно, вскоре Юлии стало жалко отцовского дядю. Ведь только доброта и мудрость делают старость прекрасной! Вот отец Николай мудр и добр, потому так и красив в своих сединах, а бедный дядя Павел так суетен в своей страсти к наградам и оттого раздражителен и некрасив... «Но разве я сама не такова? Я... Я — много хуже!»

— Как хорошо, что отец Павел к нам долго не едет! — сказала однажды Юлия матери, брезгливо поморщившись. — Он так безобразен внешне и так мерзко хрустит пальцами.

— Что ты, Юлинька. — Мать заволновалась и покраснела. — Отец Павел красивый и очень образованный. Но он как бы похож на дитя. Пальцы для него свои, что погремушки. Ибо душа его младенчески чиста.

— Все младенцы уродливы, а он ещё и зол!

— Что ты, милая, он просто робок, сагайцев вот боится, оттого их самих карой небесной запугивает: когда он только начал служить, в соседнем ему приходе шаман настроил хакасов против русского священника, они убить его задумали — тот чудом спасся!

— Значит, отец Павел не верит, что Бог его охранит!

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

«Ах, Юличка, Юличка, — шептала матушка Лизавета, склонившись перед иконой, — прости её, Господи, прости...»

Но в дневнике сознания появилось ещё одна запись:

«Нарушение пропорции между материальным и духовным в сторону материального объяснимое, а часто даже необходимое в молодости, искажает черты старости в сторону непривлекательности и даже отталкивания: так непривлекателен был бы гигантский младенец, жадно хватаящий мира грудь хрустящими клешнями пальцев».

Юлия начала в тайне от всех пробовать писать стихи. И, подумав, всё-таки переписала из книги послание в стихах митрополита Филарета:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомнением взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

Когда в их доме бывали священнослужители соседних приходов, вести беседы о Боге они предпочитали не с отцом, а с матерью. С дядей Сашей Байкаловым обычно приезжал его сын Серёжа, ровесник Юлии, тихогласный, очень верующий мальчик, временно оставивший семинарию из-за болезни. А за диаконом Копосовым почти всегда увязывался

МАРИЯ БУШУЕВА

смешливый и не сильно усердный в учении младший сынишка Миша, двумя годами моложе Юлии. Оба мальчика заслушивались её рассказами о брате Орфея — Лине: Лин — Си-лин, динлин рифмовалось в душе. Лина из ревливой зависти к его искусству пронзил стрелой Аполлон. Ведь было и в отце что-то такое — будто носит он в себе обломок стрелы, может быть, той самой, которой ранил второго в их роду Си-лина, тоже миссионера, мстительный родственник обрусевшего новокрещена.

Или она удивляла их историями о загадочной Атлантиде, захороненной где-то на дне океана. Мальчики нравились Юлии тем, что ходили за ней, как привязанные, и оба под её влиянием стали интересоваться не только книгами, но и раскиданными по степи менгирами и подбирать любые камни, показавшиеся вдруг «ценными древностями».

Гости у отца были иные: приходила вместе с учителем Веселовским очередные ссыльные, летом забредала на чай семья дачников Шнейдеров, с мужем давно был знаком по делам журналистики дядя Володя, а жена приходилась родственницей начальнице гимназии Рачковской. С их детьми, красивыми светловолосыми мальчиками, дружили младшие сестры. Бывал в гостях у отца сын потомственного вологодского священника, биолог Орлов, вскоре женившийся на одной из новых подруг старшей сестры Веры, милой девушке, приехавшей в Красноярск после окончания Петербургских естественнонаучных курсов Лохвицкой-Скалон. Поступить на эти курсы захотелось и Юлии.

По-прежнему бывал и доктор Паскевич.

А мать плакала и молилась. Для матери вера была той сферой, под которой проходила вся её жизнь, отгородившаяся прозрачной стеной от пугающего земного пространства, где существовал муж, силуэт которого то отчётливо был виден на выпуклой, чуть дрожащей поверхности, то слабо проступал

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

и расплывался в тумане. Может быть, этот замкнутый купол, воздвигнутый над душой матери, её братом, обладавшим гипнотической властью фанатичной веры, и являлся первопричиной появления в их семье учительницы Кушниковой? Ведь матушка Лизавета любила брата так, как порой любят чистые душой прихожанки своего исповедника.

Нет. Юлия со своим же предположением не согласилась. Просто отец женился без любви, бабушка Марианна Егоровна права, вот и всё. И если в первый год брака что-то похожее на любовь у него и возникло — оно тут же и зачахло, как растение без влаги. А мать, наверное, не смогла забыть, что хотел он жениться не на ней, а на её сестре...

В тот вечер к ним приехали Пузыревские, брат диакона Никодима, священник соседнего села отец Иннокентий с хорошенькой, азиатского типа женой, приятельствующей с матушкой Лизаветой, и некрасивая плечистая их дочь, ровесница старшей сестры, Веры. Но направились они не к матери, как это обычно бывало, а в кабинет к отцу.

В прошлую ночь Юлия опять читала любимого своего Гоголя до пяти утра и оттого днём заснула с раскрытой книгой на диване в проходной комнате. Три соединённые фигуры возникли на сверкающем пространстве её сна, как чужеродная опечатка в романе, которую сделал её собственный нос (Юлия во сне знала это совершенно точно!), отделившийся от неё, точно в повести Николая Гоголя, и ставший широкоплечим человеком в кожаной куртке и галифе, заправленных в сапоги. И на краю сна тут же заколыхалось какое-то тяжёлое пламя, возникшее именно от чирканья спички-опечатки. Из подземных пещер рванулся тяжёлый чёрный дым, и мир во сне стал рушиться, как непрочные декорации горящего театра. Небо над церковью стало красным, и каменная глыба огромной тучи медленно покати-лась вниз, сминая под собой купола, каменные менгиры, бегущих в ужасе людей... Это он — выросший до гигантских разме-

МАРИЯ БУШУЄВА

ров господин Нос столкнул эту губительную страшную глыбу с её вечного небесного пути!

Пунктир тревоги, который век пронизывающий силянский род, настиг наконец Юлию. Она проснулась от непонятного, очень сильного страха.

Пузыревские привезли отцу весть о революции.

В восемнадцать лет Юлия поняла, что мира, в котором она родилась, больше не существует. Шёл 19-й год. В губернии снова поменялась власть, мгновенно разрушив и сложив очередной узор осколков в кровавом калейдоскопе, выбрасывающем при очередном повороте следующие жертвы, точно пустые гильзы.

Записи следующих двух лет, появившиеся в дневнике её окаменевшей от страха души (писать на бумаге Юлия теперь боялась), совсем не походили на предыдущие:

«Мой дед убит: он играл в вист со старым другом Т. на первом этаже своего дома и получил выстрел в затылок. Вбежавшая в комнату бабушка увидела, что на столе между карт — сердечек и трёфовых крестов, лежит дедов вырванный пулей язык. Дед поддерживал атамана Сотникова, выступал против большевиков, был за монархию и порядок».

«Моя первая любовь — Павлик, приехал в Каратуз писать пейзажи, к несчастью, остановился он в доме старика-казака, бывшего казачьего офицера. К ним в дом ворвались красные. Среди каратузских красных и Мозгалеvский, Павлик с ним в детстве немного дружил, но в тот день Мозгалеvский, он — потомок декабриста, уезжал в Минусинск. Красные зарубили шашками нашего Павлика и деда — хозяина».

«Алёша Беспалов, учительский сын, подаривший мне первую розу, тоже приехал к родителям из Петербурга, он, оказывается, наоборот, стал красным, и его изрубили шашками колчаковские казаки, сначала закопав до половины в землю. Старший

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

брат мамы Борис был схвачен и посажен в тюрьму. Он скрыл своё офицерское прошлое, но всё равно его расстреляли... Другой брат матери — мой дядя Валериан, преподаватель истории, но теперь офицер, принудительно мобилизованный в армию Колчака, пропал без вести, и его жена пани Гарчинская плачет, что она с ним больше никогда не увидится.

Два брата мужа моей старшей сестры Веры отказались идти в армию Колчака — их тут же повесили. Белые вешают всех, кого подозревают в сговоре с большевиками. Красные расстреливают всех, кого считают белыми или сочувствующими белым. Третий их брат, отдавший уже не белым, а красным всё, что имел, бежал в тайгу к атаману Соловьёву. Хакасов и русских, отказывающихся называть местонахождение соловьёвского отряда, безжалостно убивают».

«К учителю Веселовскому прибежала измученная беременная, смертельно напуганная жена благочинного Урянхайского края протоирея Алексия, она рассказала, что верховный лама Урянхая повешен красными, убито несколько православных священнослужителей. К счастью, миссионер, отец Гавриил, средний дядя отца, вовремя отозван из Тувы красноярским архиепископом и отправлен в Китай. Тувинцы начали убивать русских семьями, не жалея детей».

«А по Хакасии победоносно идёт партизанская армия Щетинкина. Многие приходы разграблены. Убит давний знакомый отца, иерей Каргаполов: палачи вырезали у него на груди красную звезду и задушили его окровавленной оравью. Колокольню в его селе, сорвав все колокола, подожгли. Другая церковь, в которой служил друг отца, священник Копосов, тоже сожжена, сам он получил ожоги, спасая иконы, но жив».

«Дом деда в Таштыпе разграблен, его библиотека полностью уничтожена — частично тоже сожжена, остальные книги изорваны: шуршащие вырванные страницы доставали пробиравшейся сквозь них бабушке Александре до ключиц, она пла-

МАРИЯ БУШУЕВА

кала и причитала: «Уж коли книги рвут да жгут, тьма страшная надвигается! Терять ничего не жаль, Юлинька, жаль, что лучшие русские головы летят!»

О Щетинкине говорили разное. Раненый царский офицер, два дня живший в их доме, а потом, переодевшись крестьянином, бежавший через Туву в Монголию, с ненавистью и восхищением отмечал талант Щетинкина как военачальника.

— Полный георгиевский кавалер! Штабс-капитан! А ведь из крестьян!

— Я слышала, — подала тогда реплику сжавшаяся под шалью мать, — он вроде в церковно-приходской школе учился?

— Учился. — Офицер кашлянул. — А Бога распял.

Мать Юлии за этот год сильно постарела. Сферу фанатичной веры, под которой она жила, пересекла огромная трещина, грозившая расколоть купол пополам пугающей вестью: её брат Владимир внезапно принял революцию. Учитель Веселовский как-то принёс листок с фотографией пролетарского вождя, и Юлия увидела: дядя Володя и вождь чем-то похожи. В русском протоирее, наверное, заговорил его азиатский предок, и предок-азиат вождя притянул его к себе силой общего прошлого.

На одной из воскресных проповедей кафедральный протоирей призвал прихожан пойти вслед за Лениным! Даже священники-«обновленцы» посчитали сей призыв кощунственным.

Это был страшный удар для старика — иерея отца Николая.

— Что же это делается, Господи? — тихо вопрошал он, обращая к иконе измождённо-мученическое лицо. — Большевики-то исказили идею религиозную, посулив Царство Божие, которое воздвигнуть может только Дух Святой. Не узрели молодые горячие очи Володимира за всем сим волю и коварство Антихриста! Ленин он Антихрист и есть. Одно теперь упование на патриарха Тихона.

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

А отец Павел нервно хрустел костяшками белых пальцев. У Юлии даже озноб по коже бежал, так ей было невыносимо слышать этот сухой хруст, казалось, разносившийся по всей округе и потом исчезающей в степи среди жёлто-сизой травы.

— Чуял я, чуял, что окажется он Иудой! Они со Шнейдером почти месяц возглавляли временное правительство Красноярска. А сейчас, говорят, их арестовали его же друзья-большевики! Ждёт его за его вероотступничество страшная кара!

— Нет, Павел. — По высокому лбу старого иерея бежали горькие складки. — Злом зла не победить, только любви боится оно! Не суди его! Наступит время великого покаяния и всепрощения, и тогда даже Иуду Господь простит. И даже убийц Павлика моего... — Отец Николай судорожно прикрыл морщинистыми ладонями веки и, справившись с горловым спазмом, продолжил: — А Володимер не Иуда, не прав ты, Павел, хороший он и проповедник был прекрасный, сколько сердец благодаря его слову к православию приникли, и это ему зачтётся. Просто прельстилась его степная душа ветром бури, полагая бурю спасением от косности и застоя души человеческой! Не нам с тобой его судить...

Кровавый калейдоскоп снова потрянуло, одни осколки выпали, другие поменялись местами: бывшего протоиерея спас прокурор Лаппо, которому когда-то понравилась написанная священником повесть «Абыс», переданная ему знакомым отца Филарета географом, тем самым, что оборудовал в селе метеорологическую станцию. За географа, ставшего у красных начальником политотдела, внезапно вышла замуж наконец-то отпавшая о силинской семье учительница Кушникова.

А через полгода нарочный привёз от дяди Володи письмо из Москвы. Он сообщал, что уже редактирует газету, что доволен этой своей деятельностью и окна у него с видом на набережную.

МАРИЯ БУШУЄВА

«Лиза, бери детей, и езжайте ко мне в Москву, — писал дядя Володя, — да езжай скорее, тем ты спасёшь их. Я знаю, что от меня все отреклись, но хоть ты пойми, что, примкнув к большевикам, я, может быть, использовал последний шанс сохранить нашу веру. Ведь творится страшное. А будет ещё страшнее...»

А ещё через две недели был убит иерей отец Николай. Глумящиеся над ним палачи отвезли его на кладбище и сначала заставили старика-священника рыть себе могилу, а потом привязали его к берёзе и расстреляли.

— Он принял мученическую смерть за веру, — плача, сказал отец, которому принёс эту страшную весть диакон Копосов, уговаривающий отца бежать из прихода: армия Щетинкина приближалась.

— Нет. Я останусь, — тихо сказал отец.

Мать, взяв всех младших детей, по указанию отца поехала сначала в Красноярск к старухе-свекрови, а через месяц решилась ехать в Москву к брату. Позвала она с собой и Марианну Егоровну, но та категорически отказалась.

— У вероотступника спасения от красных портянок искать не стану! Здесь помру.

А в голове Юлии всё время звучал голос тенора Словцова: «Не счесть убитых в каменных пещерах...»

К бабушке она не поехала.

В те же дни до села добралась измученная попадья Байкалова. Муж её, священник, умер на пороге церкви, узнав, что единственного сына, служившего в соседнем селе псаломщиком, арестовали большевики и отправили в тюрьму.

— А ваш-то дядя, отец Павел, говорят, когда они ключи от его церкви потребовали, не отдал, не дал грабить... не дал... Избили его так, что он еле жив теперь, хакаска его выхаживает, она сказала, Майнагашевых всех перебили и учёного Степана Майнагашева тоже, первого, его-то сразу и арестовали... Вот отец Павел у неё в доме.

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

Юлия отцу Павлу сначала не посочувствовала, объяснив его мужественный поступок его же и жадностью, мол, жалко было церковной утвари. И тут же ей стало так стыдно, что она пошла к себе в комнату и легла лицом в подушку. «Ничего не жаль терять, Юлинька, — всплыли в сознании слова плачущей бабушки Александры Львовны, — жаль только, что лучшие русские головы летят... летят... летят... летят...»

Тонкий, срывающийся голос вдовы достигал её ушей. Он то вытягивал гласные, то дробил их. Согласные тоже искажались, иногда исчезая вовсе, точно люди, близкие и родные. Или голос спотыкался и падал, не в силах перевалить через очередной звук страшного бытия...

— Бегите, отец Филарет! Поп Александр из Орловского бежал и тем спасся! Бегите! Убьют!

— Нет, — отвечал отец тихо, — я останусь.

Юлия узнала его сразу: это был он, её нос, точнее, человек, которым, отделившись, стал её нос и которого она видела во сне. Он был одет в кожаную куртку и в галифе, заправленные в сапоги. А его лицо оказалось даже привлекательным: бравые усы под коротким носом, светлые смелые глаза, торжествующе яркие на загорелом усталом лице, открытая улыбка...

Ржали кони, шумели партизаны, вошедшие в село и бесцеремонно открывающие чужие ворота, калитки и двери.

— Паба Филарет! — дрожащим голосом произнесла кухарка Агафья. — К вам... Щетинкин!

— Накрывай на стол, будем обедать.

Отец, сутулясь, вышел к партизанскому командиру, кивнул ему, показывая рукой на стул, представился почему-то не по-церковному:

— Филарет Ефимович, а вы?

— Пётр Ефимович. — Комдив улыбнулся. — Тёзки, выходит, были отцы.

МАРИЯ БУШУЕВА

Он сел на предложенный стул, рефлекторно втянув ноздрями запах пахнущего степными приправами свежего супа.

— А это моя дочь, Юлия. — Отец глянул в сторону Юлии, стоящей в дверях своей комнаты на каменных ногах.

— Красивая.

Юлии показалось, что она ослышалась.

— У нас взвод женихов...

Агафья принесла разлитый по тарелкам суп, поставила свежий хлеб, нарезанный крупными ломтями, принесла на блюде посыпанную зеленью картошку, над которой вился лёгкий парок, точно над озером Горных духов на картине Гуркина-Чороса.

— Кушайте, — старуха так улыбнулась Щетинкину — только зубы показала, быстро обернулась к Юлии, взглядом приглашая и её за стол.

Но Юлия, воспользовавшись тем, что голодный командарм от неё отвлётся, скорее юркнула в свою комнату.

Сколько раз сквозь дверную щель она подслушивала споры отца и дяди!

Сейчас за окном поднялся ветер, заскользили тени веток по свежевывытым половицам, точно сметая к ногам сидящей на кровати Юлии, впавшей в полусон-полуоцепенение, обрывки разговора.

— Как же так получается, Филарет Ефимович, — гудел её Нос, похохатывая и выпуская из пещер дым, — что есть и такие священники, оставляют они свои приходы, когда узнают о нашем приближении? Не дело ведь это.

— Так убитыми-то быть никому не хочется. — Отец говорил спокойно, так спокойно, что Юлии казалось — речь его уже звучит в далёком-далёком прошлом, над которым не властна красная огненная лава, выбрасываемая подземными пещерами.

— Но поп должен быть там, где приход, иначе какой он пастырь, верно ведь, Филарет Ефимович?

ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН

— Верно.

— Вот вы же не побоялись, не сбежали!

— Но семью я всё-таки отправил. У меня ж ещё четверо малых детей...

— Два шли бы к нам, к красным, Филарет Ефимович, не вернётся старая власть, уверяю вас. Я сам бывший царский офицер...

— Знаю.

— До сих пор раненое плечо порой напоминает об офицерском прошлом. А сначала окончил даже духовное училище, хотел было пойти в священники, но потом в них разочаровался — и мнение моё о них только утвердилось — дворяне пили кровь народа и они тут же, под их боком! Я даже любимое своё Евангелие от Иоанна порвал. Всех попов нужно...

— Да ешь ты, окаянный, — не вытерпев, вмешалась Агафья, — эх, возбудился, как шайтан! Ешь! Тебе бы только стрелять да вешать! Картошка вон тебя ждёт!

Шаги Агафьи простучали, точно в пустоте. Потом стало слышно ржанье коней за окном. Зашипело что-то на плите.

— Ну, так вот я с каким предложением, — после некоторой паузы, прожевав, опять заговорил Щетинкин, — было бы неплохо, если бы всё ж таки и священники переходили на нашу сторону... Народ бы тогда в массе своей поверил бы нам, а вождей наших возвёл к апостолам. И крестьяне активнее бы оказывали нашей армии поддержку... Переходите к нам, Филарет Ефимович, вы смелый человек, честный, я всё это сразу понял, такие и нужны нам...

Выпал из руки отца Филарета носовой платок, и Юлия каким-то другим слухом уловила почти бесшумный его полёт и невидимое падение.

— Отвечу вам откровенно, ничего не утаивая, Пётр Ефимович. — Голос отца звучал всё дальше и дальше, точно уходя в чёрную пещеру. — Всю жизнь я считал своим долгом нести веру как единственное спасение от озверения человеческой

МАРИЯ БУШУЕВА

души, но сам не веровал... И вдруг недавно точно озарило меня: я поверил. Понимаете, Пётр Ефимыч, я, священник, поверил в Бога! И теперь... — Отец точно всхлипнул и Юлия, до слуха которой неожиданно донёлся этот слабый и какой-то стыдно-человеческий звук в пространстве бесчеловечной власти тёмных подземных сил, села на кровати, охваченная уже не страхом, а ужасом... — Я верую. И идти с вами потому не смогу. — Голос словно снова приблизился.

...ощущая себя бегущей по тонкой нити над пропастью...

...пропастью, пропастью, пропастью, пропастью...

...пастью.

— Что ж... — Щетинкин поднялся, задвинул стул, на котором сидел. С минуту помолчал. И эта бесконечная минута вдруг загорелась словом «Голгофа». Но погасла.

— Оставайтесь. Спасибо за гостеприимство. — Кашлянул.

— Мы в вашем селе на ночь не встанем, сейчас снимаемся и идём дальше, на Минусинск, так что, может, и не свидимся больше. — Он едва заметно дёрнул плечом, и по лицу его прошла судорога боли. — Отец Филарет.

ТИХАЯ ДУША

Из всех тёток его — самая любимая. И вот — три дня в больнице — и всё.

Увесистого вида врач, заведующий отделением, Даниил Игоревич Сёмин, пряча глаза в планшет, назвал диагноз. Он врачу не поверил. Вышел в коридор. Незнакомый лобастый мужик шагнул ему навстречу: тоже мать? Нет, сестра её, матери давно нет. А у меня маманя, я сегодня врачу бабло принёс, опоздал. Лобастый походил на братка конца девяностых, но, судя по дорогой одежде, вполне мог теперь оказаться генеральным директором или депутатом. А отчего? Он произнес страшное слово: диагноз оказался тот же. Вышли вместе. Мужик спросил: «На колёсах? Могу подкинуть» — и показал на джип. Не надо. Пройду пешком, так мне будет полегче, ходьба лечит. Приостановился, добавил грустно: «Не верю я в его диагноз, мне говорили, негласное распоряжение спускают врачам: не сильно усердствовать при лечении пожилых и стариков. Балласт для экономики...» И он, не оглядываясь на мужика, вышел из больницы ограды и побрёл по мокрой мостовой.

И вспомнилось: ему шесть лет, они идут с бабушкой по тёмной дождливой улице к её племянницам Татьяне и Раисе — двоюродным сёстрам его матери. Пытаясь после развода с его отцом устроить личную жизнь, мать появлялась дома редко и всегда с чужим мужчиной, пугающим его холодной ладонью и по-змеиному блестящими волосами, прилипшими к узколобой маленькой голове. И он, впечатлительный ребёнок, как-то знал без слов, что обладатель ледяных пальцев обязательно обидит его мягкую мать, и она исчезнет. Так и случилось: мать вернулась домой, но вскоре погибла в аварии. Бабушка много лет скрывала от внука правду, но однажды он услышал, как гово-

рила она кому-то по телефону: наивная моя доченька связалась с наркоманом — и вот... Всё мечтал о славе, журнальчики собирал с портретами кинозвёзд и застыл на стуле, как памятник, нашли его сидящим, наклонившимся, чтобы завязать шнурки ботинок, на мой взгляд, ничтожный был человек и умер от передозировки наркотика, а всё-таки помяну его, раз дочь моя разглядела в нём что-то хорошее.

До тёмной улицы, мигавшей тревожными огоньками, они ехали на трамвае, а к деревянному дому сестер нужно было идти пешком мимо долгой стены мыловаренного завода.

— Живут же, Господи, на краю света, — иногда ворчала бабушка, сжимая его ладошку.

Чем дальше они шли, тем сильнее сгущалась щиплющая глаза едкая тьма, сначала казавшаяся синеватой, потом почти чёрной, и, когда тяжёлый запах и смог рассеивались, они оказывались на грязной, неасфальтированной дороге, возле тянувшихся вдоль неё серых домишек. Он был уверен тогда, что это действительно край света. И сейчас, медленно бредущий по сверкающему проспекту, вспомнил ощущение детства — ощущение непроглядной бескрайней пустоты, скрывающейся за деревянной халупой двух молодых, рано осиротевших его тёток. Младшую, белянку Раису, он любил, возможно, изживая в играх с ней тоску по исчезающей матери. Тоска была бы непереносимой для его детской души, если бы не уравнивала её боль обиды: мать променяла его, своего сынишку, на ледяные пальцы чужого человека и, что ещё было больнее, на нового ребенка. О новом нашептала, в отсутствие бабушки, ее близкая приятельница, бывшая режиссерша кинохроники, мужеподобная старуха Эра Петровна: «Твоя мама тебя бросила, у неё родится другой мальчик, Виталик, — внушала бывшая режиссерша, приблизив к нему прищуренные глаза, — она умрёт, бабушка твоя тоже умрёт, их обеих закопают». Эра Петровна хрипло хохотнула и постучала по ножке стола: тук-тук-тук. И его сердечко вздрогнуло и откликнулось, ударив в грудь: бом-

ТИХАЯ ДУША

бом-бом. Пугающие слова он от бабушки утаил и по-прежнему оставался с Эрой Петровной, когда бабушка уезжала в редакцию газеты: она внештатно подрабатывала, занимаясь правкой статей. Может быть, утаил оттого, что сам интуитивно предчувствовал своё одиночество и, помня, что в сказках повторённое обязательно исполняется, по-детски боялся магии слов — неотвратимости дважды произнесённого. Если замолчать пророчество, бабушка и мама будут жить, и мама не обменяет его на нового. Имя «Витя» стало для него неудачным на всю жизнь: виталики предавали его, подставляли, обманывали, и наконец один из них увёл его жену.

Приносившая с собой запах табака, колючий юмор и надтреснутый смех Эра Петровна, сама того не ведая, помогла ему перенести потерю матери, бросив спасательный круг страшных фраз. Как-то бабушка в одном из вечерних разговоров с ним открыла занавес над жизнью сиплоголосой старухи, и он увидел, что скрывалось за тяжёлым полотном, а значит, и за чёрным пророчеством, так напугавшим его.

— Эра из бедной многодетной семьи, она всего добилась сама, я уважала её за едкий ум и отзывчивость на чужие беды, но иногда общаться с ней бывало тяжело, потому что психика её искажена с юности — после десяти лет в лагере по 58-й статье.

Он, студент-историк, уже знал о 58-й.

— Как-то честно призналась: я твоего маленького внука ненавидела из зависти, что у него такая хорошая мать — красивая, добрая, языкам его учит, Пушкина ему читает, а моя сноха — обычная хамка, и внучка Линка от нее страдает. Эра души не чает в своей Линке... Но мне кажется, больше она завидовала твоей сообразительности, Линка с родовой травмой родилась, может, оттого и не унаследовала ум своей бабушки.

Линку Эра Петровна к ним приводила, и ему нравилось играть с хорошенькой покорной девочкой. Однажды, бегая с Линкой по квартире, расшалившись, они разбили большое зеркало,

и, словно доказывая роковую верность старинной приметы, на следующий день, столкнувшись с грузовиком, разбилось легковое такси, в котором ехала его мама.

Уже после смерти бабушки он случайно получил подтверждение её словам об искажённой психике, узнав об Эре Петровне кое-что ещё: в одном из северных журналов были опубликованы воспоминания какого-то политзека, — шли 90-е годы и страна освобождалась от запретов на исповеди жертв истории. Автор, подробно описывая лагерный быт, не скрыл фамилию, имя-отчество той, что выжила в лагере и получила место библиотекаря благодаря доносительству. То давнее «тук-тук-тук» оказалось самораскрытием. Выходит, понял он, Эру Петровну сломали, и она всю жизнь прятала в душе постыдную муку своего прошлого, смертельно боясь, что тень его упадет на любимую внучку. Он закрыл журнал, чувствуя, как рождается в его душе прощение за свой детский страх.

От ещё одной бабушкиной подруги, экстравагантной старушки Изы Борисовны, бывшей актрисы-травести, в свои «за восемьдесят» ходившей летом в тифельках на шпильках и в платье с глубоким вырезом, открывающем пятнистые параболы спины, он слышал, что Линка вышла удачно замуж за какого-то парня из рабочей семьи. Парень очень быстро сделал успешную карьеру, причем не без активной помощи Эры Петровны, передвигавшейся теперь с костылем лишь в пределах квартиры, но сохранившей нужные телефонные связи и умело управлявшей Линкиной судьбой. Отражаются ли нравственные падения тех, кто был изломан временем, на жизни их потомков, подумал тогда, мысленно снова открыв и закрыв журнал. Но разве милая Линка заслужила родовую травму или кару судьбы? Конечно, нет.

После прочитанных мемуаров бывшего зэка он резко охладел к истории, ключие следы которой слишком больно ранили его детство. Возникнув на страницах журнала, Эра Петровна, совершенно не ведая того, помогла ему вторично — он

ТИХАЯ ДУША

вышел на дорогу своего призвания. Забросив ставший ненужным институтский диплом в коробку со старыми документами и чёрно-белыми снимками незнакомой родни, стал заниматься живописью и, уже обретя имя профессионального художника, вспоминал иногда старую режиссершу, обводя мужеподобную фигуру в коричневых брюках и грубом свитере, невидимым мистическим абрисом.

Изу Борисовну, приносившую в качестве гостинца подёрнутые белой дымкой окаменевшие шоколадные конфеты, бабушка, какое-то время работавшая в драмтеатре заведующей литчастью, обожала за театральные анекдоты и за рассказы Изы о дореволюционной творческой среде, которую неплохо знал Изин отец-фотограф. Изин дед как-то сумел еще до 1917 года выбраться из такого же окраинного местечка, откуда вела родословную Эра, однако, в отличие от ее родни, преуспел, и его сын открыл свою мастерскую: через нее прошли почти все горожане, имевшие отношение к искусству. А, начав стареть, Изин отец бесплатно, по доброте душевной, обучил фотоделу двух мальчишек-послевоенных сирот: оба стали фотокорреспондентами. Младший из них, сутулый, с клокастыми бровями, окончив филологический факультет местного вуза, дорос до главного редактора той газеты, где подрабатывала бабушка. Он приходил к ним и после вечернего чая наизусть читал Гумилева, обязательно начиная с «Жирафа», бродившего далёко, далёко на озере Чад, а завершал декламацию стихотворением, в страшно-тихом пространстве которого спокойный рабочий в блузе светло-серой отливал для поэта смертельную пулю. Завершив чтение и пристально глядя куда-то вниз, в пол, точно там, на досках, был начертан трагический вывод, не видимый ни бабушке, ни её внуку, главред неизменно добавлял: «Напророчествовал Гумилев себе гибель», — подтверждая для ребёнка власть тайной магии произносимых слов. Мистическая роль Изы Борисовны и ученика её покойного отца впоследствии свелась в памяти к повторяющемуся сигналу об опасности се-

рого цвета и к яркому детскому восторгу от изысканности жирафа: его собственный жираф бродил под клокастыми облаками-бровями и, точно отражаясь сам в себе, множился, заполняя в разных вариациях волшебного узора на его шкуре все альбомы для рисования, всё чаще покупаемые для внука бабушкой. Две старые оригиналки и угрюмый чтец оказались проводниками в его судьбу.

Иногда Иза Борисовна кроме каменных конфет доставала из кожаной антикварной сумки старинный альбом с фотографиями дореволюционной русской интеллигенции: учителей, врачей, чиновников, — и погрустневшая бабушка рассматривала лица тех, кто давно превратился в безымянные кости под асфальтом их городского парка, где танцевала вечерами обкуренная молодежь. Бабушка в этот парк не ходила принципиально: грех на бывшем кладбище гулять, объясняла она, но никогда не добавляла, что её отец, тоже «из беловоротничковых», покоем там же — под чёртовым колесом или гремющей танцплощадкой.

— И коляски с малышами здесь катают, — укоризненно говорила бабушка, — топчут своих предков.

Новый не сумел родиться. Но успел отправить своё отражение, и оно, сгущаясь порой до призрака, сопровождало взросление сводного живого брата, лишая его безмятежной защищённости — необходимого растущему витамина силы: за каждым словом дружбы мерещилась отверженность, за каждым углом любви таился соперник-победитель. Безусловную радость приносила только живопись. И он как-то незаметно для себя смирился с маркером несчастливости. Таким же невидимым клеймом была помечена и его любимая тётя Раиса.

Фамилию врача не запомнил: то ли Сомов, то ли Зимин, и, когда на следующий день прочитал в сетевых новостях о смерти сорокалетнего медика, заведующего отделением, которого нашли возле магазина, но, к сожалению, спасти не смогли, по предварительной версии, причина — инфаркт, мелькнула

ТИХАЯ ДУША

мысль: не тот ли? В комментариях кто-то возмущался, что вдове не отдали найденные возле покойного продукты... Впрочем, остановил себя, зачем я это читаю? Тот, прячущий глаза в планшет, — обычный равнодушный клерк от медицины, держащийся за место и за деньги, а моя мысль, что умерший он самый, всего лишь результат моего собственного воображения — наивной веры в силу общечеловеческой совести, которая однажды, постепенно всплывая из глубины ноосферы, взойдёт над миром, чтобы покарать всех и каждого за утрату человечности.

За окном мутно серело небо. Дождь шёл второй день, то затихая, то набирая силу вновь. Сетевые новости пугали взрывами, смертями, отравляли ложью, приправленной светской пошлостью и модными технологиями. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он позвонил дочери:

— Па-а-а-п, — тягуче запела Лизка, — я как раз хотела тебя попросить, ну-у-у, я присмотрела смарт-браслетик с бриллиантами, скину тебе в почту номер заказа, оплати-и-и-и, и я pošлю тебе свою лафф.

... Домик сестер был трухлявый, низенький, состоявший из кухоньки и двух комнат. Пахло в нём горящими дровами: не только зимой, но и в сырые дни любого сезона приходилось топить печь. Его удивляла и печь, завораживая древним танцем огня, и взбитые подушки на железных кроватях с блестящими ёлочными шишечками на спинках, и отделанные кружевом покрывала, поражающие ровной, как лист альбома для рисования, снежно-белой нетронутостью. У них дома ничего похожего не было: вещи и одежда жили своей вольной жизнью, а на мятном покрывале его деревянной кровати вечно валялись книжки, машинки и шахматные фигурки.

Раиса, финского типа миловидная льняная белянка, всегда радовалась их приходу, а брюнетка Татьяна никогда при них своих чувств не проявляла. На Раисе держалось всё сестринское маленькое хозяйство: три огородные грядки, растопка печи, запас воды, которую она сама носила в вёдрах из уличного ко-

лодца, и всегда идеальная белизна покрывал. К тому же Рая уже работала и, очень способная к точным наукам, в первый же год получила инженерную должность в НПО, разрабатывающем детали для космических кораблей: страна была одержима Космосом. Сёстры надеялись, что НПО поможет им с квартирой, они мечтали о горячей воде, тёплом клозете и электрической печи. Вся личная жизнь Раисы была отдана сестре, в олене-глазом лице которой опытный физиономист уловил бы тонкие следы черт далекого азиатского предка. Татьяна была задумана природой как настоящая красавица, но злой колдун — костный туберкулез превратил её спину в остроконечный пень: Татьяна была горбуньей. Сердобольная бабушка, желая вернуть племяннице нормальное тело, обращалась к знакомому кудеснику — хирургу, срезающему у несчастных их горбы, ответ его стал окончательным приговором: из-за сильного смещения сердца операцию делать нельзя. И учиться в техническом вузе, где приходилось много чертить и проходить практику на заводе, Татьяна из-за проблем с сердцем не смогла: ушла с третьего курса. Ни на какой работе она не удерживалась. Посторонним могло показаться, что она давно привыкла к своей инаковости — её лицо, горделиво-спокойное, удивляло тех, кто привык к суетливости горбунов, пытающихся скрыть свои уродливые выступы, плетя вокруг них сеть лихорадочных движений и слов. Нет, Татьяна рыдала и плакала только наедине с Раисой, на людях же была нетороплива и вела себя так, будто с её телом все хорошо. Пока Раиса, постоянно чувствовавшая смутную вину за свою прямую спину, придя с работы, занималась хозяйством, Татьяна красиво сервировала стол к ужину — это было единственной её обязанностью, а днём, в одиночестве, она листала журналы или мечтала, читая классику. И тайно соотносила себя с пушкинской героиней, на беду, родившейся не в XIX веке и не в романе, а в советское время, в предвоенный год. Раиса была на четыре года моложе. Их отец подарил жизнь младшей дочери и ушел на фронт, чтобы не вернуться: контуженным попал в плен и свою

ТИХАЯ ДУША

гибель встретил в концентрационном лагере, где организовал коммунистическое подполье, вскоре раскрытое.

— Знала я, что брат мой Юра погибнет, — рассказывала бабушка внуку, не сильно вникая в особенности детского восприятия, — мне было двадцать, я всем увлекалась, что попадало на глаза — даже прочитала старинную книжку по хиромантии. И вот руку его посмотрела, с картинкой сверила: линия жизни у него была перечёркнута, что предвещало насильственную смерть. И всё из-за его жены Нины, изменил ей однажды, с кем из мужчин ни бывает, она от кого-то из доброхотов узнала и не простила — вот он, совестливый, и попросился сам на фронт, надеясь так искупить свою вину. У него же бронь была, ценных специалистов берегли... Раиса на него очень похожа. Только имя ей не подходит, у нас таких имен в роду нет, это Нина ее назвала в честь кого-то из своих. Конечно, страдала Нина как мать из-за горба Татьяны, оттого и умерла рано. А брата моего так и не простила... Знаешь, какой он был? Сидит, работает в выходной у себя дома, стал в тридцать лет начальником, своего шофера имел, а увидит, что немолодая соседка несет ведро, тут же выбежит и ей до квартиры ведро донесёт. После Победы о Юре никаких вестей не было, и не жена его Нина, а я написала в пятьдесят втором в канцелярию Сталина, оттуда прислали ответ, что погиб он в плену, проявив геройство и мужество, верный воинской присяге, я дословно документ помню. Значит, мучительную смерть принял.

Этот скорбный бабушкин монолог, полный непонятным и далёким, слушал он по дороге от племянниц вполуха, больше его занимали подаренные Раисой рыже-коричневые яйца, — их соседи по улице держали кур — до этого он видел яйца только белые магазинные и постеснялся спросить: может быть, Раиса и Татьяна сами покрасили их акварельной краской?

Маленького племянника Татьяна не любила, запретив себе навсегда думать о детях. Отворачивалась, когда Рая, изображая лошадку, катала его, еще трёхлетнего, на своих плечах,

ставшими широкими от постоянной тяжелой работы по дому. В весёлых забавах Татьяна участвовать не могла, и к привычной таимой горечи от своей физической неполноценности примешивалась жгучая ревность: Татьяна ревновала Раису ко всем, кто оказывался рядом.

— Бедная Рая, — сетовала бабушка, — даже на вечеринку в коллективе никогда не остаётся, как-то задержалась на работе всего на полчаса, пришла домой, а сестра уже рыдает. Конечно, Таню жаль: умница ведь, училась прекрасно, поразительно сдержанная, со вкусом умеет одеться, несмотря на свою беду, и лицом красивая, да всё — напрасно. Кара судьбы. Мне о своей родословной Нина как-то рассказала, дальний её предок был бурятский тайши, внук его в сибирское купечество записался, так вот, может, в каком-нибудь их предке-богаче и причина: могли по его приказу запороть невинного работника до смерти, через век пришла расплата в виде горба. Я верю в закон неизбежности возмездия, на Востоке его называют законом кармы, и считаю, что справедлив он не только для одного человека, но и для истории всего рода... И Раю мне жаль: она Таней восхищается, считает её много умнее себя, о танцах или кино-театре с молодым человеком и разговора у Раи быть не может, она и в мыслях такого не держит. А ведь симпатичная и далеко неглупая, нравится многим, студент один замуж её звал, потом молодой офицер всё ходил под окнами, ждал её, записки писал, да вскоре понял: не оставит Рая сестру. Такая вот тихая, верная душа.

Квартиру сёстрам дали не от НПО, расселила их городская власть, решившая снести деревянное захолустье и построить на месте улицы панельный микрорайон. В типовой панельной девятиэтажке дали Татьяне и Раисе двухкомнатную квартиру. Он помнил первое впечатление от двух смежных комнат, в большей сёстры поставили диван, стол, сервант, шкафчик с книгами и телевизор, а в меньшей — свои железные кровати, показавшиеся ему чужими предметами, смущёнными гостями из

ТИХАЯ ДУША

другого мира, где осталась печь с волшебным огнем и небольшой дворик с чёрным узором неровного забора. Татьяна горб в панельной квартире точно вырос, и он, исследуя вместе с Раисой новый дом, постоянно на него натыкался. Казалось, и Татьяна ощущает себя здесь, в квартире с удобствами, о которых столько лет сестры мечтали, гораздо менее уютно, чем в том домишке. Возможно, им обоим недоставало небольшого дворика и улицы. Там Раиса, то половшая грядки, то ходившая за водой или к соседке за соленьями и куриными яичками, мелькала у Татьяны перед глазами не так часто, как здесь. И горб, вписанный в пейзаж с несколькими уличными деревьями и кустами, со временем стал как бы частью природы и почти не замечался. Обе сестры чувствовали: в старой хибарке жило печное тепло, рассеявшееся по дороге в новую жизнь. И после полугода слёз Татьяна собрала чемоданчик и впервые в жизни одна, без сестры, уехала в санаторий. Вскоре Раиса сообщила потрясшую всех новость: Татьяна выходит замуж за встреченного в санатории инженера из далёкого Ангарска. Инженер — сорокалетний вдовец Анатолий, намучившийся с женой-алкоголичкой. Он старше Татьяны на восемь лет, сам не пил никогда и не пьёт, детей нет. Татьяна поразила его красотой лица и культурой, он теперь без неё своей жизни не представляет... Странный брак оказался счастливым. Взаимная любовь светилась в голубых глазах Анатолия и в оленьих — Татьяны: пара приехала как-то на пару дней в родной город жены.

— Похоже, Анатолий любит нашу Таню так сильно, — резюмировала встречу с ними бабушка, — оттого, что к его чувству примешивается боль от её физического уродства. Он, наверное, и первую жену любил через сострадание.

По-прежнему восхищавшаяся сестрой Раиса иногда приходила и читала их с Анатолием письма: его перевели в закрытый город под Красноярском, с продуктами там было много лучше, чем в других местах, у семьи сложился небольшой круг друзей, в общем, как не раз повторяла бабушка, старшая пле-

мянница вытащила счастливый билет. Как-то приехала Татьяна без Анатолия, — его непустили с работы, — попросила бабушку помочь с больницей: ей нужно было прервать беременность. В своем небольшом городе она к медикам обращаться не стала, опасаясь пересудов. Объяснила она своё решение нежеланием пускать ребенка в жизнь, где над ним стали бы издеваться жестокие ровесники, насмехаясь, что у него мать не такая, как все. Бабушка через жену хирурга-кудесника нашла врача, всё прошло без осложнений. Больше Татьяна не приезжала. Прожили они с мужем в мире и согласии три десятилетия: через сорок дней после смерти Анатолия ушла и Татьяна. О её смерти узнал он от Раисы, полностью ослепшей из-за глаукомы на один глаз.

Он по-прежнему, как в детстве, любил свою тётку, живущую теперь на нищенскую пенсию. А передать нить своей любви дочери, растущей под алчную мелодию времени, не смог: Лизка ценила только яркое и дорогое, честный труд, которому отдала двоюродная бабка Раиса свою жизнь, считала уделом лохов-совков, и как-то он услышал, как врала она вдохновенно кому-то по мобильному, что учится в МГИМО, хотя он, уже разошедшийся с ее матерью — модной блогершей, знал, что бывшая жена и ее новый супруг Виталий с трудом впихнули Лизку в частный маленький вуз с торговым уклоном. В общем, с дочерью у него получился прокол. Этический брак. И надежда на переплавку её души как-то день ото дня слабела.

Он вышел из дома и снова брёл по проспекту, вспоминая простую жизнь Раисы, и не замечал усилившегося дождя.

Через год после замужества Татьяны Раиса решила вперые отдохнуть на черноморском побережье. Зарплату она получала приличную, к тому же путевка от НПО в дом отдыха была с большой скидкой, что радовало бережливую Раису: научилась тщательно рассчитывать бюджет ещё в годы полуголодной своей юности. Яркие краски юга и словесные букеты витиеватых комплиментов от седого хромого ловеласа, ни на

ТИХАЯ ДУША

что большее, кроме пляжной болтовни, не претендовавшего, вселили в неё робкую надежду на возможную встречу с тем, кто скрасит её одиночество. Она уже считалась в их научном крыле НПО старой девой и не верила, что может кому-то понравиться: своё лицо в зеркале виделось блёклым и точно рассыпающимся, иногда ей казалось, еще месяц-другой одинокой жизни — и в зеркале отразится только песчаная пыль. Женатые мужчины в их коллективе, на праздниках подвыпив, спорили в курилке, удастся ли кому-то из них сделать эту скромную белянку женщиной, но всё ограничивалось только мужскими шутками. На книжной полке дома стоял у Раисы фотопортрет отца. Татьяна, воспринявшая мнение матери о муже как об изменнике, ещё в подростковом возрасте вычеркнула факт его наличия из своей биографии, и при ней Раиса держала дорогой ей снимок, с которым ощущала теплую связь, в старом альбоме. Никогда не виденный отец стал единственным мужчиной её души, и то, что погиб он, проявив героизм и мужество, как сказано было в гербовой бумаге, когда-то присланной из главной канцелярии страны, сделало его образ недостижимым для сравнения даже с офицерами, нравящимися Раисе больше мужчин других профессий. Иногда, вспоминая того влюбленного лейтенанта, что чертил зигзаги надежды под окнами их деревянного дома, она думала с сожалением, что он походил на отца: такой же светловолосый, сероглазый... Раиса и сама в подростковом возрасте мечтала о военной профессии, волнуясь, читала о знаменитых женщинах-летчицах и жалела, что не родилась мальчишкой. Втайне от Татьяны, которую ранила даже соседские разговоры о детях, она все годы мечтала о сыне. Мечта становилась тоньше, нереальнее: тень стародевичества закрывала всё плотнее светлую веру, что сын когда-нибудь родится.

Как-то в их научном отделе, где было всего три женщины, отмечали Восьмое марта. Раиса всегда ждала таких маленьких праздников: в часы общих застолий она ощущала с коллективом родственное единение, чем-то похожее на давнюю, почти

симбиотическую связь с сестрой. Когда все сотрудники, слегка выпив, развеселились, неожиданно пришел слесарь из цеха, настроенный на скандал из-за чертежа с предполагаемой ошибкой. В цеху выполнялись экспериментальные заказы и многократно проверялись сконструированные приборы и детали, прежде чем разработки НПО уходили на большой завод.

Слесаря 7-го разряда, самого высшего у них в НПО, в отделе хорошо знали и ценили, но конфликтнуть ему не дали, усадили за стол, где стояли принесённые женщинами традиционные салаты с майонезом, пирожки, испеченные дома Раисой, большой магазинный торт, бутерброды с дешёвой колбасой и три бутылки вина. От выпивки слесарь отказаться не смог, плюхнулся на стул, — он был коренастый, большеголовый, немного похожий на цыгана, — и оказался напротив Раисы. Подняли бокалы за прекрасных дам. Раиса тоже выпила, отчего покраснелась и похорошела. Внезапный взгляд сидящего напротив мужчины, словно увиденного ею сейчас впервые, проник в самую глубину её глаз — показалось, летит она в какой-то долгий туннель, находящийся по ту сторону зрачков.

Через два месяца слесарь Георгий, в близком общении Гоха, переехал в панельную двушку Раисы. Был он из самой простой семьи, живущей в пригороде. Отец его, участник Отечественной войны, всю жизнь сапожничал, а став стариком, шил домашние тапки для бывших своих клиентов и знакомых, а мать вязала шапочки и плела разноцветные домашние коврики. Молчаливая и робкая, она очень стеснялась Раисиной образованной тётки: они приехали с бабушкой в февральский метельный день поздравлять Раису с днём рождения. Он, двенадцатилетний, заметил: Раиса похожа, как дочь, на понравившуюся ему старушку-мать опьяневшего балагура. Старушка показалась ему очень доброй, а Георгий слишком шумным. Бабушка сразу угадала, что принадлежал избранник Раисы к тому народному типу хлебосольных, отзывчивых на чужую беду мужиков, которые готовы любому отдать последнюю рубаху, и только в семье

ТИХАЯ ДУША

проявляется их скрытая нереализованная властность, иногда доходящая до тирании. «Боюсь, что Рае с ним будет нелегко», — сказала внуку, когда они ехали домой. И оказалась права. До рождения Лёши, — мечта Раисы о сыне сбылась, — жили они с Георгием хорошо, хотя её и утомляли набегающие по пятницам его приятели — все с водкой, пивом и вином. Приходилось беспрерывно готовить им закуску, печь пироги, подносить еду и уносить грязные тарелки. К тому же оказалось, Гоха, лидирующий в своей компании, — он был начитаннее других работяг и разбирался не только в технике, но и в политике, — сильно ревнив, нередко он скандалил из-за её случайного взгляда, предназначенного, как ему казалось, кому-то из дружков, расплзавшихся за полночь на полусогнутых. Заедало его и неравенство с женой в НПО: она — инженер, он — слесарь. Возможно, оттого Гоха намеренно тянул с законным оформлением брака: оформили они все документы, когда Лёше исполнилось два года. Выйдя из ЗАГСа, не лишенный прозорливости Георгий спросил, смеясь: «Небось, не верила, что когда-нибудь печать у тебя в паспорте будет?» Иногда Раиса думала с грустью, что сестре Тане повезло больше: Анатолий, конечно, по пятницам водит жену в театр или на концерты... Но в темное время суток Гоха был ласков, и её обдавало жаром одно лишь прикосновение его больших рук. Сынишку он любил, хотя порой покрывал на него, пугая малыша. Плохо было то, что Гоха стал ревновать Раису и к мальчику: жена ушла в заботу о сыне, оттого Гохина потребность во внимании громыхала, как пустая бездонная бочка. Раиса изредка приезжала к тётке поделиться своими переживаниями и сомнениями. Иногда она привозила маленького застенчивого Лёшу, забавно смеющегося, если спрятанная взрослым мальчиком игрушка снова появлялась из-за его спины. Лёшка был в отца крупноголовым и губастым, но светленьким в мать и словно приросшим к её теплому боку: не отходил от Раисы даже на полшага. Когда ощутившая силу материнства Раиса твёрдо попросила Гоху сделать приятельские

застолья пореже, муж впервые впустил в их семейный дом матерное слово. Кинув ей в лицо свои дурно пахнущие носки, грубо проорал: «Я женился, б... чтобы ты терпела моих друзей и мне стирала!» Кожа на её лице в месте соприкосновения с грязной тканью воспалилась, а низкое слово окатило душу ледяной несправедливостью. Вечером у Раисы впервые случился приступ глаукомы. С этого дня, сначала понемногу, стало у неё слабеть зрение. Георгий по своей природе незлой, уговаривала она себя, прощения за свою грубость попросил, сказал, что носки бросил случайно, поддавшись гневу, поклялся, что мата от него она больше никогда не услышит, ночами он по-прежнему горяч, сынишку любит... И всё-таки тяжело видеть, как нестерпимо далёк он с его вспышками раздражения и пьяными политическими спорами от образа её деликатного отца, о котором много рассказывала отцова сестра, дорогая её тетя. Раиса даже подумывала о разводе с Георгием, но вскоре умерли один за другим его родители, и в чувствах Гохи к жене появилось что-то сыновнее. Её сначала удивляла его внезапная, какая-то детская послушность и то, что он всё чаще звал её не по имени, а мамой. Чуть позже, не склонная к долгому анализу ни своего, ни чужого поведения, Раиса просто поняла сердцем: без неё Гоху погубит бутылка, — и в отношении к нему женское сменилось на материнское, прощающее. Время, когда они остались вдвоем, — окончивший техникум Лёшка ушел в армию, — стало для Раисы почти счастливым: ни ссор, ни пьяных пятниц. Все вечера они мирно проводили с мужем: или читали каждый свою книгу, Гоха любил военную литературу, она — исповедальные рассказы о жизни, или дремали у телевизора. Гоха купил новый с большим экраном. Тёплое биение их сердец звучало в унисон. Летом они съездили в Сочи, снявшись на фото у памятника Пушкину: немолодая пара, сросшаяся невидимыми корнями, давшая жизнь молодому побегу. Молодой побег вернулся и в первый же вечер обидел стареющих родителей, так ждавших его возвращения: не остался с ними дома, а умчался

ТИХАЯ ДУША

к друзьям, словно переняв эстафету былой отцовской традиции веселых пятниц.

Через неделю Лёшка сообщил, что приятель зовёт его работать в кооператив. Страна уже заболела денежной лихорадкой, в НПО деньги платить работникам перестали, по коридорам сновали сомнительные типы в джинсах и кожаных пиджаках, а по радио постоянно передавали криминальные новости о гибели очередного директора завода. Освободившиеся места занимали вышедшие из подполья «авторитеты» или молодые карьеристы, быстро отрёкшиеся от всего советского и ловко прихватившие партийные и комсомольские сейфы.

— Нет, — твердо сказал Георгий сыну, — в спекулянты не пойдешь. Мы с матерью даже копейки незаслуженной у страны не взяли и тебя не для того растили!

Лёшка огорчился, но слову отца, воспринявшего как личную трагедию распад СССР и обнищание большинства честных людей, воспротивиться не посмел: помнил его пролетарский ремень, наказующий за двойки. Сколотив бригаду из друзей, занялся ремонтами. Приятеля-кооперативщика, успевшего подсесть на долларовый наркотик, года через полтора застрелили, а Лёшка начал встречаться с его девушкой, после торгового училища работавшей продавщицей в галантерее, только что приватизированной директором — бывшим комсомольским активистом. Лёшка проводил сладостные часы в постели с весёлой продавщицей, но хотела она в качестве мужа склеить кого-то из случайно разбогатевших, — народ называл их «новыми русскими» или «прихвизаторами», — и, когда Лёшка ей сделал предложение, отказала. Этот дурак (как потом рассказывала уже взрослому внуку бабушка, в тот год она была еще жива) накачался таблетками — откуда он их взял, осталось неизвестным — и едва не отправился в праотцам. Раиса, узнав, что сын пытался покончить с собой, ослепла на один глаз полностью, а всегда говорливого Георгия сковала седая паутина молчания: он сутки сидел, не вставая с дивана и не прикаса-

ясь к еде. В ту страшную для неё ночь Раиса уснуть не смогла, сердце сжимал не только запоздалый ужас, что сын мог умереть, но и горькое понимание: ему безразлично, что случилось бы с матерью и отцом, если бы его не спасли. И лишь под утро, когда в синеватой дымке комнаты впервые за всю жизнь возникло перед ней видение — женщина в светлых, чуть колышущихся одеждах, не касающихся пола, смотрела на неё, — Раиса ощутила внезапный покой и заснула. «Это приходила сестра моего деда, ставшая в двадцать лет монахиней, — говорила бабушка племяннице и внуку, — она молится за нас в небесном монастыре. Только помогает не всем в нашей родне, а лишь тем, у кого чистая душа. Если в трагические или самые трудные дни, увидишь призрак женщины в светлых одеждах, опасность минует, всё будет хорошо».

«Я люблю Жанну, — сказал Лёша, — я жить без Жанны, мама, не смогу». Безумный поступок, совершённый ради любви, стал известным в их дворовых кругах и местная слава, сделавшая Жанну роковой героиней, наполнила живой энергией пробуждающийся росток её чувства и компенсировала нехватку у героя мелодрамы своей квартиры и денег. В конце концов юная продавщица ответила Лёше согласием. Оказалось, Жанна из их же панельного дома. Раиса не раз видела её мать, востроглазую брюнетку, водившую машину с инвалидным значком. Инвалидом оказался муж востроглазой, отчим невесты. «И вот что я тебе скажу, — заканчивая рассказ о внучатом племяннике, подводила итог бабушка. — Лёша счастлив с этой Жанной». К учебе он не тяготел, звёзд с неба не хватает, но ему от рождения дано самое ценное — сердце, способное на большую любовь.

Дочка Лёшки и Жанны родилась на полгода раньше Лизки, а Георгия, ставшего дедом, вскоре настиг инсульт: он узнал о внезапной гибели начальника своего цеха — тот застрелился из охотничьего ружья. Седая паутина вернулась к Гоге и снова сковала его тело. Он выжил, но по речи и поведению стал трёхлетним ребёнком да еще с неработающей правой рукой, которую

ТИХАЯ ДУША

держал согнутой у груди, точно лапку тушканчика. Платили Гохе мизерную пенсию. Раиса теперь преданно ухаживала и за малышкой-внучкой, и за неразумным мужем. «Видно, мне так на роду написано, — иногда думала она, — сначала сестра Таня, а теперь беспомощный Гоха...» Когда пришедший навестить Георгия один из старых его друзей рассказал, что НПО развалили, цех переоборудовали в казино, а на месте научного отдела выросли три какие-то смутные фирмы, по всему видно, поганки-однодневки, Гоха зарыдал. «Значит, понял», — подумала, Раиса, уже оплакавшая, втайне от больного мужа свое родное, работавшее на космос НПО, погубленное новыми хозяевами. Десять лет ухаживала Раиса за мужем, пока не умер он от второго инсульта. А когда умер, пришла тёща Леши и, вкрадчиво улыбаясь, предложила Раисе переехать к ней, а молодую семью, Лёшку, Жанку и девочку, названную Жанной иностранным именем Анжелика в честь поп-певицы, на которую Жанна, как считали дворовые подружки, была чем-то похожа, переселить в Раисину двушку. «Пусть они живут отдельно своей семьей, а ты с нами, мы с мужем в одной комнате, ты в другой, холодильника у нас два, но подушку и простыни возьми свои», — приказала она и ушла, не посчитав нужным вникать, согласна ли Раиса с её решением.

Вечером зашел Лёша и удивился, увидев, как складывает Раиса свою одежду в чемодан. «Ты куда собираешься, мам?» Узнав о предложении, он рассвирепел и, перевернув чемодан, выкинул все вещи на пол. «Ты почему такая», — сказал, успокоившись и обняв её за плечи. «Какая?» — «Слушаешь эту... Живи, мам, как жила, а будет скучно, Анжелка прибежит к тебе, иногда может у тебя и переночевать. Она с учёбой барахтается, подтяни ей математику, иначе потом в девятый класс её не возьмут, ты ведь у нас в этом деле мастак, а репетитор, знаешь, сколько сейчас берет, жуть!»

Раиса математику внучке подтянула, потом сама её готовила к ЕГЭ, пришлось заниматься с внучкой и русским языком: не

читающая Анжелика грамотностью не отличалась. Лёша с детства книги любил, но Жанна, предпочитающая проводить свободное время с пивком и домашним кинотеатром, намеренно отвадила дочь от чтения, считая, что ребёнка нужно учить думать о деньгах, а не приучать витать в придуманных облаках. Лёшка как муж и отец ни в чем не мог жене перечить, лишь однажды пожаловался матери: «Скучно мне с Жанкой, она книги у меня из рук вырывает и, когда меня дома нет, выбрасывает». Раиса вспомнила ту страшную свою ночь — ночь без сна. Но ничего сыну не сказала.

Анжелика поступила на экономический факультет в университет, правда, для бюджетного места баллов ей не хватило, и отец стал за учёбу платить: к этому времени его спаянная бригада уже не только ремонтировала, но и строила загородные дома. Жанна научилась водить машину, получила права и сама возила мужа «на объекты», присматриваясь к жизни богатых и стараясь потом многое из подмеченного копировать в их панельном мирке. Большинство из обладателей тугих кошельков тяжело расставалось с деньгами, лишь некоторые, наоборот, намеренно демонстрировали, что любая трата для них — пустяки. Один из таких хвастунов, владелец казино, заказавший постройку огромного замка, усмехнувшись, открыл портфель, полный бумажными купюрами, и сказал: бери, сколько возьмёшь. Пораженный Лёшка рассказал об этом матери. «Так, может, его казино то самое! — воскликнула она, — которое на месте цеха, где твой отец слесарем работал». Новая жизнь мучила Раису своей несправедливостью и тяжелила вопросом: почему шикуют получившие ни за что ни про что заводы и земные богатства и так трудно живёт обманутый народ, который по закону должен быть хозяином страны и всех недр, а на деле опущен ниже плинтуса. Тысячи обедневших, выброшенных людей за эти годы умерло... Не выдерживало зрение Раисы искажённой картины времени, становилось всё слабее, и в одиночестве чаще и чаще вспоминала она своих умерших: тихо плакала о Тане,

ТИХАЯ ДУША

о муже Георгии, о тётё — сестре отца, — и, налив себе рюмочку молдавского вина, выпив, шёпотом произносила: «За упокой». Воспитанная в атеизме, хоть и верила она в какую-то неземную жизнь, откуда однажды пришла к ней женщина в светлых одеждах, но в церковь не ходила. И поражалась, что в православный храм зачастила бойкая теща Лёши. «Не удивляйся, мам», — объяснял сын, — к ним постепенно вернулась доверительная откровенность, дарившая Раисе минуты счастья. Даже про героическую гибель своего деда отыскал Лёша по просьбе матери несколько строк в Интернете — сохранившийся рассказ выжившего узника. Грехи свои теща отмаливает, наша православная вера добрая, всех за грехи прощает, вот она о прощении в церкви и просит, потому что сильно боится наказания. Покупателей, работая в торговле, обвешивала и обсчитывала, мужьям изменяла, двоих схоронила, за взятку инвалидность третьему оформила, чтобы меньше за квартиру платить, правда, он мужик нормальный, отзывчивый, теща им крутит и вертит, а бедную Жанку она вообще до пятнадцати лет держала в деревне у злоущей бабки, оттого Жанка такая взвинченная. Мы не только за квартиру платим, еду на всех тоже мы покупаем.

Везде теперь обман, везде ловкачи, печалилась Раиса, как-то Анжелочка к такой жизни приспособится, не станет ли дурному подражать... Вот Лизе повезло, у неё есть хороший пример — отец. Честный человек, талантливый художник.

Племянник приехал и предложил:

— Тетя Рая, напишу твой портрет.

— Что ты, — отмахнулась она, — не надо, ты глянь, какой я стала: с одного глаза, который хоть как-то видел, сняли катаракту, а всё равно зрение не чёткое, сказали, не только глаукома, еще и маскулярная дистрофия, да лучше бы и совсем не видел: волос осталось всего ничего, и те седые, а морщины по всему лицу, точно следы от колес. Лучше возьми фотографию твоего двоюродного деда, моего отца, и напиши его портрет.

Он взял фотографию, сделал набросок... Но не успел.

МАРИЯ БУШУЄВА

Дождь кончился поздним вечером. Врач Даниил Игоревич Сёмин вышел из своего «кадиллака», поскользнулся на мокром асфальте и, на ходу доставая мобильный, чтобы получить от супруги указания, какие купить продукты, поспешил в «Азбуку вкуса». Когда с плотно набитыми пакетами он вернулся к месту своей парковки, рядом с «кадиллаком» стоял черный джип. Из него выскочил лобастый мужик.

— Не узнаешь? — спросил Сёмина.

— Не...

— Был я сегодня утром у тебя в кабинете! Так ты, значит, указание выполняешь несильно усердствовать при лечении стариков, они для вас, сволочей, балласт?

Лобастый рукой в перчатке вмазал Сёмину по лицу. Сёмин качнулся и упал. Лысый сморщился, плюнул на траву возле ботинка лежащего и уехал.

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

А Гульгузель все звали Гульгузи, а чаще, на русский манер, Галкой, только в паспорте точно гуси летели: гуль-гусель — гиль-гу-си, гиль-гу-си, так вот Галка Юмакаева всегда, как в десятку, попадала в какие-то неудачные ситуации, из которых, правда, быстро выбиралась, чтобы буквально через полгода попасть в новую. Ситуации все были разные, а результат одинаков: облом... Вот и теперь — уже дочке Динаре четвертый год, привёз в российскую столицу и на тебе — спутался с какой-то штучкой, блондинкой, и перестал даже приходить ночевать: квартиру ему в новом районе папаша купил — их целая колония тут из Тюмени — дети нефтяных богачей. Теперь уж точно с Галкой не зарегистрируется. И всегда ей достаются такие — типичные маменькины сыночки, которых потом уводят...

Она сидела перед зеркалом, красила ресницы, готовясь пойти на первое занятие к инструктору автошколы. Равиль и дочка ещё спали. Галка записалась нарочно на самое раннее время — на семь утра. Инструктор — молодой мужик, а девчонки рассказывали, если сто пятьдесят зелёных не заплатишь, ни за что на права не сдашь. Просить у Равиля — конечно, отстегнет, но с таким воем! Скандал обеспечен. А то и погонит. Скажет, вали в Тюмень. Будет на дочку посылать копейки. А Делька подучила, ты, говорит, с инструктором устрой секс прямо в тачке, как вот соседка Инна сделала, то да сё, лучше поспать немного с ним, тогда он денег не потребует, Инна даже теорию не сдавала — этот лох ей всё сам сделал, да еще и духи подарил. Правда, они все, инструктора кондовые такие и одеты неряшливо, но этот, Юрий, ничего... Что-то в нём даже от татарина есть: нос короткий, брови черные... Да нет, Галка усмехнулась, совершенно русская физия... Но решила: походит в автошколу —

МАРИЯ БУШУЕВА

хоть какое-то заделье, а то её активная натура просто маялась от ничегонеделанья: дочку за взятку взяли в садик, Равиль на работе, а она то бродит по огромному району из магазина в магазин, то смотается куда-нибудь в центр, в бутики... Тоска. Ну, в общем, решила насчёт автошколы не совсем сама: подружка, Диляра сагитировала: пойдём да пойдём. Дельке хорошо: квартира её собственная, отец её — король, некрупный, конечно, по нынешним меркам, но вполне увесистый денежный мешок, сразу купил в столице трёшку ей и её мужу. И муж у неё красивый такой парень — она здесь его и нашла, он студент, а по вечерам подрабатывает извозом на Делькиной «ауди» — шутит, что кормит его дорогая Авдотья. Это папаша подарил машину, полтора года муж уже на ней катается, а тут и Делька удумала водить — а что еще делать днём? И предложила — пойдём поучимся, а то одной как-то не хочется.

Они с Делярой как сестры.

Собственно говоря, и в столицу Равиль рванул, потому что отец Дельке там квартиру купил, Делька приехала, тряхнула длинными чёрными волосами — да вы что, говорит, сидите здесь, клопов давите, налезьте и на Равилевого папашу, пусть купит в столице сыну квартиру, здесь жильё оставите, пригодится, будет куда отступать, когда русские нас погонят, а там хоть поживете — а магазины, а ночные клубы, а деньги как легко сделать!

Равиль сразу смекнул — не туфту гонит, дело говорит. Делька на учёбу была всегда тупая, если честно, но по жизни любого за пояс заткнет, в своего отца пошла — такая хитрожо... ой, ещё какая! А у Галки что? Мать и отец — работяги, на стройке отпахали двадцать лет, он — крановщиком, она — маляром-штукатуром, в начальники папка даже не выбился. Жили с Делькой в одном дворе, в одном подъезде; мать у Дельки страшно добрая, всегда и Галку обедами кормила... Жалко старую Динару, Галка её именем даже дочку назвала, давление замучило, да и как не замучит — муж гулял от неё с каждой смазливой бабёнкой,

а с одной, говорят, шибко умной, вообще десять лет жил, как со второй женой, пока она ему не сделала ручкой. Вроде другого нашла. Начальник — ему всё можно.

Вот и сюда приехали... И на тебе — пожили два года, и Равиль втюрился, как слепой котёнок... Любобы! Сначала дверь закрывала, даже волосы ему рвала, царапалась, не пускала его к ней. А теперь — смирилась. С Галкой уже и в одной кровати не спит. Придётся, видимо, в скором времени отчаливать обратно в Тюмень.

Вообще-то Галка свой город любит. Даже немного его историю знает. Тюмень название своё приняла от речки Тюменки, а прежде на том самом месте стоял град татарских князей, а звали его Чимги, по-другому — Чингиден. Основал его Тайбуга, сын магометанской веры царя именем Он.

Занятия с инструктором начались в их группе вчера: Делька поехала, позвонила вечером, говорит, ничего, нормально мужик катает, про деньги пока не говорил, а так поболтали о всякой ерунде, кстати, поинтересовался, как моя семейная жизнь. «Там второй инструктор есть, я его видела, он тоже в это же время ездил с другой нашей группой, — щебетала Делька, — этот — красавец, помнишь, он тоже заходил, списки читал, я сразу на него глаз положила: смуглый, высокий! Атас просто! Мы должны мстить мужикам за наше рабство — сами из них гаремы устраивать!»

Накрасилась. Выглянула в окно: еще даже темно... Хорошо-то как! Из окна лесом пахнет. Новый район — спокойный, как санаторий. И Равиль чего-то дома, надо же... Может, его кинула его блондинка? О-о-ох, вряд ли! Но без надежды — один шайтан, как бабушка говаривала.

Подошла, поцеловала дочурку. Шепнула: «Спи, моя Луна золотая, моя крохотная лошадка».

Старалась дверью не стучать, тихо-тихо вышла, как тень, как тень. Отчего все мои беды-печали? Неужели судьба, как у мамки? Любила всю жизнь своего одноклассника. А он и ду-

мать о ней забыл. А вышла за другого одноклассника — за папку. Подружка мамкина бросила его, он от тоски к мамке прилип. Так и поженились: выходит, оба — от неудачной любви. Папка неплохой... но, когда выпьет, злой. «Ты за меня не по любви пошла, — кричал на жену и даже иногда, когда поддавал, ей тумачков наставлял, посуду бил, дыру однажды в стене кулаком пробил — как трахнет, а дом старый, штукатурка посыпалась — и дыра в соседнюю комнату. — Ты, — кричал, — без Абрамова жить не могла, и Гульки, наверное, от него прижила...» «Да, не ври ты, не ври, — плакала мамка, — он и не поцеловал меня ни разу, ты же помнишь, он все за генеральскими дочками охотился». «Я те покажу охотника! Я те...» Но так уж круто ругались они редко. А когда Галка стала подрастать, папка и вообще пить почти совсем перестал, как-то сжились они с мамкой... Но однажды призналась она горько, что так и не знала никогда личного счастья.

— Мужчины наши, доченька, все — ханы, а хану подавай сто жен, — учила она Гильгузи, — ты лучше за русского иди, немстительные они. Обиды быстро забывают, доверчивые, нежадные. Русский нищему последнюю рубашку готов отдать, так мне бабушка говорила. К тому же — ласковые. А меня твой папка до крови... до крови... — Она махнула рукой и заплакала.

— Мама, не плачь. — Галка прижалась к ней, словно могла защититить от всех бед.

— А главное, церковь их русская двух жён иметь не разрешает...

— Русских много бедных, — сказала Галка, — от нищеты пить будет.

— Если и станет попивать, так не обидит. — Мать тяжело вздохнула. — Заработать они редко когда умеют, больше мечтают, чем дело делают, а деньги к хитрым и практичным льнут. Мы с отцом советские работяги были, а теперь тоже стали бедняками, прадед-то мой Юсуп, твой, выходит, прапрадед, до революции в Тюмени жил, тогда многие татары

жили за Тюменкой, там и цыгане-торговцы обосновались, не кочевые, оседлые, многие из них потом купцами записались, и прадед тоже торговал лошадьми, был прасолом, женатым на дочери заезжего бухарца, таджичке. Бабушка моя гордилась, говорила: «Я таджичка!» А лошадей, знаешь, кому продавал? Может, и деду Делькиной Динары! Тот дом каменный имел, кузницу, большое кожевенное производство... Это мы как-то с Динарой сидели вечером, вспоминали родителей, она и рассказала, что предки-то её были настоящие тюменские богачи, одна из прабабок вышла потом замуж за русского купца Колмогорова, сестра её — за тюменского купеческого сына по фамилии Молодых, каменный дом его самого или родственника и сейчас стоит. Так что Делькин род с большой струёй русской крови. У нас нередко такое, отец верно называет Сибирь плавильным котлом. Тюмень-то русские и поставили на месте татарской Чимги-Туры... Ты книжку про город наш почитай.

Галка мать во всём слушала, сходила в библиотеку, толстую книгу по истории брать не стала, сильно долго читать, взяла глянцевою брошюрку, предназначенную для туристов, и нашла в ней несколько строк про свой город Тюмень:

«Тура по-татарски означает укрепленный городок или крепость. В XIII в. тюркоязычное население Западной Сибири было покорено монголо-татарами, и территория современной Тюмени вошла в состав империи Чингисхана. Возникло самое раннее государственное образование сибирских татар — Тюменское ханство, находившееся под властью Золотой Орды и ставшее одним из центров мусульманской культуры в Западной Сибири. Именно сюда из Средней Азии приезжали муллы и ходжи. Здесь возникли первые медресе. К господствующей верхушке Тюменского ханства принадлежали и многие бухарцы, которые вели торговые сношения со среднеазиатскими государствами, знали все их порядки и законы.

Чимги-Тура недолго была столицей Тюменского ханства».

Прохладное, свежее, сентябрьское утро. Подбежала — она вообще быстрая, Галка, по жизни такая, всё делает скоро, не может медлить и правду выпаливает так же, надо бы промолчать, затаиться, как Делька, ан нет, наоборот, всё сразу выскажет, как пулёмёт. Мать говорит, Галка в прабабку свою пошла, таджичку. Та была, как шило. Остальные-то все: и прадед по отцу, и дед — бедные татары. Правда, вспоминают, таджичка-прабабка пела хорошо, а у Галки никакого голоса. И невесточный характер. Вот Делярка — вся Восток. А в старом фильме верно говорили: Восток — дело тонкое. И дочурка, Луна ясная, похоже, совсем другая, не простодушная, как Галка... В Равиля!

Подбежала — машина уже стоит, а инструктор в ней вроде дремлет. Открыл глаза, глянул — сморщился. Две морщины между бровей. Чем недоволен? Поспать, наверное, хотел, думал, вдруг не придёт, не встанет так рано, тогда деньги его, и время — его... Сгорбился. По его лицу — так всё ему не нравится, жизнь сама ему противна, а уж её и видеть мерзко, такой вот неприветливый.

— А... пришли, как вас... Имя какое-то...

— Можно Галя. Садитесь. Поедем, тут недалеко.

— Вы не выспались?

— Точно. — Он глянул на нее чуть удивленно.

— И я не выспалась, — решила сразу — бух! — и в воду, как Делька подучила. Ты, говорит, сразу, а то какая другая перебыет, Я, конечно, тебе зелёные займу, но... И морду скорчила. Коварная, коварная подруженька моя.

— Сейчас бы доспать. — Они встретились взглядами — и сразу поняли друг друга. Брови у него слегка поднялись, он помедлил, положив руки на руль.

— Так, может, заедем ко мне кофе попьем?

— Заедем.

— Я во время занятий никаких этих... неформальных отношений с учениками не завожу! Но у нас пока еще занятия не

начались. — Он засмеялся. — И что тут такого, прикинь, кофе попить. Если честно, я вот так с женщиной один на один кофе не пил уже полгода...

— А недалеко?

— Недалеко... Рядом... Совсем — совсем рядом. — И он положил руку ей на колено. Она нарочно надела короткую юбку. — Чего дрожишь-то? — Он быстро развернул машину, включил музыку. И вдруг резко притормозил.

— Э нет, извини. — Между его густых бровей снова пролегли две глубокие морщины. — Без кофе придется обойтись! — Он вроде то ли вздохнул, то ли присвистнул. — У меня дома... ну, в общем, я забыл...

— Забыл что? — глупо спросила Галка.

— Ключи у друга. Давал ему, забыл взять.

— И что? — Она никак не могла взять в толк, отчего у него так резко переменились планы.

— Работать едем — вот что!

Но чтобы Галка влюбилась, ей нужно было отказать. И этот простой с виду, но такой симпатичный инструктор по вождению ей страшно понравился. У него пухлые губы, точно у девочки, зелёные глаза, иногда хитро взглядывающие из-под немного нависшего лба, и такие тёмные густые брови. А главное, он ей отказал. И почему?! Ведь, похоже, живёт один. Развёлся, наверное, ведь уже не мальчик. А есть в нём что-то детское — так тоскливо, даже плаксиво сморщится, ну надо же, а ведь мужик уже, тридцать-то есть. И отчего вдруг передумал? А ездить заставлял так медленно-медленно, хотя Галка сказала ему, что уже водила немного машину. И ей не нравится медленно. Она быстрая по жизни, Галка — Гульгузи. И открытая. Такой ли должна быть восточная женщина?

— Дура, дура и еще раз дура, — сказала ей, услышав, как они с инструктором не поладили, её верная подруженька, — кто же так обольщает, ты бы ногу посильнее выставила!

— Но у меня она слегка кривая! — засмеялась Галка.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Ты бы наклонилась к рулю и слегка коснулась его грудью.

— Но я была в куртке!

— Вдохнула бы томно, вот так... И — вот так... И он бы сам тебя повёз в лес — лес-то ведь рядом, а ты...

— А что — я? Что?

— Не можешь охмурить даже инструктора, то есть обычного водилу! Оттого и твой Равиль на сторону смотрит. Хочешь, я тебе покажу, как это делается? Я завтра езжу с половины седьмого, поставил мне такое время, думаешь, случайно — все они, мужики, одинаковы, никто до семи утра и после десяти вечера от секса не откажется!

— Ну, покажи!

— И покажу! А потом тебе его передам — и чтобы сэкономила баблосы, идиоточка моя!

— Тебе хорошо учить, — вдруг обиделась Галка, — а мой Равиль... Э! Легок на помине, слышишь, дверь открывает — значит, явился.

— Утри ему нос, — шепнула Диляра, — он самолюбивый, сразу начнёт у него в том самом месте щипать!

— Вы это о чём? — Равиль сиял. — Душки мои!

— А так... женский треп. — Диляра коварно улыбнулась. Она всегда улыбалась немного зло, будто таила для всех в душе каплю ядовитой мести. — Ну как твоя бурная столичная жизнь?

— Отлично! А твоя?

— Не потеряй Галку в бурной воде, — не ответив, сказала она, закуривая. — А то другой отыщет.

Равиль хмыкнул и презрительно отвернулся.

— Сердце твоё не посмотрит, и глаза не увидят! — Диляра прищурилась.

«Сейчас Равиль начнёт меня оскорблять, — испугалась Галка, — как всегда, обзовёт грязной подстилкой, глупой коровой, прилипшим к нему конским навозом...»

— Я бы ему так ответила, что он бы потом слова грубого сказать мне боялся, — говорила Делька.

А Галка терпела и молчала — из-за дочурки, Луны золотой, шёлковой кисточки. Пусть бы не женился, но хоть девочку бы записал на своё имя. Ведь пока она тоже — Динара Юмакаева. И возвращаться обратно в Тюмень — страшно. Что скажет отец? Как бы Делька не ругала, не казнила её за то, что она всё терпит, а другого выхода нет.

Равиль при Дилярке не стал выворачивать свою душу, промолчал, прошёл к себе в кабинет. Он сам себе выбрал и обставил комнату и назвал кабинетом, купил ноутбук и даже поставил на полку книжки, которые, правда, никогда не открывал.

— Зачем тебе книги? — как-то съязвила Диляра. — Теперь же не модно читать. Круто — зашибать деньги. И ты у нас в бизнесмены метишь, а не в учителя?

— А мне нравится, — сказал он и засмеялся, — сижу в кабинете и чувствую себя профессором, преподавателем универа. Брат родной моего деда был умный, муэдзин. Наизусть Коран знал. И я начинаю Коран изучать. Ученым стану.

— Так и ученые сейчас нищие, как мыши. Те, что взятки со студентов не берут.

— Зато образованные.

— Образованные как ты, не ругаются, — тихо сказала Гүльгузель и отвернулась. Нет, только бы не заплакать от горькой обиды!

Через пять минут, переодевшись, Равиль появился снова.

— Обед есть?

— Есть, есть, — обрадовано запричитала Галка. Только от радости бы не заплакать! — Сейчас всё в микроволновке согрею, и токмач твой любимый с бараниной, и азу, всё приготвила, сейчас, сейчас! «Если запросил обедать, значит, дела идут не так уж и плохо». «Первый признак того, что муж разлюбил, это, если его от твоей еды воротит, — учила мама, бедная моя,

МАРИЯ БУШУЕВА

несчастливая мама. — А если ест с удовольствием, с аппетитом, значит, и постель будет, и в семье мир...»

Но Равиль на то и Равиль, ни в какие правильные ворота не лезет. Сытно поел, позвонил своей — и отчалил.

— Ты, выходит, ему мамка, — сказала Диляра с усмешкой, — а эта б-дь — любимая. Скотина он у тебя. Я скадрю инструктора, а ты подхватишь его, тёпленького. И возьми да и выйди за него замуж. Будет тебе и столичная прописка и в секс-шоп не надо бежать за искусственным мужиком, а главное — отплатишь своему хаму.

— Хану?

— Да не хану, а хаму. Все схрумкал, что дали, и тут же, при матери своей дочери, звонит этой блондинистой стерве, про подарки ей говорит и какими ласковыми именами называет! Меня и то такими монетами золотыми мой не посыпает!

— А как, как? Я не расслышала. — Галка курила уже третью сигарету подряд, но только горечь расцвела во рту, только шершавая терка спряталась под языком.

— Язык бы ему отрезать!

* * *

«Был в Чимге-Туре оживленный базар, продавали на нём ткани из шерсти белого верблюда и шёлк, часто с серебряной вышивкой — любили красавицы шелковые наряды. Продавались серебряная посуда, китайские чашечки, статуэтки из нефрита, бусы, разноцветные ленты, дорогие перстни, мониста, а также мускус, чай и вино... Караваны из Бухары и Самарканда привозили на базар Чимги-Туры ковры с красивым узором, расшитые цветами скатерти, мягкие кошмы и одеяла, сушеные фрукты, пряности и сладости...».

* * *

Диляра от злости ущипнула Галку: отъездила в семь утра, не выспалась страшно, а проклятый водила ноль эмоций на неё.

— Я ему нос утру, всё равно он будет мой, а потом размажу по стенке, — визжала она. — Меня отец так воспитал! Он про

себя всегда повторял: «Ансар в любви не знает слова «нет»!» — и мне передал свою силу! Ты же помнишь, он воспитывал меня, маленькую, как мальчишку!

А Гильгузель смотрела на подругу почти счастливыми глазами: ей не хотелось, чтобы Дилярка уложила чернобрового инструктора. И даже на болезненный щипок не обиделась. Делька и в детстве чуть что — сразу щипалась. Один раз даже за плечо голое укусила. Лето было, жарко, они пошли вместе за мороженым. Мамка на сладкое да на вкусное никогда для дочки денег не жалела. «Разве это у нас деньги, — грустно шутила, — от них не убудет и к ним не прибудет, а тебе, доченька, радость». И вот шли они с Дилярой, а навстречу их одноклассник — гроза девчонок Алексей Орлов. Мать у него полутатарка, это потом выяснилось, а отец русский. Большим начальником отец работал, пока заваруха не началась. Скинули его и своего поставили. Правда, успел он кое-какие средства прибрать к рукам. Потом Алексей Орлов от обид за родительскую семью, опущенную татарами-националистами, съехал в Англию. «Родина, — сказал, — сама отвернулась от меня». Он ещё в школе честолубивый был. Говорят, теперь Коран толкует в каком-то английском университете. И вот жарко, лето, асфальт плавится, они бегут с Диляркой и едят мороженое, которое тает и течёт по смуглым пальцам, а навстречу Орлов. Он сильно нравился Диляре. И они остановились. «Мороженое-то у вас тает», — засмеялся он и вдруг наклонился и слизнул с пальца Галки сладкое текучее пятнышко. И был таков. То есть мгновенно скрылся за поворотом. И Дилярка тут же укусила подружку за плечо. У обоих слёзы выступили на глазах. Конечно, Галка её потом простила. А что взять-то? Как сёстры. Одна сестра коварная, а вторая...

— Я его в порошок сотру. — Диляра зло выпускала из ноздрей струйки дыма. — Он уже мне намекнул, что без ста пятидесяти зелёных площадку сдать не удастся. Я ему их в физиономию кину.

Страстная подруженька, ай страстная.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Я ему его морду исцарапаю. Знаешь, он что мне сказал? «Вы не в моем вкусе».

— А кто — в его?

— Про тебя, кстати, спросил — замужем ты или нет. Мог и у тебя лично поинтересоваться. Но не рассчитывай: и с тебя бабло сдерёт как пить дать. И, знаешь, на кого он похож? У нас в школе учился, на три года старше, внучонок шамана манси Петька, теперь он экономист в Ханты-Мансийске, а экономисты все от природы жадные!

— Поинтересовался? — Галка покраснела. И Равиль жестокий вдруг вызвал у неё жалость. Крутит ему голову столичная штучка, деньги выманивает. Они здесь все такие испорченные, сердца у них лживые: только коттеджи да «кадиллаки» им подавай. И мы, живя здесь, постепенно в таких превратимся: в болоте и соловей лягушкой станет. Ничего, кроме денег и квартир, не надо им. Останется Равиль на бобах. А она, Галка, не станет с ним регистрироваться принципиально. Мучил, мучил, а теперь пусть сам пострадает.

И все равно было его жалко. «Нечужой, поди, он теперь, — сказала бы мамка, — как не посочувствовать коню спотыкающемуся». Вспомнилось грустные строки:

Взор не вином опьянён в нём хмель от любви,
В сердце не пламя огня — пепел любви,
Жемчуг разбитый тобой склеить нельзя.
Яд от измены твоей в сердце моём...

Стихи Галка любит, полюбившиеся наизусть помнит, только фамилии авторов почему-то из памяти выпадают, теряются.

* * *

«Первыми поселенцами на юге Западной Сибири были угорские племена, но тюрки оттеснили их на север. Однако с XIV—XVI веков ханты, манси, селькупы и эвенки стали оказывать влияние на жизнь

сибирских татар. Велась торговля, случались и смешанные браки. Торговля сибирских татар с северными народами Сибири в эпоху Сибирского ханства стала практически постоянной. Мансийские и хантыйские княжества находились в зависимости от Сибирского ханства и платили ясак татарскому хану, а также поставляли ему воинов, которые порой женились на татарских девушках, а дети их ассимилировались уже в татарской среде».

* * *

— Ты не представляешь, — рассказывала вечером Галка Юмакаева Диляре, — я вышла из машины, иду к школе, ты, кстати, зря сегодня не была на теории, он так подробно говорил о дорожных знаках, я всё запомнила, и вот я иду, а Юра вдруг меня догнал и обнял. Даже шатенка, которая стояла, ждала и должна была водить после меня — обалдела. Он точно на Петьку манси чем-то похож. И говорит мне: «Осторожно, машина». А никакой машины не было. Пустая улица. Нет, ты прикинь — улица совсем пустая. Я даже потом, после лекции, к этой шатенке, не знаю, как её зовут, подошла, она как раз после меня ездила. И спрашиваю её: «Слушай, ты видела?» Она сразу поняла, про что я. «Видела, как инструктор меня обнимал?» Она говорит: «Ну да». — «Машин ведь никаких не было?» — «Не было». А он сказал: «Осторожно, машина». — «Не было, не было». — «Что бы это значило», — спрашиваю. А она, знаешь, что мне сказала: «Думаю, это любовь». Понимаешь — любовь!

— А ты зачем её спрашивала, — лениво выпуская из восточных ноздрей дым, проговорила Диляра, — ты что, её знаешь? Кто она тебе? Сестра? Мама?

— Отстань с ерундой, спросила, и всё. Со стороны-то виднее.

— Да она просто так, чтоб от тебя отделаться, — лениво махнув рукой, словно отгоняет муху, опять сказала Диляра. — Ей до лампочки твой инструктор. И ничего она не видела. Кроме тебя, дуры, прямо перед её носом.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Не такая уж я дура, — обиделась Гульгузель. — Ты-то ведь тоже ничего с ним не поимела, кроме материальной потери. Так что уж помолчи.

— Чего?!

— Помолчи, говорю. Я сама чувствую, я ему нравлюсь.

— Корова глупая!

— От такой же слышу.

— Вали в Тюмень!

— А ты со мной, как Равиль, не разговаривай. Хочешь, сама вали!

— Не хами.

— Ты — первая хамка.

В общем — поссорились. Галка хлопнула дверью и ушла к себе. А Диляра... Диляра... А что, ей, подруженьке-то, у неё и сундук полон, и супруг на месте. Э-э-эх придётся обратно уезжать, так что ж — уедет она, возьмет дочурку и укатит. Чай, мамка не погонит. Вот разве отец...

Но вдруг и правда — любовь?

Гульгузель лежала в ванной, вода успокаивала и грела её замёрзшее, никому не нужное тело. «Любовь? Да кто её знал-то, доченька, — вспомнились слова мамы, — только в книжках да в кино, а в жизни нужда да болезни, да тяжелый труд. Любовь богатые придумали. Вот у Диляры твоей будет любовь, у неё и так всё остальное есть: отец — шишка, дом полная чаша, здоровье от природы лошадиное, помнишь, как на дне-то рождения у отца она одна бутылку шампанского выпила и хоть бы что, а по виду — стрекоза узкоглазая, а? Вот ей-то Аллах и пошлёт недостающее. А что у неё недостающее? Любовь, девочка моя. А у нас с тобой всего ничего: ни денег, ни здоровья, ни семьи доброй, ни ума большого. Не верь, доченька, словам пустым, сболтнула тебе та девушка просто так. Одно у меня счастье за всю жизнь долгую — ты, монетка моя серебряная, и ты другого счастья не жди». — «Как же так, мамочка, как же так?» — «А всё повторяется, доченька, всё повторяется...»

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

Гульгузель задремала в ванной, звонок телефона разбудил — выскочила голая, пробежала, оставляя на паркете мокрые следы.

— Не приеду ни сегодня, ни завтра, не жди, — сказал жёстким голосом Равиль, — а лучше вообще собирай вещи и езжай обратно вместе с Динарой. Я женюсь.

Даришь другим свой аромат, о, базилик,
Даришь веселье другим, о, базилик!
Мне же страданье и боль, о базилик!
Мокрые холодные следы...

* * *

«В 1399—1401 годах в Чимги-Туру после поражений, нанесенных ему сначала Тамерланом, а затем ханом Заволжской Орды Темир-Кутлукем, бежал известный по взятию Москвы Тохтамыш и на какое-то время стал во главе Тюменского ханства. Но золотоордынского трона вернуть он не смог. В Чимге-Туре жизненный путь Тохтамыша закончился...»

* * *

Прибежала к Диляре, нет, слёз не было, ледяное пламя ненависти к Равилю слёзы высушило. И про ссору с подружкой даже не вспомнила — ни когда в дверь звонила, ещё в ту, которая ведёт в общий тамбур на четыре квартиры, ни когда упала у неё на табурет в кухне, доставая из пачки сигарету. И Диляра не стала вспоминать — мало ли что бывает между близкими людьми, а Галка ей с детства родная. Только сказала, криво усмехнувшись: «Прогонит его она скоро, кошель опустошит и прогонит, помяни моё слово!»

На столе кухонном изящная, дорогая ваза с цветами. Дилярка — злючка та ещё, но обожает красивое. Может час сидеть, уставившись на какую-нибудь осеннюю ветку за окном. И сейчас слушает Галку, а сама с разноцветного букета глаз не

МАРИЯ БУШУЕВА

сводит. Однажды на даче, Диляра еще в десятом классе училась, мать её взяла и обобрала с куста, который напротив террасы, всю красную смородину. Так Дилярка такое устроила — ужас! Готова была убить, честное слово! Рыдала и орала, как оглашенная. «Ты! Мне! Мой куст! Мой куст! Я на него каждый день смотрела!!! Он такой красивый! Ягоды светились! А ты! А ты!»

Отец её тогда поехал куда-то и привез еще один куст, весь в ягодах, и ночью, пока любимица-дочка спала, заставил рабочих куст посадить рядом с тем, который был уже без ягод. И что же? Только скривилась утром. Фи, не могли найти правильное место, надо было чуть подальше и левее. А так — некрасиво.

И сейчас сидит, не просто любит цветы, а будто и сама ими становится: душа её вероломная вся не здесь, с подругой, а там, где нежные лепестки... Но вдруг очнулась:

— Уезжаешь?

— Что же мне делать, скажи! И жить негде.

— Неужели женится на столице?

— Это не наша столица, — вдруг произнесла тихо и отчетливо.

— Оставь! — махнула рукой Деляра. — У меня муж русский. Потому что не в моём характере быть не единственной! Я только одного татарина люблю — отца. И он правильно говорит: мы с русскими братья на все времена. И столица наша.

— Не наша, — упёрлась Галка.

— У меня здесь похоронена бабушка и двоюродный дед, репрессировали его, кажется. А ты говоришь — не наша. Где предки похоронены, там и родина.

— Значит, не моя. Моя — Казань. — Галка заплакала.

Дилярка засуетилась.

— Ну — кофе? Ну — чай? Не плачь. — Обняла Галку за плечи, чмокнула сухими узкими губам в щеку. — Кожа у тебя такая бархатистая, никакие кремы не нужны, а ты ревёшь!

— Что мне от моей кожи!

ГҮЛГҮЗЭЛ

— Ну, прямо водопад, глупышка!

— Тебе хорошо-о-о. Твой Николай тебя на руках носит, как Шамаханскую царицу! Он тебе нико-никогда не изменит! И вторую жену не заведёт! — Галка начала икать.

— Водички давай попей.

— Как м-мой пе-петух!

— Слушай, родная моя глупая подруженька, помнишь сказку про петуха? Как-то, когда отец мой уж сильно далеко от семейного очага ускакал, мать моя ему такую сказку рассказала. Мне было десять, и я хорошо запомнила. О петухе! Да-да! — Диляра засмеялась. Смех у неё звонкий, будто старое прабабушкино монисто позвякивает. — Слушай. Значит, в одном курятнике жил-был петух. И всё кричал курицам, а кур было у него много: «Я — шах-петух! Я — хан-петух! Курочки мои послушные, скажите, кто на свете красивее всех? Кто умнее всех на свете? Кто сильнее и храбрее всех? У кого разноцветных перьев всего больше?» И курочки все сбегутся и кудахнут: «Ку-да, у-да ясный хан, куда-куда, светлый хан, дивный наш султан, великий падишах, кто может на свете с тобой сравниться? Нет никого под полумесяцем нашим храбрее тебя, нет никого умнее тебя. Даже солнце само не сможет затмить сверкания твоих разноцветных перьев!»

— Здорово рассказываешь! — улынулась сквозь слёзы Гильгузи.

— А я так буду своим детям рассказывать. — Диляра тоже улынулась — и так мягко, просто, как мама Галкина иногда, честно слово. — Вот уложу всех петухов, а потом сниму эти кожаные штаны. — Диляра подергала свои модные брюки. — Надену юбку, Николаю буду верна до гроба и начну ему рожать одного за другим... Ну, слушай, дальше!

— Слушаю. — Галка кивнула.

— «Ку-ка-рекуу!» — ещё громче запел петух. — «У кого на свете такие ноги могучие? Такой голос — громче львиного?», «О-о-о! У тебя, наш великий и всемогущий хан! Куда-куда!»,

МАРИЯ БУШУЄВА

«Ку-ка-реку! Подойдите ко мне все да скажите — у кого на голове гребень всех корон дороже?», «У тебя, о, прекрасный и наш единственный падишах!». А толстый повар был тут как тут. Подкрался он и схватил петуха. Зарезал его, как простую курицу. Ощипал и все драгоценные перья повывергал. А потом сварил суп. Вот такая сказка. Едят люди суп из петуха и нахвалиться не могут. Вот вкусно, вот славно.

— И что? — Галка отпила чай и вытерла слезы. — На твоего отца действовало?

— Еще как! «Ансар в любви не знает слова нет!» — всегда повторял он, а как мать ему сказку эту рассказала, стал и другое говорить: «Удержи при себе жену свою и побойся Аллаха!»

* * *

«Но Сибирское ханства ослабло — и ослабело взаимовлияние татар и северных народов. В 1563 году Сибирское ханство завоевал хан Кучум. В Летописи сказано: «Весна же близу, время Кучуму ясак с подданных собирать, соболи и лисицы и прочих зверей и рыб».

В конце века территория ханства была присоединена к России, с XVII века нередкими стали браки между татарами и русскими, но сибирские татары, принявшие христианство, которое распространялось весьма осторожно, растворились среди русских. Многие татары-мусульмане неплохо понимали русскую речь и жили с оглядкой на дни, посвященные христианским святым. Встречались в Тюмени и русские, свободно владевшие татарским языком».

* * *

Пожалуй, больше всех сочувствовал Галке муж Диляры — Николай. «Золотое яблочко досталось Дилярке, клянусь Аллахом, — говорила её мать подружке-соседке, имея в виду умного, интеллигентного, внешне приятного и доброго, мужа дочери Колю. — А это, то есть доброта, может, для семьи всего важнее. А то, что институт только закончил и денег пока мало зарабо-

тывает, сущие пустяки, отец его всегда пристроит, только чуть повременить нужно — осторожен, как мудрый шакал, клянусь предвечерним временем, мой старый супруг. А, что, разве не права я?» Соседка больше отмалчивалась: завидовала, конечно. А можно ли завидовать: обеспеченность семьи — это милость Аллаха. Но вот другие времена настали, отец квартиру купил сто метров, переехали, в новом-то доме все небедные и хорошо, некому будет воздух ядовитым дымом зависти отравлять. Хотел и для дочери с Николаем купить на той же площадке: стенки бы немного подвинули, посередине двух квартир, сад бы зимний сделали — был бы дом, как дворец! Но Диляра взбрыкнула: хочу пожить в российской столице. Не Коля ли её надоумил? Ну а дочери отец отказать ни в чём не может. И не перечит никогда. «У моей бабушки, — как-то сказал, — было четыре мужа, а от пятого она моего отца родила. Вот тебе и татарка!» Купил им квартиру, в каком-то новом районе. От Кремля-то, говорят, далековато будет. Пристроит потом и Николая — нефть наша, она в большой столице ещё нужнее! «Хорошую зарплату будет Коля домой приносить, счастливая моя дочь, родилась с монеткой в ладошке. Недаром еще девчонкой совсем была, в деревне гостевали у родни, бежит, помню, смеётся: мальчишка деревенский влюбился в неё, отодрал ночью подкову, которая испокон веков прибита была над крыльцом его родительского дома, и Дилярке подарил. И с подружкой ей повезло: не сыщешь вернее и преданнее, чем Гульгузи. Но моей счастье, а той — одни горести. Для одной — ковры разостланы, а для другой...»

— А что для другой? — Николай, глядя, как сидит Галка и смотрит в окно застывшими глазами, вспомнил, как говорила о подружке его жены старая Динара. Для другой — только вера и покорность. Так подумал Николай, жалко ему стало и эту сторбленную спину, и опущенные плечи, и черные, такие милые, глаза.

— Ты зачем волосы покрасила? — спросил, скорее чтобы просто что-то сказать: скорбное молчание давило на его незлобивую, отзывчивую душу. — У тебя и так красивые, чёрные...

МАРИЯ БУШУЕВА

— Моя мамка всегда красила хной.

— И моя бабушка, — сказал Николай, улыбнувшись, — седину прятала.

— Домой я уезжаю, Коля. — Гульгузель подняла на него глаза. — Вместе с дочуркой. Погнал нас Равиль. Сначала я не верила, что у него серьёзно, думала — побегает и вернётся. А тут и выяснилось, что им-то с его новой и жить негде. Будут жить в квартире Равиля, а мы... Зачем только училась водить машину?

— Пригодится, — сказал Николай, — любое знание в жизни пригодится. А права ты уже получила?

— Сегодня деньги отдала инструктору. Ты прости, Коля, Дилляра для меня их у тебя заняла. Я верну.

— Не переживай. Мне эти деньги погоды не сделают. Забудь о них вообще.

— Спасибо тебе...

— А что, со всех дерут?

— Не знаю. Слышала, что много берут с тех, кто вообще не учился, только числился в автошколе.

— А сам кто-нибудь сдает?

— Есть и такие. Но мне, пойми, Коля, некогда. С первого раза я точно не проеду, площадка трудная, а жить уже негде. Завтра получу права — и вечером уже на поезд.

— Да я все понял. Но эти... ну и жулики!

— Обычные мужики, — сказала Гульгузи, — просто жизнь сейчас такая. Платят мало — оттого люди крутятся.

— А твой инструктор тоже обычный жулик?

— Он вообще неплохой. Жена его выгнала.

— Неплохих не выгоняют.

— Попивал.

— Так... Извини, конечно, но для тебя его моя красавица кадрила?

— Ты... знаешь?

— Она же мне всё рассказывает!

ГУЛЬГУЗЪЛ

— Для меня. — Опять коварная подруженька подставила. Видите ли, это она, Галка, её попросила!

— А зачем тебе это было нужно?

— От отчаянья, наверное. Решила, вдруг что-то здесь получится, в столице. И женщина одна у нас в школе сказала, что я ему нравлюсь. А у меня... В общем, Деляра она всех может... то есть в общем, она всех с ума сводит.

— Послушай, — проговорил Николай, и вдруг лицо его стало усталым и серым, — но разве тебе не приходило в голову, что как-то, ну, не очень порядочно просить замужнюю подругу помогать тебе в таком... в таком вопросе?

* * *

Гульгузи собирала вещи и плакала.

Чернее, чем косы мои

Горе мое.

Белую шею мою

Они оплетут.

Зло и беда рядом со мной

Что мне делать теперь?

Жемчуг слёз от любви

Весь почернел...

* * *

«После основания Тюмени бухарцы, в основном торговцы и ремесленники, по-прежнему жили в городе обособленно. Браки между ними и сибирскими татарами случались, но были несчастными».

* * *

Через два дня после получения прав на вождение машины рано утром она была уже в Тюмени. Мамка поплакала, поплакала, но здоровенький вид и смышлённость внучки её быстро утешили.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Ничего, ничего, доченька, проживём. И не такое у нас бывало. Вот моя прабабушка-то, когда овдовела, её хороший человек пожалеел, женился, чужих детей поднял, тогда и моя бабушка родилась... А твой Равиль... — Мать замолчала, не стала соль на рану сыпать.

Вышел их соседней комнатухи заспанный отец. «Слышал или нет, — испугалась Гульгузель, — а если слышал, вдруг погонит? Обзовет дочь дурным словом — и прочь из дома? Характер-то у него ой-ёй-ёй какой».

— Доченька вернулась, — зашептала мать, — и вот внучка твоя, гляди, старый, нежная, как вода... Обними малышку.

— Всё я слышал, дочь, — хмуро проговорил отец, мельком глянув на притихшую внучку. — Равиля твоего за то, что нашёл себе ещё одну жену, не осуждаю. Как в Коране сказано: «Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырех...» А вот то, что ребёнка на себя не записал — великий грех.

И отец пошел в кухню. Полилась вода.

— Чай будет пить, — шепотом сказала мать, — совсем стал больной.

— Он вроде никогда Корана и в руки не брал? — удивилась обиженная Гульгузи: пусть лучше бы отец погнал её, оскорбил, но — оправдать Равиля! Нет! Никогда!

— И вино перестал пить. Уж о водке и не говорю. Это все от русских пришло, — так теперь говорит. — И в мечеть ходит.

В кухне закипел чайник. Потом послушался сипловатый голос отца: «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим...»

— Чего это он? — удивилась Гульгузель.

— Так он всегда теперь перед едой... Это его наш сосед с третьего этажа, учителем в медресе работает, он и подучил его. Да ты его помнишь: он у вас физкультуру преподавал и ещё труд, кажется.

— Фаиз? — удивилась Гульгузи. — Он ведь молодой такой, спортивный. И жена у него русская красавица, английскому языку детей обучала?

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

— Нету сейчас никакой жены у него. Бросила его, за американца вышла и с ним уехала. Оттого, наверное, Фаиз и в веру ушёл, как придёт из медресе, садится за умные книги, всё по истории читает да про Сибирь.

— Ма-ам, есть хочу, — захныкала трёхлетняя Динара, которой наскучило сидеть тихо на краешке старого дивана. Дедушка, сначала напугавший, вдруг понравился ей. Он хорошо сказал о папе, а папа он — во! Такие игрушки дарит! А мама — мама то плачет, то ругается.

— Бабушка тебя покормит. Слушайся её. А я пойду, пройду по городу.

— И свинину теперь не ест, — сказала мать, качнув поседевшей головой, — а как любил картошку жареную со свининой с рюмочкой вечерочком, а? Теперь говорит: грешен я был, оттого и не дряхл телом, а душа болит и ноги отказывают.

— Пойду прогуляюсь, — повторила Гульгузель.

...И скучно, скучно ей было ходить между старыми пятиэтажками своего района, и даже центр красивого родного города после небоскрёбов Москвы, после её дворцов и ярких дорогих подсветок, делавших здания похожими на декорации в театре, показался невидным, выросшие новые дома не радовали, а только удручали — они для богатых, тех, кто сидит у нефтяной трубы.

* * *

— Град Тюмень название свое принял от речки Тюменки, — рассказывал вечером Фаиз. — Есть и другая версия, которую Лев Гумилев записал...

Он пришёл выпить чая с отцом и прямо так на пороге и обомлел: Гульгузель показалась ему такой красивой. В том он и признался сразу. Compliments его произвели на Галку обратное впечатление. Вроде ей бы обрадоваться, тем более что по Фаизу, молодому физкультурнику, старшеклассницы многие сохли, а она, услышав его цветастые фразы в свой адрес, только сильнее

затосковала: «Душа моя разбита навек, — подумала, — и к чему слышать про «душистые волосы» и всякую другую ерунду?»

А прежде на том самом месте стоял град татарских князей, а звали его Чимги, по другому Чингиден. Основал его Тайбуга, сын магометанской веры царя именем Он.

— Слушай, дочь, Фаиз верно рассказывает, — сказал отец.

— Я всё это знаю, — сказала Галка, — читала.

— А знаешь, что прошло время, и, разрушив Чингиден, один из князей поставил для себя город на реке Иртыше, назвав его Сибирью? От города этого и весь край Зауральский стал Сибирью называться. Много лет спустя из Казачьей орды пришел царь Кучум Муртазеев, город Сибирь захватил, князей перебил, многие народы себе подчинил и назвался сибирским царем. И царствовал царь Кучум лет немало...

— И что? — Галке почему-то хотелось досадить Фаизу. Не понравилось, что он имеет такое влияние на отца.

— Лев Гумилёв писал, что степи современного западного Казахстана, древняя страна сабиров. Эта страна сначала и называлась Сибирью.

— Кто такой этот Гумилёв? Почему о нашей истории судит?

— Учёный-историк. Сын знаменитой русской поэтессы Анны Аматовой.

— Фамилия у неё наша, — удовлетворённо кивнул отец.

— Конечно, прошлое не вернуть, — сказал Фаиз. — А может быть, и не нужно его возвращать.

— Почему? — удивилась Галка.

— Вражду посеять легко, трудно дружбу и любовь сохранить...

Любовь? Гульгузель вспомнила о Равиле. Как он там, с беловолосой новой женой? Не вспоминает о своей дочке? Говорят, мужчина любит детей только от любимой жены. Остальные — ему чужие.

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

Говорил, говорил Фаиз, уже и до Ермака дошел, а глаз своих не сводил со смуглого грустного лица соседской дочери. И вдруг оборвал свою речь, как-то смущенно улыбнулся и замолчал.

— Продолжай, Фаиз, — попросила Гульгузи тихо, горькие воспоминания о Равиле погасили её желание досадить учителю. — Ты так интересно рассказываешь.

— Лучше я прочитаю вот что, — Фаиз глянул на нее ласково, — стихи.

Отец, перехватив его взгляд, стал сосредоточенно смотреть вниз, на ровные клетки выцветшего линолеума.

— Я страданье своё не отдам за бальзам, За цветенье его торжества не отдам. Я обласкан, утешен страданьем моим. Этот горький бальзам поднесу ли к устам?

«Фаиз чувствует, как мне тяжело, какая мука в моей груди, — подумала Гульгузи. Её черные глаза повлажнели. — И он тоже пострадал, ведь его бросила жена».

* * *

Маялась Гульгузель, маялась, искала работу, бегая по пыльной Тюмени, слушала по вечерам рассказы Фаиза, а потом зашла как-то в свою старую школу к приятельнице, которая устроилась туда секретаршей директора, поболтала с ней, а после стала одна бродить по школьным коридорам и заглянула в актовый зал. Всё, как во сне, с ней происходило, все, как во сне. А в актовом зале, в правом углу, ещё со времени её учебы, стоял белый небольшой бюстик Ермака. Гульгузи с отчаяньем вспомнив о блондинке, что увела Равиля, подошла к Ермаку, взяла бюстик в руки — почему-то он не был закреплен и незащищенно белел на высокой подставке — и как грохнет его об стену. В общем, разбила. Очнулась, а рядом с ней стоит директор школы, пожилой уже человек, кстати, тезка её Равиля, стоит и на нее смотрит. И узнал:

— Галя? Гульгузель Юмакаева?

— Здравствуйте, Равиль Мударисович, — поздоровалась смущенно.

МАРИЯ БУШУЄВА

— Это ты? — Он показал на осколки. — Не отпирайся, я слышал.

— Я.

— Пойдём.

Чувствуя себя провинившейся школьницей, бледная от испуга и стыда, пошла за ним Гульгузель. Он привел её в свой кабинет, усадил. Приятельница-секретарша, которую он попросил принести две чашки чая, глянув на Галку с изумленным подозрением: не хочет ли та её место занять, не затем ли пришла в школу, лиса? — поставила две чашки и печенье на стол, похожий на букву «Т» и вышла.

— Ты пей, — сказал Равиль Мударисович, — а я тебе одну татарскую легенду расскажу.

Опустив глаза, сделала Гульгузи один глоток — и чуть не обожглась: горячо! Подула и так же, не поднимая на директора глаз, взяла тонкими пальцами печенье и откусила.

— Давно это было, напал на Россию враг, поднялись русские против него, весь народ русский поднялся. А вместе с ним пошли на поле брани и татары. Помогать пошли. И воевали на славу. И вот ранили на поле брани татарина Ису и русского Ивана. Лежат они, истекая кровью, а над ними Ангел пролетает. Шепнул Иван еле слышно: «Помоги мне, архангел Гавриил». А Иса, увидев архангела и с трудом подняв голову, выдохнул через силу: «Спаси меня, архангел Джабраил!» «Выдумаете, что называете меня по-разному, — сказал архангел, — но оба, обращаясь ко мне, произносите одно и то же имя, только на разных языках. Ибо Бог — един. Встаньте оба и станьте друзьями. И тогда будут процветать ваши потомки». Закончилась война, вернулись Иван и Иса каждый в свой дом с победой. Немного времени прошло, приехал Иван в татарское село погостить к другу Исе, увидел его сестру младшую, красавицу Марьям и женился на ней, а сына своего назвал в честь друга своего Исой. А тут подросла и Мария, сестра Ивана. Привёз Иван друга Ису в свое родное русское село, да так полюбилась Мария Исе, что женился

он на ней, остался в русском селе, а сына своего назвал в честь русского друга — Иваном. Так в русском селе пошел род Исаевых, а в татарском один за другим стали рождаться Ивановы. Много лет прошло. Поссорились как-то Иванов да Исаев. Да так поссорились, что вот-вот убьют друг друга. «Не хочу говорить на твоём языке!» — кричит Исаев. «Не хочу понимать твоего языка!» — кричит Иванов. И вдруг появился над ними Архангел. «Стойте!» — приказал он им. Остановились Иванов и Исаев, глядят на него с изумлением. «Если вы убьёте друг друга, — произнес Архангел, — большой грех будет. Вы же — братья. Бог — один для всех. И все к нему обращаются только на одном языке: языке своего сердца».

Долго молчала Гульгузи. А потом спросила шёпотом:

— Равиль Мударисович, а как же Ермак?

— Ермак? — Старый директор школы нахмурился, а потом улыбнулся. — Смелый был человек, верно служит русскому царю. И до Ермака лилась кровь на земле Сибирской: царя магметанской веры по имени Он убили?

— Знаю, — кивнула Гильгузи: Фаиз шаг за шагом рассказывал ей историю зауральского края.

— Казанского царя Упака убили?

Она опять кивнула.

— История людская — тяжелый учебник. И до сих пор мы, несмотря на страдания предков наших, не научились жить в мире.

Работу Гульгузи помогла найти мать Диляры: позвонила какой-то своей давней подруге мудрая Динара, а та другой подруге, а потом третьей. И наконец пристроили Гульгузель к большому предпринимателю — помощницей его референта. А вечером, как всегда, пришел Фаиз и принес два билета в театр.

— Сходи, дочка, — шепнула мать, — боюсь говорить, но мне кажется, что Фаиз...

— Это тебе только кажется, мама, — сказала Гульгузель и покраснела, — не верь в сказки сердца.

МАРИЯ БУШУЄВА

— Сибирские татары сказку называли «йомак» — загадка.
А, значит, будет и разгадка

* * *

...это странное странное ощущение будто перетекает твоя рука в руку как река как река а губы твои припадают к её груди как к роднику как хорошо здесь дышать в высокогорье твоих пылающих глаз как хорошо вернуться на родину в долину твоих тёмных кудрей в долину твоей жаркой страсти отвори мне ворота в мой дом дорогая дорога моя чернокудрая...

— Фаиз...

— ... ты оплела меня негой и сладким соком поишь дорогая родная моя как долго я брёл спотыкаясь по горным тропинкам к нашему дому с тобой...

— Фаиз...

— ... через кусты продирался жаждой томим засыпал в темноте один ты утолила мне жажду твои нежные губы зовут в темноте точно родник ты напоила мне сердце любовью я пьян от любви ты посмотри как цветут в небе влажные очи твои в небе моём...

— Фаиз!

...ты и небо моё и моя земля я вернулся к тебе и уже не сверну с пути я уже не вернусь туда где одинокий лёд как любви твоей аромат прекрасен видишь она расцвела видишь волшебный сад это твоя душа по саду с тобой бродить звёзды твои любить твой поцелуй как влагу с цветов губами я соберу где я был до сих пор откуда к тебе пришел кто я такой кто я идущий по саду твоей души я ошибался и падал я разбивался в кровь но небо спасло меня спасло меня и тебя

— Фаиз?

— Что, милая?

— Мне никогда еще не было так хорошо. Почему?

— Потому что все другое было до меня.

— Мама говорила, что так бывает только раз в жизни.

— Она права — раз в жизни и теперь всегда.

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

— Всегда?

— Конечно, родная. Ты такая страстная девочка.

— Девочка?

— А женщина из тебя получается такая нежная, такая сдержанная и такая...

— Какая?

— Красивая.

— Я? Красивая?

— Очень. Посмотри, какие у тебя выразительные линии тела, какая смуглая кожа. Какая трепетная грудь.

— Ты поэт!

— Я тебя люблю, вот и всё.

Он сказал это так просто, так просто, что она даже немного огорчилась. И он сразу почувствовал: бедная, она не привыкла к счастью, но ничего, ничего, привыкнет, он вылечит её сердечные раны и научит её любить не через боль, а через радость

— Послушай настоящего поэта:

Луна восходит на ночное небо
И, светлая, покоится влюбленно.
По озеру вечерний ветер бродит,
Целую осчастливленную воду.

О как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга.

* * *

Вечером Гульгузель читала дочке сказку: «...До того, как наступит рассвет, перекиньте золотой мост от дворца к городу. Пусть по обе стороны моста протекают две реки, текущая одна в ту, одна в эту сторону, на реках пусть плавают невиданные, диковинные утки, гуси и оглашают окрестность приятными голосами. Пусть по берегам растут яблони, а яблоки, наливаясь, зрея, пусть падают в воду...»

МАРИЯ БУШУЕВА

* * *

Счастливая, позвонила Гульгузи Дилярке в российскую столицу и поделилась, что благодаря старой Динаре нашла денежную работу. Не утаила и то, что часто видит Фаиза.

— Помнишь, у нас был физируком?

— Он за мной волочился, — сказала Дилярка, — а потом женился на училке одной... так, с горя, что я его прокатила.

— Он давно развёлся. — Гульгузи немного обиделась: не может подруженька не напомнить, что она — королева, к ногам которой все мужики падают, а все остальные, и Галка в том числе, призваны собирать крохи с барского стола! Он теперь в мечеть ходит.

— А на фиг? Вера для стариков.

— Фаиз так не считает.

— Твой Равиль приходил, — перевела разговор на другую тему Диляра: Фаиз был слишком далеко, чтобы вызывать сейчас у неё интерес, — жаловался, что его гламурная жена требует особняк. И я своему тут же сказала: если Равилька построит, а мы нет, я с тобой развожусь! И, кстати, — прибавила она, — Равиль о тебе спрашивал.

— Не хочу о нем слышать! — выкрикнула Гульгузи. — Я замуж выхожу! Так ему передай!

— Это, что ли, за бедного физирука? — ядовито спросила Дилярка.

— За него, — призналась — и душу сладко защемило.

— Меня подожди, я приеду и на него посмотрю.

— И начнёшь его снова свращать, — сказала Гульгузи, — ты ведь такая.

Диляра помолчала. Видно, обиделась.

— Ой, я забыла тебе рассказать, — вдруг вспомнила она, — помнишь, в автошколе была такая... ну, шатенка, интересная внешне, которая тебе лапшу про любовь инструктора на уши вешала?

— Помню.

ГУЛЬГУЗЕЛЬ

— Оказывается, он с ней уже тогда спал. У меня тоже было с ним пару раз.

— И что? — Галка восприняла новости безразлично.

— Она разбилась. Её выбросило из машины — и о столб. Сразу насмерть. У неё, оказывается, за год до этого муж погиб. И вот она получила права, стала ездить и... Две дочери остались, Юрка взял их пока к себе. Ты была права: неплохой он мужик. Одна бабушки там давно умерла, а вторая — инвалид, вроде дед должен приехать с Севера. Так что ты, Гулька, — так нежно Диляра называла подругу лишь в минуты сильнейшего прилива сестринской любви, — если сядешь за руль, поосторожней смотри. Ты же нервная!

— У меня, ты знаешь, не было никогда машины. И не светит. У Фаиза тоже нет, он диссертацию пишет. Это, Делька, ты — будь осторожней.

— А меня мой персональный ангел хранит, — сказала Диляра, — мне так моя бабушка говорила. И вообще, — она засмеялась, — скажу, только ты пока — никому. Я жду ребенка. Так что, прощай, моя вольная жизнь. Распускаю свой мужской гарем. Мужикам я здорово за наше женское рабство хвосты крутила, будут вспоминать меня! Теперь стану верная жена.

— Деличка! Как я рада за тебя!

— И уже УЗИ сделали, родится у меня мальчик! Красивый и умный: наполовину русский, наполовину татарин. Хочу, чтобы мой сын стал мэром столицы!

— Желаю тебе счастья! — сказала Гульгузель и отключила связь. Обида стрельнула в душу: опять получается, что такие, как она, никому не нужны, даже ангел о ней не заботится, а вот такие хитрющие, как Делька... «Как это не нужны, — прошептал где-то в глубине милый тихий голос мамы. — А Фаиз?

А впрочем, кто его знает — доброе сердце тут же подружку простило — может, будет её сын мэром. Отец у Дельки вон какой головастый. И мать — мудра, как змея... А моя, моя доченька кем станет? Только бы не повторяла моих горьких ошибок!

МАРИЯ БУШУЄВА

Я ведь недаром назвала её в честь Делькиной матери — хочу, чтобы и ей достался в мужья не пастух, а король. Мучилась со своим Ансаром Динара, да с королем всё не те страдания, как с его жалким работником.

...Крутил инструктор с этой шатенкой, вдруг вспомнились слова Диляры, как же так? И с Делькой. Но с Делькой, наверное, уже после того, как шатенка погибла. А шатенка тогда сказала: любовь. Любовь? И вдруг Гульгузи осенило: а ведь она правду сказала, только не о ней, не о Галке, о Юрии и о себе... У них, видно, настоящее что-то получилось, иначе бы он о её детях не стал заботиться. Добрый-то он, может, и добрый, но всё-таки не такую благотворительность вряд ли был бы способен без чувства любви к погибшей. И нарочно тогда Галку приобнял, чтобы шатенка приревновала. Она тогда намекнула Галке об их чувстве, а Галка просто не поняла. Обида хотела было занозой проскочить в сердце, но зазвонил мобильный телефончик, подаренный ей Фаизом, и его нежный голос теплом обвил её всю — от кончиков пальцев до черных, забывших про краску, волос.

— Я очень соскучился о тебе, золотая кисточка, а ты?

ПО ГОРНОЙ ТРОПЕ

Снилось ей, что красный гроб её отца несут несколько человек по горной ночной тропе, уходящей ввысь, сопровождают их всадники с горящими факелами и один из них, на белой лошади, кажется главным. Именно он, когда процессия достигает высокогорного плато и останавливается у серого надгробия в виде большого камня с похожей на орнамент надписью на чужом языке, обращаясь ко всем поднявшимся, произносит торжественно и скорбно: «Скончавшийся — последний из того рода, что покоится здесь, под этим могильным камнем».

И Дарья во сне понимает: на отце иссякла какая-то неизвестная древняя родовая ветвь. И сообщено об этом почему-то именно ей.

Не с кем было оставить дочурку, а тяжелые впечатления раннего детства, знала по себе, оседают в душе, принимая любые очертания, сгустками черной пыли пугающе отражаясь в увеличивающем их зеркале сознания, или ржавчиной въедаются в сердце навсегда, — такого начала жизни своему ребенку совсем не хотелось — и на похороны отца в далекий мегаполис Дарья приехать не смогла. Да и денег для двойного перелета тоже не хватало: недавно разбежались с мужем, развод еще не оформили, что давало отпавшей мужской половине право, по телефону жалуюсь на свои постоянные обвалы с трудоустройством, им с дочкой совсем не помогать. Тянула, как могла, зарабатывала фрилансерством в Интернете.

Отец был русским — и странный сон, приснившийся в ночь после его похорон, хотя и не забылся, особо не вспоминался, никому о приснившемся она не сказала: практичным приятельницам, использовавшим Дарью для продвижения своих услуг в Сети, чужие сны были скучны, а со своей родней близ-

кой связи не было: все родственники по линии отца, несколько холодноватые, давно отпали от общего древа, племянники не знали даже имён прадедов, равнодушные к генеалогии; каждая отдельная ячейка жила своей жизнью, защищенной кодовым шифром, как в банке, очертив границы собственной территории и не позволяя её переступать даже двоюродным или троюродным братьям-сестрам. Чуть ближе была родная сестра отца, которую Дарья раз в год навещала. Почти не стареющая Ирина, в молодости по своему желанию попавшая в стюардессы, оттого рано ставшая свободной от трудового долга, жила в огромном доме сына, в престижном пригороде, присматривая за двумя внуками, точнее, за их нянями, а когда внуки подросли, просто отдыхая: её сын Антон в конце 90-х сориентировался, стал сначала кандидатом технических наук, затем бизнесменом, преуспел, женился на своей программистке, построил дом, скупил несколько квартир... Как-то сама Ирина призналась в разговоре с Дарьей, к которой относилась с осенним теплом, что Антону и его супруге просто «некуда уже деньги давать». К благотворительности семья была несклонна. Антон за двадцать пять лет превратился в прижимистого бизнесмена, щедрого только для своей пятилетней дочки и для жены, покупавшего им всё, на что они покажут в любом самом дорогом магазине, и, выдавая своей бывшей программистке, давно бросившей работу, те суммы, какие она попросит. «На её ежедневные карманные деньги, ты бы, Даша, могла жить год», — сказала Ирина, не любившая невестку, впрочем, это дело в семьях обычное. Не одобрила Ирина даже рождение «позднего ребенка», несмотря на то что девочку назвали Ариной с намеком на имя бабушки, и сразу отстранилась от внучки, сославшись на своё слабеющее здоровье. Девочкой занималась приходящая няня, готовила кухарка из Молдавии, убирала еще одна — живущая неподалеку вдова поселкового сторожа, бывшего инженера, отправленного в 90-е на свалку вместе с затоптанной социалистической идеей. Ирина, незаметно сбросив пси-

хологическое облачение советской молодости, легко приняла барский стиль жизни, с удовольствием, хотя и мягко, указывая прислуге. Жена Антона обычно днём отсутствовала, посещая всевозможные курсы с уклоном в омоложение и, пытаясь изображать «творческую личность», пропадала в студии живописи, руководитель которой, матёрый член Союза художников, стриг доллары с претенциозных жён и дочек, ненавязчиво поправляя их работы, чтобы они понравились мужьям и отцам-толстосумам. Каждая его ученица обязательно рассказывала супругу, что художник в неё страстно влюблен: тонко подыгрывая богатым скучающим особам, он добавлял себе за свои мифические чувства увесистый прибавочный процент.

Антон с гордостью повесил в холле своего офиса две бежевые акварели жены, а третью (которую особо удачно дописал руководитель студии) продал какому-то сибирскому предпринимателю, мучительно пытавшемуся дотянуться до олигархического стиля жизни. Нефтяная или алюминиевая сумма окупила расходы за обучение и омоложение супруги, и даже вставной немецкий зуб самого Антона.

Ирине всё в невестке казалось несоответствующим достоинствам сына, но осторожная мать не разрушала его семейного счастья, опасаясь, что крах семьи может повлечь крах всего остального и, главное, бизнеса: комфортом и покоем она дорожила, и ей льстило, что Антон не погиб в смутные годы, как сын одной подруги, еле таскающей ноги от болезней и нищеты, не спился, как сын подруги другой, уже покойной, и не вкалывает за гроши на хозяина, как бесправный крепостной. Её мальчик оказался на поле жизни королем, а значит, и она — не просто моложавая старуха, а вдовствующая королева! Тревогу вызывало только увлечение Антона альпинизмом: с первого курса института увлекшись опасным видом спорта, каждый год он месяц отпуска проводил в горах. Даже радостное событие, рождение Ариши, его не остановило, наоборот, подтолкнуло: девочке едва исполнилось три месяца,

он пошёл на новый штурм вершины, не покорённой им однажды в молодости.

— Поднялся, мама, — сказал, вернувшись, — значит, и ребёнка подниму. — Игра глаголов приоткрывала символическую изнанку его жизни, абсолютно не замечаемую ни им самим, ни Ириной.

— Я его понимаю, — говорила она Даше, — сама ощущала в юности какой-то необъяснимый прилив сил, когда самолёт, набрав высоту, летел над облаками, но ведь, что с Антоном случись, его компанию и предприятие захватят его же люди, он четверть уступил главному инженеру, всё отнимут, кинут жене подачку и намекнут, что если что ещё потребует, то могут и жизнь отнять, сейчас ведь добрых людей не осталось, а криминал прикидывается законопослушным и отнимает грамотно, через продажные суды... И что тогда? Жена уже разбалована... А мне останется только... сама понимаешь что. — Ирина обходила тему смерти, пугаясь её тени, прячущейся за словами; прошлое — даже уход в мир иной стариков-родителей и мужа — после некоторого времени печали превратилось в мёртвую информацию: утратив новостную остроту, больше не задевало чувств.

Сыновья Антона разбалованы не были и, учась в университете, вынужденно подрабатывали. Оставшийся школьником без отца и рано начавший зарабатывать сам, Антон полагал такое воспитание правильным. Старший, Петька, чуть более душевный, чем вся семья, и уже раненный бросившей его девушкой, обменявшей взаимное чувство на личный выгодный контракт в Англии, репетиторствовал, а младший, Вася, его погодок, утеплял панельные и блочные дома.

— Сейчас так грабят квартиры на высоких этажах, — говорила Ирина, рассказывая о работе Васи. — Спустят веревку, прикинувшись рабочими, и проникнут через окно или через балконную дверь в квартиру. Не Васька, конечно. Он парень честный. Вон, смотри.

ПО ГОРНОЙ ТРОПЕ

На фото племянник висел на панельной стене, от его пояса, взмыв, застыл в воздухе длинный хвост пенополистирола, точно белый след исчезнувшего самолета.

— В подростковом возрасте Вася увлекался прыжками с высоты, это называется... роупджампингом, — подсказала Дарья. Прыгали они с мостов или с крыш многоэтажных домов прямо над шоссе, ужасное увлечение, скажу я тебе. — Голос Ирины дрогнул. — Однажды он чуть не погиб, хорошо вовремя проверил верёвку, расшибся бы насмерть... От меня всё скрывали, потом невестка рассказала. Ей хоть бы что, она и за Антона не переживет, когда тот уходит в горы, и за Петра, этот у нас скалолаз. Вот, глянь снимок.

Петька, зацепившись рукой о выступ, прилип к отвесной скале. Под ним далеко внизу синело море.

— Выходит, вы все экстремалы, — сказала Дарья, — вы, тетя Ира, бывшая стюардесса, Антон — альпинист, Петька — скалолаз, а Вася... роупджампингист и...

— А мы монтажники-высотники, да, и с высоты вам шлём привет, — пропела Ирина.

Дарья улыбнулась.

— ...да и папа... Такой же, как вы все.

Отец был специалистом по приборам для аэрофотосъемки, сам испытывал их на самолётах и вертолетах, а незадолго до выхода на пенсию стал работать над съемкой со спутников. Фото бассейна незнакомой реки Лены висело у Даши в рамке среди фотографий прабабушек и прадедов: она не прятала старые портреты в альбомы, потому что любила всех ушедших благодаря размытым прошлым изображениям их душ и жизней, любила много сильнее, чем живых родственников, чьи изображения, слишком отчётливые, создавали постоянные помехи её воображению.

— Все, да не все.

Имя невестки в заочных о ней разговорах Ирина никогда не произносила: нелюбовь к жене сына отвергала имя, превра-

щая невестку в обезличенный семейный знак, обойти который было невозможно, но и одушевлять его даже слабого желания не возникало.

На похоронах брата Ирина, конечно, не присутствовала. А на девять дней, когда собралась немногочисленная отцовская родня и его старые друзья по работе, приехала. В этой тёмной городской квартире своей дочери от первого брака отец, выпив рюмку водки, умер. К Дарье сводная сестра Татьяна относилась с ревнивой неприязнью, хотя отец не бросал жён, а женился вторично, овдовев. И Дарья сейчас ловила мелкие узкие чёрные иголки её взглядов, смахивая их движением ресниц и поёживаясь от неприятной дрожи, пробегающей по коже. Ни на долю в квартиру отца, ни на часть суммы от продажи его машины, гаража и дачного дома она не собиралась претендовать: отец, продав свою квартиру, успел помочь им с мужем, и небольшая панельная трёшка, в которой Дарья жила, была куплена на его, а не на мужнины деньги.

Дети, почти ровесники, Татьянин Сережа, Аринка и Дашина Даша, это муж в порыве свежей любви, давно прокисшей, назвал дочь в честь молодой жены, быстро нашли общий язык и уединились в другой комнате, где были мягкие игрушки, электронные планшеты и всевозможные разноцветные Lego Сережи.

Взрослые расселись у длинного не накрытого скатертью стола. От чёрного узкого платья Ирины отлетал запах валерианы. Чуть задержав взгляд на двух пожилых друзьях отца, Дарья ощутила физически неприятную отчетливость родни при электрическом свете на тёмном фоне комнаты и тут же, затуманив взгляд, сделала все лица более расплывчатыми, возможно неосознанно желая поместить живых на стену со старыми фотографиям, чтобы из тумана проступили сходные черты и линии, тянущиеся из прошлого, способные стать заметными у живых, только если пригасить освещение сегодняшнего дня.

Что общего у неё и всех этих людей, называющихся родственниками?

С Антоном они в детстве почти не общались из-за удалённости городов проживания. А встретившись взрослыми, сразу поняли, что не симпатизируют друг другу. Зачем она вообще к нам заявила: такие слова читались на странице, прячущейся за равнодушной его полуулыбкой. Не денег ли просить? Через какое-то время Даша уловила, что резервуар любви был у Антона строго рассчитан на троих: мать, жену и дочь. Что-то при сотрясении выплескивалось оттуда и на сыновей. Больше никому не перепало даже капли. С другими людьми совершенно не соприкасалась символическая подкладка его жизни, возможно, существующая у всех, только залегающая очень глубоко и потому у большинства не задевающая своим краем поверхность, где правит дневной свет.

Она выслушала слова старых друзей отца о том, каким талантливым и хорошим человеком был покойный, и не просто хорошим, а почти героическим. Помощника отца, Дарья его помнила, он присутствовал на всех днях рождения шефа, как его неизменная тень, и всегда произносил одни и те же слова, привёл три постоянных примера: Василий Дмитриевич болел, а нужно было производить срочную аэрофотосъёмку, и он это сделал! Ещё он честно выступил на собрании против заместителя директора института, не побоявшись увольнения! А однажды была авария вертолёта, с которого они снимали бассейн реки Лены, вертолёт рухнул, зацепился за деревья в тайге, погиб сотрудник, а Василий Дмитриевич раненого вертолётчика спас, неся на себе до избы лесника, куда вскоре прилетели спасатели.

Дарья, слушая, едва не плакала. Ведь отца она любила. В ранние годы он казался ей сильным, потом кокон детского восприятия распался, и внутри него обнаружился чувствительный интеллигент, сам для себя сочинявший романтические стихи. Бывший подчинённый, вспоминая, воссоздал похожий на портреты героев-фронтовиков тот, почти монументальный, образ из детства, который раньше вызывал у неё лишь улыбку, а сейчас — слёзы.

Антон рассеянно отпивал из бокала вино, опоздавший Петя с виноватой улыбкой сел с ним рядом, Антон повернулся к нему и что-то спросил. Наверное, о жене, которая не пришла, или о Васе, тоже отсутствующем. Скалолаз Петька симпатизировал двоюродному деду, отцу Даши, а Вася бабушкиного родного брата не любил не за какие-то черты характера, он и не приглядывался к старику, а как элемент, разрушающий чёткую картину родственного мира, надёжно страхующего, как крепления при роупджампинге. Вася унаследовал жёсткий, может быть, лишь чуть большего объёма, резервуар отца, предназначенный для любви, и всех, кроме матери, отца, бабушки Ирины и Петьки, считал чужими, их встроенность в чётко очерченную и замкнутую на самой себе систему семьи, грозила чем-то неопределённым и тревожным. Смерть двоюродного деда он воспринял равнодушно — как безличное сообщение в Интернете.

Только сейчас она заметила, что профиль Антона унаследовал через поколение горбинку их общего прадеда, голубоглазого, но черноволосого.

— А я живу ради детей, — внезапно произнес Антон, — для чего ещё жить?

— Ваше поколение всё такое, — с осуждением ответил второй друг отца, тоже Дарье знакомый, обычно не склонный к воспоминаниям, — дети, деньги и удовольствия. Никаких высших целей, одно потребление. И ваши дети — такие же. А вот Василий Дмитриевич...

— Высшие цели нам велики. — Антон усмехнулся. — Мы растем не ввысь, авширь. Такое время. Диктует свои правила движения. До дядюшки нам не дорасти. — Он глянул на Дашу. И в его взгляде промелькнуло что-то похожее на зависть.

После поминок, закрутившихся вокруг длинного стола в тёмной квартире и рассеявшихся, едва Дарья оказалась дома, лишь оставивших осадок печали о неродственности родных по крови людей, ей приснился ещё один сон, косвенно с отцом связанный: будто кто-то, она не видит человека, только слышит

ПО ГОРНОЙ ТРОПЕ

его голос, говорит, что именно она должна напомнить им, живым, об их общих умерших предках. «Что ж, если это моя жизненная задача, — думает Дарья во сне, — я выполню её». Почему-то рядом с ней тут же оказывается Вася, они стоят на горной тропе и она повторяет только что услышанные слова. «Мне наплевать и на вас, и на них!» — кричит он и прыгает с горного уступа, вытянутого над расщелиной. Стук осыпающихся камней разбудил ее: соседи сверху делают очередной ремонт.

...Жизнь без отца шла и раньше: казалось, ближе он был со своей старшей дочерью, у которой последние годы жил, но Дарья всегда ощущала с ним незримую мысленную связь.

Пятилетняя Даша была в детсаду, оформление сайта завершено, должны вот-вот прислать за работу деньги. Такие паузы жизни между законченным трудом, неважно, большим или малым, и началом выполнения следующего заказа, Дарья очень любила. Глоток свободы. Щель, через которую улыбался солнечный свет лета, моря и возможной новой любви. Она бродила по комнатам, соседи продолжали дрель и стучать, но ей шум не мешал: лишь чужое проникновение в её мысли было всегда ей тягостно, когда отец начал болеть, даже нить связи с ним стала болезненной, резко натянулась и вызвала неприятные ощущения в солнечном сплетении. А сейчас никто не возникал внутри души, только мелькал там солнечный зайчик — Дашка. Силуэт бывшего мужа засох, рассыпался и, точно пыль, уже стёрт влажным прощанием, оставшимся после слёз.

Стекло старой фотографии прабабушки отразило лицо Дарьи. Снимок был увеличен ещё отцом, глаза прабабушки, оказавшиеся вровень с глазами Дарьи, из-за бликующего стекла казались живыми. Вдруг точно струя холодного воздуха прошла по комнате, нет, окна закрыты, двойная входная дверь не пропустит даже самый узкий сквозняк, откуда холод? «Спустился с гор», — произнёс внутри Дарьи тот же незнакомый мужской голос. И всё внезапно соединилось! Работа стюардессой Ирины, аэрофотосъемка отца, альпинизм Антона, скалолаза-

МАРИЯ БУШУЄВА

ние Петьки, роупджмпинг Васи и сон о том, как несут красный гроб отца по крутой горной тропе. И стихотворение, которое сочинила Дарья лет в пятнадцать, сама удивившись его содержанию, точно надиктованному и записанному с помощью автоматического письма:

О, коралловый город, освежи свое горло утренней тишиною.

Я, пришедший в долину, я, оставивший горы, чтоб услышать

твой голос... Откликнись!

Неужели в долину спустился я поздно, здесь засохли осины,

их сожжённые спины, как знаки вопроса, и высохли росы...

Мой отец был последним, которого всадник на белой лошади посчитал своим. Тайна любви к высоте нашей родни идет отсюда — от серого надгробного камня с надписью на чужом языке. Поймут ли меня Антон, Ирина и племянники, если я расскажу им о своём открытии, сделанном без помощи теста ДНК? Не поймут. Опять загудела дрель. Соседи, отобедав, продолжили ремонт. А если всё-таки позвонить Ирине?

— Господи, я только что хотела тебе звонить. — Голос старой Ирины дребезжал, и падали в пустоту окончания слов, точно камни. — Васька погиб.

Белая лошадь, алые факелы, черная ночь.

ВЕЛОСИПЕД

Да сразу было понятно, что он её возненавидит: какой мужик, извините, потерпит, если жена станет спать от него отдельно? Она, видите ли, не может с ним в одной постели, потому что видит его жуткие сны и они ей мешают.

Муж, конечно, этой ерунде не поверил, решил, что разлюбила, противен стал. Интимные свои поползновения он и раньше считал чем-то недостойным красивой и тонкой супруги, похожими на воровство — он ведь и её фактически украл, увёл из-под носа соперника, который был ей парой: высокие, красивые, светловолосые, а он сам — ниже неё на 5 см. И простой. Нет, он с двумя высшими, но по сути своей простой: на первом месте еда, на втором — тёплый бок, на третьем — престиж (второе и третье можно местами поменять) и — доход, чтобы это обеспечить. Надо сказать, когда они вместе спали в одной постели, он вставал на рассвете, точно сбросив всё тяжёлое, мрачное, пугающее — легким, радостным, полным энергии. А едва она его из своей ночной плаценты выбросила, сны стали кошмарными: то и дело стал просыпаться в холодном поту с жутким сердцебиением. И сильную обиду на супружницу затаил — обида за несколько лет отдельного ночного сна разрослась, заострилась и возжаждала мести.

Стала еще и онкология мужика пугать: отец не так давно помер, говорят, болезнь наследственная, причем чаще по мужской линии. У материного брата только что жена отправилась на тот свет — всё от того же. Правда, неродня, но страхи усилила.

А жена его любила, и, наверное, душа её ночью при телесном близком соседстве беспрепятственно с его душой сливалась, оттого она и правда видела его сны. Кончались девяностые, страхи преследовали его, шли за ним по следу: то холодело в животе от прихода бандитов-рэкетиров — он начал свой бизнес, — то маячила тюрьма

за невыплаченный кредит, то совладелец Мишаня вдруг во время дружеского застолья начинал смотреть на него как-то странно, точно замыслил все прихватить, а компаньона, так сказать... Там и здесь падали, как дикие утки, простреленные или всплывали с выпученными глазами взорванные. Знакового владельца кафе изрешетили прямо на остановке из проехавшего мимо жигуля, потом жене пригрозили: попробуешь претендовать на фирму и кафе, очень скороенько встретишься с любимым мужем; ещё одного приятеля, директора конфетной фабрики, заказал по всем приметам другой общий приятель, правда, неблизкий — услали любителя сладостей в мир иной вместе с личным водителем и рыжим псом: только припарковался у дома, возвратясь с охоты, как сам стал глухарём...

Все страхи мужа становились яркими кошмарами в её снах, она просыпалась в холодном поту, с колотящимся сердцем. Иногда к его страхам нынешним примешивались неприятные воспоминания: как избили его, восемнадцатилетнего, в армии: обряд был такой типа инициации в племени каких-нибудь островитян; как обзывали в школе мухомором из-за красной вязаной шапки с помпоном, которую он донашивал за братом, и, догнав после уроков, макали башкой в сугроб...

Едва она переселилась в другую постель — на диван в соседней комнате, мужнины жуткие сны отстали, не сумев прорваться сквозь стену и дверь (она закрывалась на ночь в своей комнате, что тоже обижало супруга), и вернулись к ней её собственные: лёгкие и светлые. Снова стала встречать утро, улыбаясь миру, точно весёлый цветок на солнечной лесной поляне.

Дядька, брат матери мужа, похоронивший жену, позвал его к себе в Питер — небольшую квартиру и летнюю дачку решил оформить на единственного племянника с гарантией заботы о старике, если что. Дядька оказался говорливым, быстро утомил, но подаренная недвижимость заставила три дня болтовню терпеть.

— Ты посмотри, что от моей жены осталось, одёжка какая или сумки, может, твоей сгодится, — предложил с готовностью все вещи отдать.

ВЕЛОСИПЕД

— Одежду не возьмет она, — сказал, скривившись, — и сумки такие не носит...

— А если велосипед? Он женский. Для дачи, покупали, покойница каталась, чтобы вес сбросить, полнеть стала, но воруют там, нельзя на зиму отставлять, вот и забрал в квартиру. Куда мне? Без неё один и на дачу ездить не буду. Ты приезжай с женой летом и отдыхайте. — Старик всплакнул. — Приеду помирать к тебе.

— Да живите, чего там, — глянул тревожно: неужели скоро свалится на него обуза, — это всегда успеется.

...Он загрузил велик в багажник. И странная мысль мелькнула: везу супруге отпущение. Мелькнула — тут же юркнула в темноту, притаилась в узкой каморке души. И забылась.

Жена на известие, что прибавилась квартира и дача мужниного дяди, никак не отреагировала: она была и к собственности, и к деньгам равнодушна — лишь бы крыша над головой да хватало на необходимое. Все, что муж строил или приобретал, оформляли на него. И отсутствие у неё желания владеть порой вызывало у него зависть.

— Ты велосипед хотела, привёз! Завтра суббота, поедem за город.

Они любили вырваться из мегаполиса, мчаться на скоростном автомобиле по шоссе и, остановившись в каком-нибудь незнакомом месте, бродить. Выбрав полянку, он обычно разводил костерок.

Сентябрь стоял просто чудный. Тепло, красиво, сухо. Припарковались у лесочка, вблизи бежала под крутой уклон очень ровная дорога.

— Здесь отлично можешь кататься, — сказал он, выгружая из машины велосипед. — Ты же просила купить, а тут подарок от дядьки. Экономия. — Он засмеялся. Зубы у него были ровные белые — следил тщательно: всё-таки улыбка — один из важных коммерческих ключиков.

Жена смотрела на велосипед.

— Ну чего ты? Садись и поехала.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Сначала ты попробуй, — сказала она.

— Ну, он же бабий!

— Какая разница?

— Ну — попробую.

И муж сел и покатыл вниз с горы. Листва шелестела, ветер вдруг проснулся. Проснулся и снова стих.

Жена стояла, ожидая, когда муж прикатит обратно. А его всё не было. Странная, сновидная тишина спустилась на деревья и на дорогу. Листва замолчала. Казалось, невидимый хозяин леса выключил звук, оставив только изображение.

— Старею, мать. — Он шёл пешком, рядом катил велосипед. — Обратно, в гору, уже тяжело. Ухайдакал меня этот бизнес. Все ради тебя. — Он глянул зло. — Мне лично ничего не надо, кроме костерка в лесу.

Он лгал. И знал, что лгал. И она знала, что он знал.

— Садись и поезжай с горы.

И опять шорох листвы, придыхание ветра, шепот травы — все стихло.

— Нет, — сказала она, — мне этот велосипед не нравится. Я на него не сяду. Подари кому-нибудь.

Так и не села.

Кому он велосипед потом отдал — даже не спросила. Может быть, до сих пор пылится в гараже загородного трехэтажного дома, теперь чужого. Погибая от онкологии, и этот дом, и все остальное, чем владел, муж поспешно загнал дальнему знакомому, пообещавшему открыть какой-то совместный престижный фонд, тому самому, о котором поговаривали, что когда-то именно он отправил к праотцам директора кондитерской фабрики. Себе муж оплатил лечение и VIP-палату в элитном хосписе: после дорогой операции он уже не вставал.

Жена плакала и надеялась: вдруг произойдет чудо — смерть от него отступит.

А он, пока мог с трудом говорить, шептал с ненавистью:

— Оостаётся, а я сдыхаю, остаётся, а я сдыхаю, пусть загнётся от нищеты, подсунула, стерва, мне тогда велосипед...

ТРИ ЛЁГКИЕ УЛЫБКИ

Между ними сразу возникла невидимая связь, о которой просигналили три лёгкие улыбки, точно каждая послала другой условный знак их тайного общества, в которое не было доступа ни одной другой девушке в этом летнем веселом, безмятежном кафе. Одна училась в институте заочно и работала стюардессой: изящная, высокая черноволосая полугрузинка, вторая училась в университете на инязе, блондинка — полуеврейка, третья — русская, пепельная шатенка, оканчивала филфак, — но ни цвет волос, ни национальность не играли никакой роли в их тайном обществе: отбор в него осуществила при их рождении сама Природа. Главное, что они были красивые. Даже не будучи знакомыми, они выделили друг друга из всех остальных посетительниц кафе мгновенно — так узнают друг друга люди самых разных сообществ: ревниво оглядываются на собрата актеры, перемигиваются в магазине незнакомые алкоголики, притягиваются на городском бульваре брошенные мужьями мамушки младенцев, а на загородных дорогах чужой страны приветственно гудят одна другой машины с российскими номерами...

И четвертая девушка, их ровесница, обделённая и высоким ростом, и длиной ног, и красотой черт лица, более того, даже хорошим зрением, попав в самую сердцевину перекрещивающихся победных, весёлых сигналов, осела на своем стуле, как почерневший сугроб, чтобы через несколько минут совсем исчезнуть.

Она шла по улице, таща холщовую сумку с книгами и двумя глянцевыми журналами по дизайну. Один из журналов был залит кока-колой, а второй чуть измазан повидлом от недоеденной в кафе булочки. Дома её ждали суровый отец, постоянно

МАРИЯ БУШУЕВА

недомогающая мать, вредный младший брат и вечное «учиться, учиться и учиться». Так шла она и шла, сначала в пути потеряв отца, но приобретя вместо него мужа — очкастого и сутулого архитектора, вскоре организовав вместе с ним свою фирму, поскольку уже стала дизайнером, потом женив вредного брата на дочке подруги матери из соседнего подъезда, а себе купив новую квартиру этажом выше, и, наконец, к радости матери и мужа, родив близнецов Фёдора и Федота. Так шла она и шла, пока не превратилась, по словам многочисленных знакомых, в «интересную женщину с большими шармом», отличавшуюся «собственным элегантным стилем», женщину, которую многие стали находить очень и очень привлекательной...

Но никто не знал, что подтолкнул её на успешный путь, придав трудолюбия и выносливости, тот вечер в летнем безмятежном кафе, когда тайные сигналы сообщества красивых бесшумно прошли её насквозь, так и не вычленив из летнего вечера и шума.

И потому триумфом её жизни оказался не день рождения детей, не факт приобретения многочисленных мужчин-поклонников, кругами выющихся возле сорокалетней дамы, даже не фонтан денег, позволяющий посещать VIP-салоны красоты и отдыхать на полюбившейся ей Сардинии, а самый обычный тёплый вечер августа, когда в её загородный дом приехала женщина, которую бородатый муж, прищурившись иронично, определил как «блёклую особу со следами былой красоты» и в которой она тут же узнала блондинку из далекого кафе печальной юности...

И порой я спрашиваю себя: неужели она бы возликовала, узнав, что давний, промчавшийся сквозь неё, безмятежный искрящийся шум, постепенно сгущаясь до пьяного губительного гула, оставил красивую шатенку молодой вдовой, замотанной тремя маленькими детьми, а пару лет спустя, сгустившись до страшного грохота, унёс из жизни отнюдь не в грозовом небе, а на почти пустом алтайском шоссе черноволосую стюардессу?

ТРИ ЛЕГКИЕ УЛЫБКИ

Блѐклой блондинке она отказала.

— Ты же заказывала, чтобы няня была с английским языком, — удивился муж, — нам такую с фирмы и прислали!

— Мне бы хотелось, чтобы у Фёдора и Федота был позитив, — сказала она, поджав губы, — значит, гувернантка должна быть красивой, а не со следами... И вообще, мне уже предложили мужчину, причем носителя языка, и фактически за ту же цену. На сайте есть его фото, он вполне... — Она горделиво подняла брови и улыбнулась. — Только, пожалуйста, не ревнуй!

СОКОВЫЖИМАЛКА

Моя бабушка испытывала настоящую страсть к новациям в кухонной технике. Проще говоря, увидев в магазине нечто новое: вафельницу, тостер или электротёрку, она тут же это новое приобретала и, придя домой, с гордостью демонстрировала мне, школьнице. Но — как миру известен пространственный кретинизм, когда водитель, даже по навигатору, едет обязательно не туда и, путаясь, кружит до бесконечности среди трёх коротких проездов, так и моя бабушка, будучи талантливым журналистом, в отношении к технике проявляла полный... Как бы это сказать помягче, чтобы там, где она сейчас, не содрогнулись своды от ее гневной обиды... В общем, думаю, сравнение моё понятно.

Двустворчатая вафельница, отличавшаяся изяществом, блестящая и надменная, при первой же уверенной попытке бабушки применить её по назначению, злобно затрещала, задымилась, вульгарно выплюнула заложенное между створок сладкое тесто — и, обдав кухню черным дымом, была такова. Бабушка не сдалась и, взяв гарантийный талон, побежала в вафельный офис, где эту дымовую шашку долго держали, а потом кисло сообщили, что такая модель почему-то срочно снята с производства, а деньги вернуть они не могут, поскольку гарантийная сумма равна затратам на изучение мастером испорченного экземпляра.

Тостер сторел более деликатно и красиво: дважды одарил нас поджаренными вкусными ломтиками хлеба, на третий раз смущенно вспыхнул, рассыпал по кухонному дачному столу бенгальские огни, издал какой-то жалобный звук — и закончил свою деятельность навеки.

Бабушка не поспешила с ним в магазин, где он был куплен, но совсем не потому, что ей не хотелось ехать в город, — от тосте-

ра-неудачника отвлекло её гораздо более важное событие. В садово-дачном товариществе «Ягодка», где мы в крайней хибарке у леса снимали две комнаты и кухню, произошло ЧП. Хозяйка хибарки, решительностью и царственной статью походившая на некрасовскую женщину из русских селений, принесла пугающую весть: горят два самых больших дома на другом конце посёлка, — и тем отвлекла бабушку от грустно чернеющего тостера. Даосской мысли о магической связи недавних искр и пламени на столе с одновременно возникшим дачным пожаром у бабушки не возникло: даосизмом она увлеклась после восьмидесяти, а в то время ей было лишь семьдесят пять, кроме техники она занималась йогой, восхищаясь сверхспособностями её адептов, от чего страдала я: мне приходилось мужественно носить железную кружку с кипятком из кухни в комнату, а тонзиллит лечить безобразной позой льва...

Я побежала смотреть пожар, несколько стыдясь своего любопытства и морщась от запаха гари. Пока пожарные приехали, один из домов почти полностью сгорел вместе со всеми приусадебными постройками, а второй, частично уцелевший, выглядел теперь тоже малопривлекательным для жизни. На все остальные садовые домишки, стоящие несколько в отдалении, огонь перебраться не успел, и глазающие на пожарных дачники дружно повеселели. К тому же некоторые жители товарищества сочувствия к хозяевам двух усадеб не испытывали: оба погорельца с недавних пор враждовали, сотрясая тихую дачную жизнь. Один, много старше, бывший машинист, мужик мускулистый и прижимистый, второй — сорокалетний солист опереточного хора, потерявший голос, председательствовали и заправляли всеми садово-дачными делами, ведя упорную борьбу за часть территории и за власть над владельцами-шестисоточниками двух соседствующих дачных товариществ «Ягодки» и «Ветерка». Сгоревший дотла дом опереточного солиста, собственно говоря, принадлежал уже «Ветерку». Заграждений по границе не было, оба посёлка много лет назад

слились в один, и никто никаких споров о границе не затевал, пока у «Ветерка» был старый председатель, друживший с председателем «Ягодки». Но солист путем интриг сместил бывшего председателя и вскоре стал утверждать, что участок председателя «Ягодки», соединённый из двух, то есть в двенадцать соток, принадлежит не «Ягодке», а «Ветерку». Даже подал на машиниста в суд. Всё это ещё в первые дни после нашего приезда успела рассказать моей бабушке царственная хозяйка.

— То свет у нас вырубит этот Солист, — председателя «Ветерка» в «Ягодке» так и звали — Солистом, — то в колодец на поселковой нашей улице грязи его люди напихают... Беда просто.

— А чего он добивается? — спросила бабушка.

— Да выжить хочет нашего Саныча из товарищества, а его дом и участок через суд приписать «Ветерку», то есть себе. Мол, Саныч когда-то чужую территорию занял, а значит, можно признать владение незаконным и отнять... А все наоборот: это «Ветерок» когда-то сотки «Ягодки» получил за просто так... А, может, Солист еще и далёкие какие планы имеет. А нам без Саныча — ну, никак.

Ни машиниста, ни его соперника я не увидела: толпящиеся говорили, их уже увезли разбираться в город. Пожарные тоже собрались уезжать, только последний не убранный в машину шланг еще устало волочился по затоптанной черной траве. Сырые остатки дома Солиста дымились, а возле чёрных пеньков, оставшихся от баньки Саныча, скулил его пёс Джек. В толпе судачили, что вспыхнувшая вражда взяла да и материализовалась в пламени. Кто-то возражал, что причина происшедшего вполне реальная — неисправность проводки в одном из домов, другой сердито доказывал, что незадолго до случившегося видел Солиста, тот был пьян, вот по пьянке и уронил сигарету, от нее и загорелось.

Я уже собралась уходить, как вдруг из ближних кустов лесочка как-то бочком, точно робея, вышел бородатый старичок и, подойдя к спорившим, произнес:

СОКОВЫЖИМАЛКА

— Саныч не виноват в содеянном, сие — злокозненное наведение.

Все пораженно замолчали. А старичок, так же бочком ступая, снова скрылся в кустах.

— Деда этого знать не знаю, но, кого он имел в виду, догадываюсь, — разволновавшись, сказала хозяйка, когда я повторила ей слова о Саныче, — в селе Октябрьском живет один... ну... его народ сильным сибирским колдуном считает. Саныч недавно к нему ездил, и тот взял да и напроорочил ему скорую смерть. Это мне Саныч сам рассказал. Страсть, как был напуган. Поверил в предсказание и так переживал, слов нет. Выпил крепко, стал говорить, сильно не хочет, чтобы всей его паршивой родне наследство перепало, пусть лучше голое поле после него останется, ничего — никому. И нашу «Ягодку» сильно жалел, твердил, разворует ее без него Солист...

— Ничего никому, — задумчиво повторила моя бабушка.

...В конце августа мы уехали в город.

Дни стояли жаркие, листва ссыхалась и опадала раньше срока, разноцветно разбегаясь по асфальту улиц. Недели через три после возвращения неугомонная бабушка поспешила в магазин посмотреть, нет ли там какой новой кухонной техники, и торжествующее вернулась с соковыжималкой. И уже собралась открывать коробку, но затрезвонил домашний телефон, звонила хозяйка хибарки по очень важному делу: она выступала... сватьей! Семидесятипятилетней моей бабушке предлагался домовитый жених на десяток лет её моложе — из соседней с «Ягодкой» деревни — у него бабушка покупала молоко и куриные яйца, и, как выяснилось, он не смог забыть её добрую улыбку. О делах «Ягодки» и «Ветерка» хозяйка тоже рассказала — она жила за городом до последних дней осени. Машиниста свалил инфаркт, Солиста след простыл, а на двух участках погорельцев начал ускоренно возводить собственный дом мужичок из Октябрьского, сын того

МАРИЯ БУШУЄВА

самого... ну, которого считали колдуном. Уже бодро закладывали фундамент.

— Саныча-то следователи обвинили, что он сам дом Солиста поджег, — вздохнув, прибавила хозяйка. — И свой тоже. А я не верю.

Бабушка через сватью вежливо жениху отказала.

— Деточка, — объяснила мне огорчённо, завершив разговор с хозяйкой, — ну, сама посуди, какой из меня сельский житель? — И стала открывать коробку с новым приобретением.

А я ушла в свою комнату рисовать. Через полчаса снова зазвонил телефон: моя подружка звала гулять. И в этот момент раздался оглушительный рёв мотора.

— У вас что — на мотоцикле по квартире ездят? — поражённо спросила подружка.

Бросив трубку, я выбежала в кухню: по столу мчалась, нарежая круги, новая соковыжималка. После очередного круга она захрипела, замолчала и встала.

ШАНГ

«Как-то у них все прагматично, утилитарно, я бы даже сказал пошло, — думал Юркин, возвращаясь с форума футурологов города Н. — Председатель — страстный пропагандист дизайна младенцев, признался, что задумал получить внука-гения, мадам-секретарь жаждет нескончаемой молодости, вдова бывшего мэра мечтает заменить кухарку-молдаванку — требует прислать ей из Китая повара-робота, и чтобы не только юлил у плиты, но и включал по вечерам программу «ласка в стиле покойного мужа», любитель симфоний задумал переформатировать соседа, врубающего дрель, только заслышав Моцарта за стеной, чиновник-толстосум требует бесконечного продления своей брэнной жизни. А на фиг ему это с его банкоматом вместо мозгов? Чтобы зевать и гонять мух, лёжа на поляне, поросшей длинноногими пиявочками? Только я один думаю о высших целях». Юркин пересек шоссе и уже брел по сентябрьской аллее сада, являвшей все художества природы, описанные классиками, желтые листья пробежали мимо. «Ну, точно мыши, — подумал Юркин. — Маленькое ничтожное животное. И человек тебе, о, жалкая тварь, близок». Впрочем, к мышам Юркин не испытывал никакой неприязни или отвращения, просто некоторая пафосность внутри него потребовала ради утверждения стиля уничижения объекта, в качестве сравнения попавшегося на удочку мысли. «Только я один думаю о высшей цели, о формуле эволюции: Ч (человек) — Ж (животное) = НЧ (новый человек). О бессмертии сознания, перенесённого на компьютер, отделённого от низкой и жалкой животной природы!»

Вдруг кто-то осторожно тронул Юркина сзади за плечо. За ним стоял невысокого роста старичок азиатской внешности.

«Гастарбайтер, конечно, — сразу решил Юркин. — И одет бедно. Правда, не без причудливости, хотя я не в теме традиций узбеков. Сейчас, вероятно, чего-нибудь попросит».

— Не тем путём идете, товарищ, — проговорил старичок после минутной паузы, сквозь которую успел прошмыгнуть, прошуршав, лист-мышь. — Ну и перенесёте вы сознание на железяку...

— Я, кажется, заработался, — произнеся фразу вслух, решил Юркин. Старика, однако, не послал, а вежливо возразил: — Почему на железяку? Можно и на смартфон: затосковал о скончавшейся бабушке, ввел ее QR-код, и общайся с ней, как по Зуму.

Старичок улыбнулся и кивнул:

— Спасибо за ответ, вы хорошо воспитанный молодой человек, в наше время это очень ценилось. Только ошибочка у вас в расчётах весьма существенная. Причем для достижения бессмертия основополагающая.

— И какая же?

Этот старик-гастарбайтер, наверное, при Советах преподавателем был — у них остаётся пожизненно: учить и назидать.

— Писателя Беляева помните?

— Если честно, смутно. В детстве читал.

— И честность в наше время ценилась не менее высоко, чем добропорядочное воспитание.

«Ага, — язвительно подумал Юркин, — честность! То-то жульё номенклатурное жило у вас в Азии, как баи. Или как их там...»

— Жили. Так сказать, без права на вторую попытку. Итог — прах и тлен, не более того.

«Снова я мысль вслух произнес, — с досадой подумал Юркин, — явно, ошизел от гаджетов».

— Беляева перечитайте. Как раз в тему. А я вам со своей стороны на собственном, так сказать, опыте могу дать небольшую справку. Желаете послушать?

Листья-мыши вдруг лихорадочно засновали туда-сюда. У Юркина мысленно срифмовалось: «Листья — лисы — Лиза, обещал сразу после форума идти к Лизке. Может, денег дать ему? Тогда отстанет. Неудобно как-то. Вроде образованный дед».

— Говорите, конечно. — Тень уныния, проскользнув по лицу Юркина, отразилась в узких глазах старика. — Хотя мне...

Всё-таки любопытно, что этот странный гастарбайтер изречёт.

— Вот видите, — улыбнулся старик, — ваше сознание раздвоилось: с одной стороны, вы хотели бы от меня отделаться, понимаю, камасутра, так сказать, с другой, некий интерес, что я могу вам поведать, у вас имеется. Верно?

— Верно.

— И как же вы намереваетесь перенести такое раздвоенное сознание на искусственный носитель? Живое сознание каждый миг подвержено сразу двум влияниям: извне и изнутри.

— Мы так и считаем: оно будет изменчиво. То есть вступать с нами и с окружением, живым и неживым, во взаимодействие. Как обучаемая нейросеть.

— Копия мертва. Как бы копиист не был обучен и совершенен в мастерстве.

— Не согласен! Наша копия будет осуществлять контакт с нами. Только таким образом человек, изъятый из природы, без своей животной составляющей, может стать бессмертным.

— То есть, — старик усмехнулся, — вы полагаете, что человеческое сознание — это и есть весь человек?

Юркин вдруг ощутил раздражение. «Мой комп перегрелся, — подумал он, — нужно вырубить, уже от этого деда мозги закипают».

— Я же объяснил — животную природу мы уничтожим!

— А кроме сознания и биологии ничего в человеке нет?

— А, вы верующий, наверное! Дух и душа там всякая... Верно?

МАРИЯ БУШУЕВА

— Почему всякая? У каждого своя. У вас вот, — старик пристально посмотрел Юркину прямо в глаза, — есть, тоже есть. В отличие от большинства тех, с кем вы сегодня заседали.

«Ага, так он, наверное, дворник при институте, где мы форумы проводим! Даже древние старики до сих пор пашут, и этот, конечно, ещё старуху и внуков кормит! — Своя жалость к гастарбайтеру Юркину не понравилась. — Может, он ряженный под нищего, — сунул он жалости воображаемый кукиш, — а его наглые внуки возят нам запрещённый дурман».

— Там у нас народ разный, сегодня как-то собрались одни прагматики, им всё только ради выгоды. Однако я вам насчет души возражу: её никто не видел, а значит, её и нет. Иллюзия сознания.

— Иллюзии сознания вы тоже будете переносить на электронный носитель?

— Да я понимаю, что проблема сложная, мы ведь только в начале пути.

— Это, уверю вас, тупиковый путь.

— Но вам-то откуда знать?! Вы что — физик? Или...

— Скорее «или»... Тупиковый, но кое-какие открытия принесет. Разные. В том числе и самые важные — как раз про душу. При условии, что те, у кого она есть, сохранятся. А иначе человечество обречено.

— Ой, ну эта эсхатология уже мне дома плешь проела. Отец мой тоже уверен, что мы идём дорогой, ведущей всех к гибели, а бессмертие, говорит он, реально возможно, только если человек взрастит в себе дух. Я и душу-то считаю вымыслом, а дух — это вообще чистая церковщина.

— Вы ведь меня пожалели, верно? Был такой момент?

— Ну, был.

— Это в вас говорила душа. Сознание оценивало, сомневалось, подсознание подбирало для меня подходящие образы... А душа просто пожалела. Но сознание, которое у вас доминирует над ней в силу, так сказать, вышестоящей директивы, вос-

противилось сочувствию и стало извлекать из подсознания те образы, которые бы сочувствие разрушили.

— Кстати, зря вы думаете, что мы не придаем значения сочувствию и эмпатии, один учёный присоединил себя к жене чрез комп, чтобы ловить её эмоции на расстоянии. И у него получилось!

— Мой юный друг, любящие души без всякого компьютера чувствуют друг друга, и не только в соседней комнате, а через тысячи километров, достаточно вспомнить Великую Отечественную: приходит с фронта на мужа или сына похоронка, а мать или жена в какой-нибудь далекой Рязани не верит, сердце ей подсказывает: жив! И он возвращается.

— Так сердце или душа подсказывает?

— В главные минуты жизни сердце становится вместительным душой.

— Батя у меня, представляете, поэт. И тоже утверждает, что только биороботы не умеют сочувствовать.

— И он прав.

— Не отец вас ко мне подослал поговорить? Надеется, что я брошу свою нечистую компанию? — Юркин засмеялся.

— Отец. Который у нас один... Независимо от веры.

— Приехали! Так вы от попов! То есть от муллы! И будете мне доказывать, что, если мой батя помрет, не дай бог. — Юркин поплевал через левое плечо. — Дух его будет жить...

— Видите, вы тоже интуитивно верующий. — Старичок поднял указательный палец. — И заметили истинно: человек при жизни в своём физическом теле способен обрести одухотворение, дух, усилиями личными или получить как дар свыше. Ему дан такой шанс. Как поэтический или другой талант. И это единственный путь к бессмертию.

— Вы это мне ничем не докажете!

— Видите мою руку? А теперь своей рукой попытайтесь ударить мою.

Юркин поморщился — и всё-таки легонько стукнул по запястью старика, однако его рука не ощутила кости, а легко прошла сквозь запястье, точно у старика не было тела.

Тревожно забегали листья-мышы. «Кажется, я завиртуалился, — подумал Юркин, — надо поскорее от этого деда унести ноги».

— Пойду, ждут меня. Приятно было пообщаться.

— Если будут вопросы, — засмеялся старик, — обращайтесь. Вы с отцом идеалисты, хотя лично вы этого в себе пока не осознаете, значит, у вас есть шанс.

— Спасибо, всего доброго! — Юркин поскакал по аллее, распугивая мышей.

«Обращайтесь! Точно здесь, в парке, его кафедра. Чудик. А мне нужно сделать перерыв, фокус с его рукой — это что за фигня с моим сознанием?! Правда, может, он потомок факиров, передалась ему по наследству способность погружать зрителей в гипнотическое состояние? Точно! Старикашка-гипнотизёр!»

После расслабляющей вечерней камасутры Юркин сказал Лизе, поглаживая её плечо:

— Жалко, конечно, со всем этим расставаться, но, милая моя, тело стареет, и потом... конец, распад, гниение, черви. Или хрящ в пепле на лопате равнодушного клерка. Бог не мог такой отвратный конец придумать. Потому его самого просто нет. Мы — случайная мутация природы и имеем полное право взбунтоваться против распада, освободиться от животного в себе и сохранить сознание!

— Мне и в виртуальности сознания будет хорошо с тобой!

— Представляешь, сегодня один старый гастарбайтер, правда, сильно образованный, препод, возможно, в прошлом, в придачу гипнотизёр, когда тащился я с нашего форума, ввинчивал мне в башку, что мы, надеясь перенести личность на комп, идём ошибочной дорогой. — Юркин коротко рассказал о встрече.

— И твоя рука прошла сквозь него?

— Говорю же — гипноз.

— Крутой старикан!

— Еще сказал: у вас с отцом есть на бессмертие шанс.

— У меня, значит, шанса нет?

— Про тебя просто разговора не было.

— Значит, ты меня не вспоминаешь, когда я не рядом? Один секс от меня нужен, да?!

— Я только о тебе и думал, май дарлинг! Оттого и торопился. Так бы ещё с ним поболтал.

Лиза заулыбалась

— И я тебя тоже люблю. — Эта женская способность делать судьбинные выводы из ничего не значащих фраз и в своей маме Юркина умиляла, он прижал щеку Лизки к своей груди и тепло задышал.

— Лизун, хочу иметь твою цифровую копию, мне наплевать, что дед посчитал наше дело провальным.

— А я тоже так считаю, — вдруг, отстраняясь, сказала Лиза и, встав с постели, стала одеваться. — Я не биткойн. Живого человека не оцифровать. Меня тоже! И я против того, что можно будет заказывать ребенка с определёнными качествами. Мне не нравится тот скучный рациональный бездушный мир, в котором вы обещаете бессмертие.

— Лизка! Мы не будем заказывать. Просто сотворим, и всё...

— Увидеть бы этого волшебника!

— ...а на прощанье он сказал: если будут вопросы — обращайтесь.

— Так и обратись!

— К пустой скамейке в парке?

— Вызови его в осознаваемом сновидении. Хочу узнать, как его зовут! Кто он? Ради нашей любви добудь его имя! Тогда я найду его во сне и попрошу объяснить, как получить билетик в настоящее бессмертие!

Отцу тоже рассказал о встрече в парке.

МАРИЯ БУШУЕВА

— Лиза его имя хочет узнать. — Со сновидениями у Юркина ничего не получилось. — У неё это как навязчивая идея теперь. Женщины — они, ну, сам знаешь, существа доверчивые, во всякие гороскопы верят, им сказки подавай к зарплате. Но... какие есть узбекские или таджикские имена? Я знаю только популярные — наших местных работяг. Лизка не поверит. Какое-нибудь нужно очень редкое, экзотичное. Ты же у меня эрудит.

— Знаешь, сын, я всегда спрашиваю книги. Бумажные, разумеется. Они живые, они выходят на контакт, отвечают на вопросы... Возьми том энциклопедии Азии и открой там, где откроется.

— Да не верю я в эту мистику!

— Попробуй.

Юркин, чтобы не обижать родителя, достал тяжёлую бардовую книгу, подул на неё, поёжился — открыл.

«Гэ Хун (283—343), — прочитал он под старинной гравюрой, изображающей узкоглазого старика, — святой бессмертный даосского пантеона».

— Он? — спросил отец, подойдя и заглянув в энциклопедию.

— Похож! — крикнул Юркин. — Но я не верю!

И тут же ощутил непонятную острую тревогу: не потерял ли он именно сейчас свой шанс?

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМСКИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ.....	3
Глава первая. ИЗВОЗЧИК КУЛИКОВ	3
Глава вторая. РОКОВАЯ ТОРГОВКА	9
Глава третья. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДОЗНАНИЯ	15
Глава четвёртая. СКЛАД.....	21
Глава пятая. ПРАДЕД.....	27
Глава шестая. ДОЗНАНИЕ	33
Глава седьмая. ТЕЛЕГРАФИСТ	40
Глава восьмая. БРОШЮРА	45
Глава девятая. ПАСПОРТА.....	51
Глава десятая. ЗОЯ.....	57
Глава одиннадцатая. ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ.....	63
Глава двенадцатая. ДВА ЧЕЛОВЕКА.....	70
Глава тринадцатая. ВЕРА.....	75
Глава четырнадцатая. ЖЕРТВЫ.....	81
Глава пятнадцатая. НОВЫЙ КВАРТИРАНТ.....	88
Глава шестнадцатая. ГРАНИТОВ.....	93
Глава семнадцатая. КОНДУКТОР.....	98
Глава восемнадцатая. СТОЛОВНИКИ.....	105
Глава девятнадцатая. ЕСЛИ БЫ.....	111
Глава двадцатая. «ВИНОВАТ ЛЕВ ТОЛСТОЙ...».....	117
Глава двадцать первая. АРЕСТ.....	123
ОБДОРСКИЙ СЛЕД	130
ЮЛИЯ И ЩЕТИНКИН.....	186
ТИХАЯ ДУША	267
ГУЛЬГУЗЕЛЬ.....	289
ПО ГОРНОЙ ТРОПЕ	321
ВЕЛОСИПЕД.....	331
ТРИ ЛЕГКИЕ УЛЫБКИ	335
СОКОВЫЖИМАЛКА.....	338
ШАНС	343